

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000040779376

IX

БЕЛЛЪ



Под конвоем заботы



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦



ГЕНРИХ
БЁЛЛЬ



Под конвоем заботы



Издательство АСТ
Москва

Серия «Зарубежная классика»

Heinrich Böll

FÜRSORGLICHE BELAGERUNG

*First published in the German language
as "Fürsorgliche Belagerung" by Heinrich Böll.*

Перевод с немецкого *М. Рудницкого*

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

Печатается с разрешения издательства
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG.

Бёлль, Генрих.

Б43 Под конвоем заботы : [роман] / Генрих Бёлль ; [пер. с нем. М. Рудницкого]. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 352 с. — (Зарубежная классика).

ISBN 978-5-17-106126-5

«Под конвоем заботы» — это попытка Бёлля со своих позиций дать ответы на наболевшие вопросы, вставшие перед западным обществом в 70-е годы прошлого века, когда многие до поры скрытые недуги, конфликты и противоречия позднекапиталистического мира вдруг прорвались наружу: сперва, еще в конце 60-х годов, стихийным и, как казалось, необъяснимым «молодежным бунтом», а затем и вспышками терроризма. Проблематика романа позволяет взглянуть на политические потрясения уже почти полувекковой давности в свете общечеловеческих ценностей, близких каждому, и именно потому многое в этих потрясениях объясняет.

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

© Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG,
Cologne / Germany, 1979, 1991, 2006

© Перевод. М. Рудницкий, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

ISBN 978-5-17-106126-5

Нравственные уроки Генриха Бёлля

Время постепенно, но неумолимо отодвинуло от нас даты публикаций первых книг Генриха Бёлля, вышедших в русском переводе в середине 50-х годов минувшего века, отодвинуло и противоречивые 60-е, когда книги писателя издавались у нас исправно, и застойные 70-е, когда их перестали печатать вовсе, а теперь вот норовит отодвинуть в прошлое, в историю литературы, и сами даты его жизни, замкнув их в непререкаемые скобки: (1917—1985). Так сложилось, что в восприятии многих наших читателей старшего поколения имя Генриха Бёлля прочно связалось с периодом послесталинской оттепели, когда отпадали заблуждения и страхи, потрескивал по швам «железный занавес» и ко многому, в том числе и к лучшим достижениям зарубежной культуры, приоткрылся доступ.

Именно в ту пору вошел в нашу жизнь еще почти неизвестный немецкий писатель, поразив вдохновенной поэтичностью и исповедальной честностью размышлений о судьбах своего народа, о трагических и горьких ошибках его недавнего прошлого, о нерешенных и тревожных проблемах его настоящего, о мучительно-нерасторжимой связи настоящего с прошлым, — поразив, наконец, неистовостью стремления во что бы то ни стало сказать правду, как бы она горька ни была, и доискаться до правды, сколько бы ее ни прятали и ни замазывали патокой лжи. Думаю, в те времена не столько художественное мастерство (это само собой, и тут с каждой книгой мы радовались за автора все больше), но именно это вот подвижническое, беззаветное, совестливое служение правде, бесстрашие, с которым художник смотрел в глаза истории,

притягивали нас к Бёллю, сообщая нашему отношению к зарубежному автору совершенно особую, теплую, родную краску. Было что-то неопровержимо-поучительное в его нравственной позиции, столь близкой корням и истокам нашей литературы, поучительное и насущно необходимое. Искусство Бёлля вселяло веру, что суверенное бытие личности способно противостоять лжи и тирании, что не бывает свободы вне правды и нравственности.

Читателю, который знаком с Бёллем давно, со времен «Дома без хозяина» (1954) и «Хлеба ранних лет» (1955), «Бильярда в половине десятого» (1959) и «Глазами клоуна» (1963), уверен, не понадобятся никакие предварительные объяснения к этой книге. Его ничуть не смутит, а уж тем паче не остановит некоторая затрудненность первых страниц этого романа, где Бёлль как бы не похож на самого себя, а похож скорее на Фолкнера с его напряженно-монологичной, «круто замешанной», замкнутой в себе и на себе прозой, в мир которой надо проникать с усилием и потом какое-то время в нем обживать. Такой читатель, не сомневаюсь, и проникнет, и обживет, тем более что сверхусилий от него не потребуется, а Бёлль очень скоро предстанет самим собой, и взволнованные голоса его героев властно втянут нас в орбиту повествования. Такого читателя, возможно, удивит, но не отпугнет необычный для Бёлля выбор главного персонажа этой книги — человека из когорты «сильных мира сего», газетного магната, богача, чьим отнюдь не хозяйским, скорее растерянным и скорбным взглядом нам предстоит поначалу окинуть панораму событий и хитросплетения отношений, где так неожиданно и жестко в судьбах самых близких людей столкнулись разные, подчас непримиримые жизненные позиции, разные нравственные модели существования человека в обществе. Да, прежде Бёлль таких персонажей не слишком жаловал, в его художественном мире они выступали как воплощение всего человечески «неинтересного», как убогие «продукты» социальной мимикрии, унылого и безрадостного приспособленчества — не в пример людям «простым», по своему социальному статусу

«маленьким», но внутренне независимым, а потому сохранившим в себе истинное величие. Читатель, ждущий встречи с такими, привычными и любимыми героями Бёлля, не ошибется в ожиданиях и, несомненно, сумеет оценить глубину и своеобразие авторского замысла, которым это наше внутреннее движение от недоуменной тревоги (да тот ли это Бёлль?) к радостному узнаванию (тот! тот самый!) заранее учтено и заложено в динамику книги, где трудности, намеренно созданные при вхождении, на пороге, и последующий наш путь от сложного к простому, от следствий к причинам, от непонимания к ясности помогают воспроизвести и пережить мучительную работу сознания, разрывающего путы лжи, самообмана, умственной неволи ради обретения правды, свободы и достоинства.

Как почти о всяком произведении Бёлля, о романе «Под конвоем заботы» можно сказать, что это книга о немецкой действительности той поры, когда книга создавалась. Можно, ничуть не погрешив против истины, констатировать, что роман вобрал в себя характерные приметы и злободневные проблемы современного западного общества, затронул самые чувствительные болевые точки, в частности феномен терроризма. Можно вспомнить и о том, что в Германии этот роман (как, впрочем, и каждая новая книга писателя) вызвал ожесточенные споры, главное место в которых занимал отнюдь не анализ художественных достоинств или недочетов, а вопрос о том, оправдывает Бёлль террористов или осуждает. Можно, наконец, обратить внимание читателей на то обстоятельство, что избрание главного героя романа на пост президента некоего Объединения — деталь чрезвычайно значимая, в ней распознается намек на судьбу Ханса Мартина Шляйера, главы объединения немецких предпринимателей, сперва похищенного, а затем убитого террористами. Есть в книге и другие, прямые и косвенные отсылки к конкретным событиям, связанным с деятельностью печально известных «красных бригад» в 70-е годы. Стоило бы, наверно, порассуждать и о степени достоверности изображенных в книге «мер

безопасности», упомянув об интервью Бёлля, данном вскоре после публикации романа, в котором писатель в ответ на вопрос, где здесь кончается правда и начинаются сатира и гротеск, поведал много интересного и поучительного о своих наблюдениях за жизнью западногерманских политиков, заметив в заключение, что, видимо, по части «мер безопасности действительность западных стран в скором времени обгонит любую сатиру».

Для понимания того, как прозвучал роман на родине автора в 1979 году, в пору его выхода в свет, все эти сведения, вероятно, важны. С другой стороны, роман несколько не потеряет в глазах тех, кому нет дела до страноведческих подробностей. Как и всякое большое искусство, искусство Бёлля силой художественного обобщения легко преодолевает национальные и временные границы.

Да, в каком-то смысле роман «Под конвоем заботы» — это попытка Бёлля со своих позиций дать ответы на наболевшие вопросы, вставшие перед западным обществом в 70-е годы прошлого века, когда многие до поры скрытые недуги, конфликты и противоречия позднекапиталистического мира вдруг прорвались наружу — сперва, еще в конце 60-х годов, стихийным и, как казалось, необъяснимым «молодежным бунтом», а затем и вспышками терроризма. На родине Бёлля, в стране, еще незадолго до того по праву гордившейся своим «экономическим чудом», ценившей стабильность и порядок, столь резкая смена социального климата повлекла за собой нагнетание атмосферы страха и нетерпимости ко всем формам инакомыслия, «запреты на профессии», травлю «радикалов» в средствах массовой информации (объектом нападок не раз становился и сам Бёлль — только за то, что призывал сограждан сначала попытаться понять «бунтарей», а уж потом применять к ним «меры воздействия»). Но проблематика романа много шире и глубже, сегодня она позволяет взглянуть на политические потрясения уже почти полувекковой давности в свете общечеловеческих ценностей близ-

ких каждому, и именно потому многое в этих потрясениях объясняет.

Главная мысль, внятно прочитывающаяся в идейном контексте книги Бёлля, делает честь его социальной зоркости: и молодежный бунт конца 60-х годов, и последующий разгул терроризма — это не причина, это следствие недугов современной цивилизации. Именно поэтому террористы как таковые хотя и упоминаются в романе, косвенно участвуют в развитии событий, но неизменно пребывают где-то на периферии повествования, как бы совершенно в ином мире, а угроза, исходящая от них, приобретает очертания мифического рока.

Нет, создавая этот роман, Бёлль вовсе не помышлял о своей вариации «Бесов». В центре книги совсем другая проблема — проблема существования человека внутри социальной системы, где из человеческих отношений вытравлена человечность, где под видом насущных жизненных ценностей общество навязывает и подсовывает людям ценности безжизненные, обманные, противные человеческой природе: культ преуспеяния, престижа, успеха любой ценой вместо творческого самораскрытия личности, культ сексуальной вседозволенности (или порнографическую иллюзию вседозволенности) вместо любви; штампованный суррогат мысли (особенно мысли политической) вместо свободы суждения; наконец, штампованный суррогат речи, обрекающий человека на многословную немому. (Чего стоит одно только словечко «милый», которое, словно товарный ярлычок, то и дело приклеивается в романе к любому персонажу тревожным символом полнейшей обезлички.)

С удивительной эмоциональной конкретностью Бёлль дает читателю почувствовать, что такое — явное и скрытое, узаконенное и негласное — подавление человеческого в человеке по самой сути своей есть *насилие* и с неизбежностью влечет за собой протест, возмущение, а в конечном счете в крайних формах — и вспышки ответного насилия. Писатель не оправдывает террористов и не осуждает их, он в отличие от многих

современников в меру своего понимания пытается их объяснить и делает это очень деликатно, тактично, лишь изредка заглядывая в души «бунтарей», — в его романе, построенном в давних добрых традициях бёллевской прозы на чередовании внутренних монологов, «бунтари» (да и то бывшие) нечасто берут слово. Но и этого достаточно, чтобы увидеть связь между протестом «бунтующей молодежи» и последующей идеологией и практикой терроризма. Общество не пожелало понять этих людей, прислушаться к их сомнениям, оно их попросту сломило и выбросило на задворки жизни. Именно в жестокости, в бездумной и тупой ярости, с которыми было подавлено всякое инакомыслие, Бёлль видит истоки терроризма. Да, это зло, но это — *ответное* зло.

Так, исподволь, вырисовывается главный конфликт этого романа — конфликт между правдой и ложью, подлинностью и подделкой в жизни человека, в жизни общества. Внимательный читатель, думаю, заметит, что конфликт этот пронизывает не только тематику, но и весь художественный строй книги. Взять хотя бы фабулу, сооруженную, казалось бы, по всем канонам низкопробной массовой беллетристики: полицейский комиссар выслеживает террористов, те, в свою очередь, охотятся на заправил западногерманского капитала, которых поэтому неусыпно стерегут сотрудники службы безопасности, — плюс к тому парочка любовных треугольников, в одном из которых участвует дочка миллионера и ее охранник. Чем не сюжет для разухабистого бульварного боевика? Но в том-то и загвоздка, что в мертвенную, почти ходульную сюжетную схему Бёлль, как птиц в клетку, поместил поразительно узнаваемых, поразительно живых людей, которые подлинностью своих мыслей и чувств, а под конец романа — и подлинностью поступков сумеют положить конец своей неволе.

Конечно, велик соблазн поразмышлять на материале этого романа о том, как Генрих Бёлль, честный художник и беспощадный реалист, пришел к осознанию исторической обреченности буржуазного общества. Тем паче, что текстуально

книга вроде бы и дает к тому немало оснований: несколько раз, устами разных героев, здесь высказана мысль о неизбежном торжестве социализма. (Правда, заметим в скобках, речь всякий раз идет о разном социализме, а в ключевой, ударной реплике неспроста сказано: *«какой-нибудь социализм победит обязательно»*.) Боюсь, однако, такой разговор заведет нас в область рассуждений, Бёллю не свойственных. С тем же успехом, вспомнив героев других бёллевских книг — Катариону Блюм, убивающую продажного газетчика («Потерянная честь Катарини Блюм», 1974), отца и сына Грулей, спаливших армейский джип («Чем кончилась одна командировка», 1966), старуху Фемель, стрелявшую в министра («Бильярд в половине десятого», 1959), — можно сделать вывод о давних террористических наклонностях самого писателя, что, кстати, не раз инкриминировалось ему иными западными рецензентами. В ответ на подобные инвективы Бёлль неизменно подчеркивал: не следует путать заостренное выражение *художественного* конфликта с идейными убеждениями художника. Вопрос отношения Бёлля к идеологии и практике буржуазного общества, к идее социализма и реальному социализму — предмет куда более сложный, прихотливо связанный с его религиозным мировоззрением, если угодно, с его проповедническим пафосом поэта-моралиста. Завершая же это вступление, хочется сказать о другом.

Думаю, возвращая Генриху Бёллю долг нашей благодарной памяти, нам пора спросить себя: почему его книги, написанные в другой стране, в условиях иной социальной системы, столь много говорят нашему уму и сердцу? Почему трудная и неравная борьба бёллевских героев за право быть собой, за собственную свободу и достоинство так волнует нас, а нравственные уроки этой борьбы так созвучны и нашим чаяниям? Не пора ли признаться себе, что кое-какой опыт существования в обществе, которое закрывает глаза на свои болезни, не терпит инакомыслия, не поощряет стремления человека к «самостоянию» — что такой опыт имеется, увы,

и у нас. И не настолько далеко, не настолько безвозвратно в прошлое ушел этот опыт, чтобы мы успели напрочь о нем забыть.

Разумеется, речь не о прямых исторических и социальных аналогиях. Но почва для сопоставления, безусловно, есть. А значит, и об этом, среди прочего, предстоит поразмыслить читателю над страницами романа Генриха Бёлля «Под конвоем заботы».

М. Рудницкий

Под конвоем заботы

Персонажи и поступки, события и ситуации, проблемы и конфликты созданы в этом романе исключительно прихотью авторского вымысла. Если же они хоть в чем-то обнаруживают сходство, пусть даже отдаленное, с так называемой действительностью, автор в этом — как всегда — неповинен.

*Моим сыновьям Раймунду,
Рене и Винсенту —
с глубокой признательностью*

В день закрытия съезда, перед самыми выборами, на последнем, решающем заседании страх внезапно исчез. На смену страху пришло любопытство. Неизбежные в таких случаях интервью он давал уже почти весело, сам изумляясь, сколь стремительно пухнет его должностной словарь: «прирост», «взлет», «примирение», «автономия тарифов», «баланс взаимных интересов», «опыт прошлого», «виды на будущее», «синхронность включения в общий старт», — и всему этому он даже успевал сообщить личностный оттенок, деликатно дав понять, что и сам стоял у истоков возрождения демократической прессы, осознает все преимущества, но и опасности консолидации, а заодно и неопенимую роль рабочих, да и профсоюзов; словом, если и борьба, то не друг против друга, а только вместе. Кое-что из сказанного даже на его слух звучало почти правдоподобно, если бы не беспощадные, скальпельные выкладки Рольфа и сумрачные прорицания Кортшеде — при всей несовместимости отправных посылок они всегда казались ему гораздо убедительней. Забавы ради он расцветчивал свои монологи блесками историко-культурной и даже искусствоведческой эрудиции: соборы и Менцель*, Бисмарк и Ван Гог, чья социальная, а в сердцевине, возможно, и социалистическая страстность, чей миссионерский пыл не просто и не сразу, но в конечном счете воплотились в его искусстве; Ван Гог и Бисмарк как современники; оброненные мельком, как бы случайно, эти раздумчивые сентенции

* *Адольф фон Менцель (1815—1905)* — немецкий живописец и график. — *Здесь и далее примеч. пер.*

внесли в его речь новые, неожиданные краски, ведь от него ждали рассуждений об экономике, политике и прочих сугубо прозаических материях. Он же вдруг вновь ощутил в себе ту, лишь на первый взгляд врожденную способность элегантно импровизировать, которая так выручала его еще лет сорок назад на семинаре у Труклера, верой и правдой служила ему и после на бесчисленных редакционных совещаниях, но никогда прежде не осеняла перед столь обширной аудиторией.

Слова слетали с языка сами собой, почти автоматически образуя фразы, речевые блоки и не мешая думать о своем — о том, когда же и почему внезапно улетучился страх: наверно, в тот миг, когда он понял, что выбор, вероятно, падет на него и, значит, его забросят на самую верхотуру, где страх вообще непереносим, и вот, видимо, тогда, размышлял он, давая очередное — которое по счету? — интервью, он вдруг нутром ощутил, что от страха лучше избавиться вовсе. Лучше уж никакого страха — только любопытство; и вот тягостный, месяцами длившийся страх — за свою жизнь, за жизнь Кэте, Сабины, Кит — разом исчез. Все равно «те» его «достанут», наверно, даже прикончат, весь вопрос: КТО и КАК, вот что теперь будоражило любопытство, и даже его чувства к Сабине обрели иную окраску — забота, а не страх. Да, у него есть все основания позаботиться о дочери.

За последние месяцы страх незаметно вошел в привычку, стал чем-то вроде инстинктивной техники безопасности. В душе не оставалось места для заботы; а теперь если и страх, то не перед чем-то, а за кого-то: за Сабину и Герберта, за Кэте с ее глупостями (за нее, правда, меньше всего), а еще — это его удивило — за Рольфа. Неумеренная набожность Сабины давно его беспокоит, хотя втайне вызывает и зависть, а этот Фишер, его зятек, на подростковое обаяние которого все они «купились», — не то, даже Кэте признала, что он «типичное не то», он ей не пара. Деляческая сноровка, с которой он за продает Сабину и собственного ребенка, теперь-то всем им раскрыла глаза. А над Кэте по части денег надо бы попросту учредить опеку; она раздает всем кому не лень да и на себя

не скупится, из-за чего рано или поздно влипнет в крупные неприятности, если, чего доброго, уже не влипла.

Вот о чем он думал в жарком свете юпитеров, косясь на микрофоны, которые, точно ручные гранаты, придвигались все ближе к лицу; Амплангер безупречно все подготовил: очередность интервью, кофе и минералка, а в перерывах неизменное опрыскивание одеколоном — все катилось само собой, в два ряда, и даже каверзные вопросы о семье не выводили его из равновесия. И пока на полосе «задних мыслей» он перебарывал в себе «технику безопасности», стараясь вытеснить страх теплом заботы, на другой, внешней полосе, отвечая на беспардонные расспросы о Рольфе, Веронике, Хольгере и даже Генрихе Беверло (интересно, они уже пронюхали, что у него есть и второй внук по имени Хольгер?), он тем временем размышлял: нельзя ли назвать то, что он испытывает, чувством «веселой озабоченности»? Он выразил искреннее и горькое сожаление о Веронике и ее участи, не позволил отмежевать себя от Рольфа, хотя наводящими вопросами его усиленно к этому подталкивали, признал лишь, что сын наделал немало ошибок, подчеркнув, однако, что за ошибки эти Рольф понес наказание, не скрыл и серьезной, глубокой тревоги о судьбе Хольгера (старшего, ибо о Хольгере-младшем им, судя по всему, пока ничего не известно).

Эта дурядность мыслей, — пожалуй, ее можно назвать и шизофренией на почве контактов с журналистами — даже стала слегка его забавлять: оказывается, вовсе не трудно отстреливаться холостыми словесными очередями от ехидных, с подковыркой, вопросов, а думать при этом о Сабине, которая в последнее время сама не своя (кто-то смутил ее душу, не иначе — Кольшрёдер) и с тем большей истовостью ищет утешения у мадонны. Зато куда трудней другое: вверяя микрофонам свой, только с виду непринужденный, прореженный интеллигентным покашливанием речитатив, прощаться с мечтой, которая столько лет его согревала: мечтой увидеть Кит, девушкой или молоденькой женщиной, в его замке, полюбоваться, как она бродит по тропинкам парка, заглядывает

в оранжерею, кормит уток у пруда, — нет сил оборвать этот фильм, отрешиться от этих кадров своей мечты, отказаться от любимой игры, в которую, если верить убийственным прорицаниям Кортшеде, ему не суждено сыграть никогда; не то что девушкой — даже десятилетней девчушкой Кит не пройдет по комнатам его замка, не будет в них жить, этому не бывать, теперь уже не бывать.

Где-то там, за слепящей завесой юпитеров, съезд доживал последние часы: наспех опрокидывались прощальные «посошки», шоферы тащили к машинам чемоданы, члены правления прихлебывали остывший кофе, сопровождая сдержанными хлопками его очередное, как они считали, особенно важное и особенно удачное интервью, — и тут Плифгер, его предшественник, не смог отказать себе в прощальном жесте: подскочил к нему в перерыве и с обычной своей снисходительностью (скорее чисто профессиональной, вовсе не адресованной лично ему — снисходительностью стального магната к «какой-то там прессе»), изображая крайнее, почти оскорбительное изумление — будто раньше все они держали его за престарелого дурачка, — прямо-таки почти сердечно пожал руку и похвалил:

— Да вы отлично справляетесь, дорогой Тольм, просто бесподобно! Нам остается только еще раз поздравить себя с таким замечательным избранником!

А Климм, человек Цуммерлинга, прикинулся, будто так ошарашен его, Тольма, «краснобайством», что это и впрямь смахивало на оскорбление.

Действительно ли он прочел в лице Блямпа что-то вроде зависти? Во всяком случае, Блямп был поражен, это точно — легкостью, с которой он выполняет свои новые обязанности, его почти бесшабашным весельем в тот час, когда он, Блямп, рассчитывал позабавиться его слабостью, затравленным видом, жалким лепетом, — ведь ему наконец-то удалось забросить (он так прямо всем и говорил) Тольма «куда следует», на самый уязвимый пост, в самую опасную точку, и никто не мог

предположить, что новая должность окажется ему настолько к лицу, что он, вопреки ожиданиям, так уверенно справится с новой ролью, подумать только, именно он, Фриц Тольм, который в последнее время сдает на глазах, а идеологически всегда был не слишком на высоте, этот слабак и неженка, «трость, ветром колеблемая^{*}», смутьян и сомнительный элемент в их железной команде, к тому же «как-то там», непонятно как, но по семейной линии, повязанный с «теми», — словом, идеальная в своей уязвимости мишень.

Да, несомненно: Блямп был поражен и, наверно, втайне усомнился, уж не дал ли он маху, предложив его кандидатуру, подбросив его фамилию в усталый гомон обалдевшего от бесплодных трехчасовых дебатов собрания — после того, как столько других кандидатур были отведены либо взяли самоотвод; именно его, Фрица Тольма.

А лимузины все подкатывали и подкатывали к подъезду, в них загружались чемоданы, взад-вперед носились водители, охранники в штатском спешили занять свои посты, телевизионщики и радиокорреспонденты укладывали аппаратуру, позвякивала посуда, пустые бутылки рядом составлялись в ящики, и в эту минуту, когда пресса, урвав свое, уже готова была от него отступить, он вдруг понял, что держится все-таки не так легко и раскованно, говорит не так свободно, как хотелось бы, а мысли движутся по двум полосам не так гладко, не параллельно, иной раз все же задевают друг дружку, — а коли так, он рискнет закурить: с чувством, с толком, но и почти с жадностью, на секунду вновь ощутив себя молодым, как в былые годы, когда он — студентом после особенно нудного семинара или молодым офицером после особенно удачного отступления — с наслаждением делал первую затяжку; и смотри-ка, какой-то шкет, мальчишка-фотограф, все еще не уставший караулить свою удачу, тут же его подловил и отщелкал — как он достает из кармана мятую пачку сигарет (вспышка), извлекает оттуда белоснежную бумажную

* Матф., 11, 7.

трубочку (снова вспышка), собственноручно, не дожидаясь, пока кто-нибудь подскочит с зажигалкой, чиркает спичкой (еще один блиц), и у него мелькнула мысль (уж настолько он разбирается в журналистике, уж этому-то даже он успел научиться, хоть многие, почти все, привыкли его попрекать: мол, «при деле сидел, за делом глядел, а дела не понимает»), но тут он нутром почувал, что этими снимками карьера пареньку обеспечена: седовласый, почтенный старикан, известный своей вальяжной обходительностью и в то же время чуточку легкомысленный, словно до настоящей солидности, когда человек действительно «имеет вес», ему самой малости не достаёт, — вот он, в полный рост, прическа слегка растрепалась, одет с иголки и все же с налетом небрежности, стоит как ни в чем не бывало, будто ему и вправду нечего бояться, и даже попыхивает сигаретой, точно какой-нибудь юнец, а не новоиспеченный президент, и в руках у него мятая пачка сигарет и спички в потрепанной упаковке, — стоит с победным видом, хотя на самом деле он побежденный, а истинный победитель — Блямп.

Ну вот Блямп и определил его туда, куда всегда хотел, — на самый верх, где у него не будет ни сна, ни покоя, ни передышки, вообще никакой личной жизни, где, у всех на виду, его попросту затравят угрозами и доконают мерами безопасности, — а он за каких-нибудь два часа открыл в себе спасительную двурядность мыслей и именно теперь, вопреки всему, снова обрел личную жизнь, детей и внуков, обрел Кэте и уже не страшится речей, которые ему нужно будет произносить, пресс-конференций, которые его заставят вести, интервью, которые ему придется давать. Вон, оказывается, сколько еще в нем силенок, а он и не знал, вон какие обоймы мыслей, которых он еще не высказал, мнений, от которых не терпится освободиться, гладких формулировок, заготовленных на все случаи жизни, — пусть спрашивают что угодно, он не боится этих писак, ни нахальных, ни подобострастных, ни даже нахально-подобострастных, и хоть про него говорят, что он при деле сидел, за делом глядел, а дела не понимает, журна-

листочку шатию он знает как облупленную и нахалов всегда предпочитал подхалимам — как-никак он тридцать два года шеф «Листка» и повидал их достаточно, видел, как они приходят и уходят, наглядился на их взлеты и падения и, между прочим, всегда умел с ними ладить, хоть так и не смог понять, что же такое журналистика, сколько ни жужжали ему на разных конференциях, что «жур» означает «день», до него только сейчас дошло, что это значит: целый день ради злобы дня мило болтать перед микрофонами и камерами под скрип заточенных карандашей все, что катится по полосе «передних мыслей», — вот чему научился он в те минуты, когда страх за собственную жизнь внезапно его отпустил.

А ведь среди кандидатов — вечная история — опять называли и Кортшеде, но тот на сей раз даже не приехал, и опять посыпались намеки на его «наклонности», из-за которых он якобы непригоден для такого поста, «совершенно непригоден, хотя способностей его никто не оспаривает».

Вот так и получилось, что Блямп все-таки вышел на него, а Амплангер опять остался в тени; ох уж этот Блямп с его мерзкой физиономией, прямо «рожа» да и только, с его солдафонскими замашками, постаревший, но не утративший молодецкой прыти, никакой не сердцеед, обыкновенный бабник. Любопытно было впервые за тридцать пять лет видеть Блямпа почти смущенным, во всяком случае в растерянности: уважительный кивок, а потом все-таки удар исподтишка, да какой внезапный:

— Значит, у Фишеров пополнение? Только из газет и узнаешь: одна в спортивной хронике что-нибудь тиснет, другая — в светской. А ты, конечно, молчок. Даже Кэте, когда я ей сказал, и то поразились. — Блямп пристально наблюдал за его реакцией и, конечно, понял, что он тоже впервые об этом слышит. Так Сабина беременна? А ему ничего не сказали? И откуда этот многозначительный тон, словно речь о чем-то скандальном, о какой-то пикантной сенсации? Журналисты вроде пока ничего не разнюхали, иначе сегодня непременно

бы спросили: «С какими чувствами вы ожидаете пополнения в семействе Фишеров?» Да, за сообщением Блямпа, за его вопросом что-то кроется, а он ничего не знает. — Ну, поздравляю, поздравляю. И с дебютом, ты был просто великолепен, придется теперь повнимательней читать в газетах раздел культурной жизни, а то за тобой не утонишься. И конечно, с будущим внуком. Значит, через четыре месяца? Ну, будь здоров.

Все кончилось раньше времени, Кэте еще не вернулась от Сабины; в дни заседаний, а тем более съездов она всегда скрывалась, только после обеда, за чаем и кофе, разыгрывала роль хозяйки дома, потчевала всех своим печеньем и маленькими пирожными, она всегда питала слабость к птифурам, которые сама пекла в своей уютной кухоньке, и все это очень мило, приветливо, гостеприимно, будто и не по обязанности вовсе, — болтала с мужчинами, заботилась о секретаршах, которые, похоже, и правда в ней души не чаяли, выпрашивали кулинарные советы, переписывали рецепты. «Нет, подумать только, и как это вам удастся!» В те два-три часа, когда в святая святых допускались женщины, она звала их к себе наверх посудачить, угостить чаем и ликерами, иногда даже демонстрировала наряды, терпеливо выслушивая охи и ахи, поддерживая беседу — о детях, внуках, планах на лето, и не делала различий между законными женами и «подругами» гостей — наедине с ним она без церемоний звала их любовницами, — со всеми была равна и мила, всех умела мгновенно к себе расположить, а «подруг», недавних стюардесс, секретарш, продавщиц, если те с непривычки робели в «высшем свете», успевала даже тактично ободрить. Спокойно, не роняя достоинства, парировала колкости и пресекала все попытки позлословить о Рольфе или Катарине, Веронике или Хольгере-старшем, отстаивала Герберта, которого числили по разряду «чокнутых», и холодно пропускала мимо ушей лицемерные сочувствия по поводу ее — теперь уже семилетнего — внука, чье местопребывание никому не известно. «Эта женщина, нынешняя подруга вашего сына, Катарина, она ведь коммунистка, верно?» — и она отвечала: «По-моему, да, но

лучше бы вы спросили у нее об этом сами, я, знаете, не люблю судить о людях по их политическим взглядам». Намеки на похождения их зятя Эрвина, на жизнь «бедняжки» Сабины — она спокойно выслушивала и это. И даже постоянное присутствие охранников, торчавших в доме повсюду — в коридорах, на балконе, в кладовках, — не могло вывести ее из равновесия.

Да, без Кэте ему сейчас трудно. Если Сабине через четыре месяца рожать, значит, скоро пойдет уже шестой — и она никому ни слова не сказала. О ком бы ни ронял Блямп свои каверзные замечания — о Рольфе, Катарине, Герберте, Хольгере-старшем, — в одном, по крайней мере, сомневаться не приходилось: фактам они соответствуют. Раз он сказал «через четыре месяца», значит, через четыре, даже если сама Сабина за такую определенность не поручится. Это информация из источника Цуммерлинга, а его люди не только «прослушивают пульс времени», они и лоно знатных дам прослушивают, и лучше, нежели сами эти дамы, знают, с какого дня отсчитывать задержку, это диагносты особого пошиба, они, должно быть, расспрашивают горничных и аптекарей, роются в мусорных бачках и медицинских картах, прослушивают, ясное дело, и телефоны, и все это, разумеется, только во имя общественного блага. Кэте, будь она в курсе, от него-то, наверно, не стала бы скрывать, и уж совсем непонятно, почему молчит Сабина? Раз Блямп что-то вычитал в спортивной хронике, значит, это как-то связано со скачками; нет, он не кинется к телефону и не станет звонить, хотя ему очень хочется. А больше всего ему хотелось бы сейчас подняться к Кэте и выпить с ней чаю. Он уверен, она не позволила бы себе и тени насмешки по поводу его избрания, даже если в глубине души — но, видно, этого ему уже никогда не узнать — она и потешается; конечно, она уже все слышала по радио в машине или у Сабины по телевизору и, скорее всего, ужаснулась, она же понимает, что Блямп не просто хочет еще больше его запугать — Блямп решил его уничтожить.

Наконец-то в зале кончилась трескотня, телевизионщики, радиокорреспонденты и газетчики убралась восвояси, и он может на минутку спокойно присесть без риска ослепнуть от фотовспышек; он почувствовал, как по лицу паутиной расплзается усталость, почувствовал буквально кожей, по которой бороздами пролегли морщины, — да, эта забавная и азартная игра, эта беготня мыслей по двум дорожкам порядком его измотала, а еще одну сигарету ему никак нельзя. Он ненавидит унылые препирательства с Гребницером, своим врачом, а уж Амплангер, будьте уверены, представит тому полный отчет: три на заседании, одну после обеда и еще одну во время пресс-конференции. Амплангера без долгих дебатов, даже без единого голоса против снова избрали ответственным секретарем, и хоть этот Амплангер птенец из его гнезда — он ведь начинал в «Листке» под крылышком своего папаши, в «Листке» оперился, на «Листке» сделал карьеру, — а чей он на самом деле человек, не поймешь: может, Блямпа, а может, даже и Цуммерлинга. Вежлив, образован, услужлив, даже мил, он редко показывает зубы, но уж если показывает, то страшнее всего в улыбке, более жуткой улыбки, так сказать, улыбки со скрежетом зубовным, он ни у кого не встречал. В семье Амплангеров улыбались все: он сам, его жена, четверо детей, а злые языки утверждали, что со дня на день в его доме начнут улыбаться собака, кошка и даже волнистые попугайчики. Улыбка Амплангера давно стала притчей во языцех, ее боялись как огня, когда Амплангер заведовал в «Листке» кадрами, он на всех страх наводил. Кто-то из «стариков», тех, кто работал в «Листке» с самого начала и с кем можно поговорить по душам, ему рассказывал, что даже поговорка такая ходила: «Если Амплангер улыбнулся, тебе хана».

Но сейчас — неужто Амплангер тоже устал, настолько устал, что даже не в силах ему улыбнуться?

И вид у него был почти человеческий, когда он подсел рядом и тоже устремил взор на зелень парка; и белый воротничок вокруг шеи чуть-чуть потемнел и замахрился, видно, Амплангеру тоже пришлось попотеть, даже прическа не вы-

глядела безупречной, словом, он казался почти живым человеком, когда заговорил:

— Выкурите еще одну, господин доктор, я никому не скажу.

Но он в ответ только покачал головой и спросил:

— Что там было в газетах насчет моей дочери и ее беременности?

— Ваша дочь Сабина отказалась от подготовки к предстоящему первенству, что дало толчок некоторым домыслам, я распоряджусь все тщательно проверить. Информация господина Блямпа меня самого чрезвычайно удивила. А теперь, если позволите, вам надо бы прилечь. День был безумный, даже меня и то доконал, вам лучше подняться к себе, а я тогда со спокойной совестью отправился бы домой. Разрешите заметить: с журналистами вы разделались бесподобно, просто блеск.

— Мне уже завтра приступать? Я имею в виду — сидеть в кабинете?

— Нет, у нас только на послезавтра намечено маленькое торжество, что-то вроде приема для наших рядовых сотрудников, ведь большинство заведующих вы и так знаете. А на завтра у нас ничего нет.

— Я еще посижу, а вы идите, не беспокойтесь. Кланяйтесь от меня жене и детям.

— Думаю, излишне вам объяснять, что все меры безопасности, предпринимавшиеся в отношении господина Плифгера, теперь автоматически распространяются на вас. Если не возражаете, господин Хольцпуке посвятит вас во все тонкости — мне, разумеется, это тоже нетрудно, но он предпочитает инструктировать своих подопечных сам, и я не хотел бы его обижать. В таком случае, если я смею полагать, что вы в моей помощи не нуждаетесь и даже считаете ее излишней, я готов удалиться.

— Благодарю, и всего доброго. Значит, до послезавтра.

Больше всего ему хотелось сейчас просто уйти — пешком, через двор, по замковому мосту, по аллее, и так до самой деревни, а там, не торопясь, от дома к дому, добрести до церкви, посидеть, а может, даже и помолиться; потом он постучался

бы к Кольшрёдеру, напросился бы на кофе, потолковал о жите-
лье-бытье, но только не о Боге, о Боге он с Кольшрёдером
беседовать не любит, наверно, потому, что тот священник.
Постоял бы возле родительского дома, приземистого, хоть
и в полтора этажа, отделанного теперь асбестовой плиткой, —
там, по традиции, опять живет учитель, молодой, у него ма-
шина, жена в джинсах, он пристроил к дому гараж, а на ме-
сте грядок разбил газон, неизменно густой и ухоженный; на
зеленой траве разбросаны пестрые пластмассовые игрушки
двоих его детей. Он и впредь не сделает того, что давно и стро-
го-настрою себе запретил; не попросится зайти, чтобы ос-
мотреть дом изнутри: две клетушки со скошенным потолком
в мансарде, внизу — горница, кухня, чулан для утвари, в под-
вале — прачечная и кладовка; сейчас там, наверно, все по-
другому, интересно, где они ванную оборудовали, внизу или
наверху? Он вспомнил бы родителей, брата Ханса, все уже
давно в земле, родители тут, рядышком похоронены, а брат
далеко, очень далеко, если там вообще было что хоронить.
Прямое попадание. «Катюша», сталинский оргán. Надо бы
сходить на родительскую могилу, Кэте там бывает чаще, чем
он, она ездит в Ной-Иффенховен, на тамошнее кладбище,
где перезахоронены ее родители, а на обратном пути загля-
дывает и к его старикам, приносит цветы, покупает медные
гильзы для свечек, она и надгробья новые заказала, скульпто-
ры — совсем молодые ребята, он только наброски видел, роза
и крест, в мраморе, для обеих могил один и тот же орнамент
с незначительными вариациями, но он не любит кладбища,
никогда не любил туда ходить, даже на похороны, не то что
некоторые, кого хлебом не корми — только дай поглазеть на
чужие похороны.

А еще он повспоминал бы о молочном супе, такого супа
ему уже не отведать, ни в войну, ни после ему так и не дове-
лось воскресить тот божественный вкус, и даже Кэте — а она
бесподобно варит супы — тут бессильна, хотя он сотни раз
про этот суп ей рассказывал: островки взбитого белка, легкий,
едва слышный — у Кэте он всегда чуть-чуть резковат — при-

вкус ванили, но главное — ощущение воздушности, когда все прямо тает во рту, у нее же суп то слишком густой, то жидковат, оно и понятно, рецепта он не знает, только вкус запомнил, а вот его-то и не вернуть, как не вернуть иные запахи, особенно тот — прелый запах осенней листвы из темных глубин двора, там, в Дрездене, когда он обнимал Кэте в дешевой мебелирашке.

Острее всего воспоминания о субботах: после исповеди ритуал мытья, в цинковом корыте, потом суп, бутерброд с маргарином, по счастливым дням — какао, и даже воспоминание об исповеди не в силах вытравить воспоминание о супе. Он постоял бы возле дома Пюцев, возле дома Кельцев, позаигрывал бы с мыслью — заранее зная, что ничего такого не сделает, — зайти и поздороваться с Анной Пюц (про которую он хоть знает, что ее теперешняя фамилия Коммерц) или с Бертой Кельц (про которую он не знает ничего, даже нынешней фамилии), просто зайти, сказать «добрый день» и заглянуть в лица этих старых женщин. Они бы, конечно, смутились, ведь он теперь живет в замке и вообще важная персона. А он бы силился разглядеть сквозь их морщины лица тех девчонок, в которых более полувека назад был так сильно, до беспомыслия, влюблен — в Берту, когда ему было тринадцать, в Анну, когда ему было четырнадцать, одна блондинка, другая брюнетка, ему не давали покоя их девичьи глаза, груди, ноги, локоны, он ходил за ними по пятам, выслеживал, пытался целовать, тискал при малейшей возможности, и они не обижались, только отмахивались, им, наверно, было не привыкать, другие мальчишки вели себя не лучше, а ответное женское любопытство в них еще не проснулось, не то что у Герлинды Тольмсховен, но то было позже, и потому он никогда не знал, как отвечать в исповедальне на злополучный вопрос: «Один или с кем-то?» — а в том, что одному из двух этих грехов любой мальчишка его возраста предается несомненно, отец Нупперц был убежден свято; как считать — было это «с кем-то», когда он, подкараулив девчонку, порывался ее потискать или

просто просил — на что они иногда соглашались, причем обе с каким-то замороженным, почти торжественным удивлением, — посмотреть ей в глаза, и он, клятвенно пообещав, что все будет «без рук», смотрел, долго, глубоко, упоенно и неизменно держал слово. Как считать — это «с кем-то»: заглядывать в девичьи глаза, ища и открывая в них неведомо что? А невыносимые расспросы Нупперца: рукоблудит ли он во время субботнего купания, настойчивые советы мыться в не слишком горячей воде, а лучше всего в плавках, — эти рекомендации только навели его на идеи, о которых он прежде и представления не имел. Нет, это было уже чересчур, больше он к исповеди не ходил, и с тех пор ничто не омрачало воспоминаний о субботе (его передернуло при мысли, что бедняжка Сабина совсем недавно и вправду специально приезжала сюда исповедаться, и у кого? — у Кольшрёдера!), осталось только купанье и молочный суп, распаренное лицо матери над плитой, Ханс, подсовывавший ему свое какао, — сам он, как правило, вскоре смывался, его ждали иные радости, послаще всякого какао, — отец, которого, по счастью, обычно не было дома, с рюкзаком за плечами он колесил на велосипеде по окрестностям в поисках дешевой земли, у него это было вроде болезни, он жаждал владеть землями, даже если это были заболоченные, заросшие камышом и осокой, бросовые земли разорившихся крестьян. Да, отец жаждал стать землевладельцем и притом был ведь вовсе не прекраснодушный мечтатель, а строгий, даже ненавистный учитель, вдобавок еще и вегетарианец, он надевал рюкзак, садился на велосипед и уезжал искать «участки», воделенные землевладения, он коллекционировал сотки и квадратные метры, сколотил под конец несколько гектаров совершенно бесплодной земли, ворошил свои бумаги и квитанции, сортировал выписки из поземельных книг, купчие — все по закону, все заверено у нотариуса, — потом чахотка, смерть (а все же эти несколько гектаров вокруг Иффенховена, Блюкховена и Хетциграта помогли матери худо-бедно перебиться после войны: недвижимость она меняла на еду, всю землю — сотку за соткой —

обратила в молоко, масло и картошку, потом, когда поднялся угольный бум, крестьяне за эти участки получили неслыханные барыши). Когда он умер, вся деревенская детвора вздохнула с облегчением, вздохнули и Анна Пюц, и Берта Кельц, а особенно мальчишки, которые и теперь, уже дедушками, пугают внучат рассказами о грозном учителе Тольме, про которого никто даже толком не знал, хоть католик ли он «на худой конец», в смысле — «настоящий», «добрый» католик, потому как в церковь-то он хаживал и за порядком присматривал, а вот в исповедальне и у причастия его никто не видывал, ни здесь, ни в соседних деревнях, где он пропадал по воскресеньям, приманивая крестьян своим диковинным рюкзаком, велосипедом и скудной наличностью, из коей он предлагал жалкие задатки, дабы тут же, сразу после мессы и непременно при свидетелях, ударить по рукам, скрепляя таким образом уговор, над смехотворностью которого крестьяне потешались промеж собой ничуть не меньше, чем над «чудным» покупателем: длинный, костлявый, смурной какой-то, к тому же и не пьет, попросит воды принести или стакан молока, — словом, кошей да и только. Мать была совсем другая, у нее были хоть какие-то радости жизни: дом, грядки, цветы, дети, кухня, церковь, работа в союзе матерей*, богомолье, и она никогда не падала духом, а иной раз — правда, редко, ох как редко — ей удавалось даже пробудить улыбку на отцовском лице, когда она припоминала времена их блюкховенской юности, своих и его родителей, которые, как теперь выяснилось, всю жизнь просидели на несметных угольных залежах.

Надо бы сходить на могилу, посмотреть, как там Кэте распорядилась цветами, взглянуть на мраморную плиту с розой и крестом, на горящую свечку в медной гильзе. Он бы и в церковь зашел, поборов давнюю неприязнь к Кольшрёдеру, с ним хоть об архитектуре и живописи поговорить можно. Да и о музыке; а может, и в дом Коммерцов заглянул бы, там

* *Союз матерей* — традиционные католические (с 1930-х годов и евангелические) общества, участницы которых стремятся к воспитанию детей и к супружеской жизни в христианском духе.

ведь живут нынешние тесть и теща Рольфа, родители Катарины, Шрётеры. Хотя он и сейчас еще, пятьдесят лет спустя, немножко стыдится того, чем занимался тогда иной раз вместе с Петером Коммерцем и Конрадом Вергеном, про себя называя это «один, но с кем-то». Эти двое живо его просветили, едва он спросил, что имеет в виду старик Нупперц, когда пристаёт насчет «рукоблудия», — лучше бы ему остаться тогда в неведении, во власти грез, тем более что вскоре он и Герлинду встретил, как только начал ездить в городскую школу. Потом стал помогать ей по математике, здесь, в этом замке; конечно, посягнуть на ее грудь или ноги он не отважился, как-никак графиня, но в глаза заглядывал, глубоко-глубоко и небезответно, потому что в один прекрасный день она решила «покончить с этим делом», сказав ему с неповторимым фривольным озорством:

— Помилуем друг друга. — И добавила: — Только без комплексов, дорогой Фриц. Ты у меня не первый и, наверно, не последний, а я знаю, что я у тебя первая.

И эта девушка, что слыла в деревне «язвой», а то и просто «дрянюю бесстыжей», вдруг стала податлива как воск, нежна и покорна до бездыханности, и он никогда не забудет вспышку безумной радости, озарившую ее лицо, то счастье, которое ему всегда хотелось назвать благодатью; не забудет он и ее улыбку, когда та же радость снизошла и на него. Ликуя, а не раскаиваясь, шел он исповедоваться, шел в последний раз — лишь бы избавиться от ненавистного «с кем-то», лишь бы раз и навсегда распрощаться с исповедью, а быть может, и с церковью, которая еженедельно заставляет покаянно виниться в том, что он час спустя без всякого раскаяния сделает вновь. Он не забудет откровенное, более чем нескромное пыхтенье Нупперца и его жадный, якобы от гнева задыхающийся голос, его глупый вопрос «с кем же?», относившийся к чему угодно, только не к тайне исповеди; к тому же ведь он прекрасно знал ответ, почти вся деревня знала, и все знали, что рано или поздно дело раскроется, оно и раскрылось; остальное было обычно и неизбежно: Герлинду отправили в закрытый интер-

нат, но ему, ко всеобщему изумлению, от дома не отказали. Поговаривали даже, что старая графиня не только все предвидела, но, мол, хотела, чтобы так оно и вышло; она к нему благоволила, это было ясней ясного, и он снова стал помогать — уже брату Герлинды, Хольгеру, и тоже по математике; какое благо — хоть иногда он мог теперь подкинуть матери немного деньжат, да и себе кое-что купить. Кроме того, были ведь велосипеды, и даже бдительность кельнских монахинь имела свои границы. А Герлинда настояла на своем «неотъемлемом, Богом и церковью освященном» праве выбрать себе другого, менее осведомленного в ее личной жизни исповедника. Были не только велосипеды, были еще и парки и квартиры подруг Герлинды, особенно одна, около Южного вокзала, где они, распахнув окно, слушали поезда, и Герлинда смеялась, когда он просил заглянуть ей в глаза. Он знал, и она знала: он не найдет в них того, что искал в глазах Берты, в глазах Анны, но он находил нечто иное, тоже важное — прощанье с исповедью и молочным супом.

Сколько раз, заходя потом в эту церковь и поглядывая на незыблемую новоготическую исповедальню, он мог бы торжествовать при мысли, что они, преемники Нупперца, если не все, то многие, сами угодили теперь в силки секса, которые столетиями раскидывали для других. Где и кому сами-то они исповедуются во всех своих «с кем-то», а тем паче во всех своих «один», как и чем искупают свои грехи? Что творится за стенами их уютных и просторных квартир, за стенами их роскошных, модно обставленных «хижин», планировку которых столь беспощадно и точно растолковал ему Рольф, за стенами, где обретаются все эти приживалки, экономки, троюродные кузины или как их там еще, и ни один из них ни разу не сподобился объяснить, отчего все так устроено, что расцвет мужской силы, молодости, желанья, да и вожделения приходится на те «лучшие» годы, когда жениться еще рано или попросту нельзя, денег нет, и ты волей-неволей идешь к девкам, к «доступным» женщинам, к коим, несомненно, принадлежала и Герлинда, либо обрекаешь себя на безрадостное «один»,

которое всегда было ему не слишком по душе? Да и откуда бы взяться этому «с кем-то», если не повстречаешь такое счастье, такую удачу, как Герлинда, — почему, коли на то пошло, они не провозгласят всех Герлинд святыми? До сих пор, с того самого дня, когда он сразу от Герлинды пошел к своей последней исповеди, он всякий раз, напросившись к Кольшрёдеру на кофе, снова и снова втайне упивается своим триумфом, смесью торжества, грусти и отвращения, убеждаясь, что Кольшрёдер, вне всяких сомнений, с этой Гертой, своей экономкой, как говорится, живет во всех смыслах, значениях и оттенках этого слова; об этом, впрочем, и так все знают, никто никогда этого и не отрицал, слишком явно все видно — как он мимоходом гладит ее по крашеным рыжим волосам, как соприкасаются их руки, когда она наливает ему кофе, интимности и свойской ласки, тут, пожалуй, куда больше, чем в постели, если бы кто их в постели застукал; во взглядах и жестах давняя, привычная близость, столь же неприглядная, сколь и трогательная, особенно у нее, пышногрудой, цветущей сорокалетней женщины в джинсовой юбке и легкой, воздушной блузке, в вырезе которой она даже не боится кое-что показать, — нет, тут уж не было никакого очарования влюбленности, один вороватый блуд, для него это до сих пор потрясение. Наверно, во всем этом не было бы ничего дурного, если бы все было в открытую, если бы не беспрестанное нытье об испорченности других, разглагольствования об их вонючем целибате*, не сетования на распушенность молодежи да и всего рода людского — уж по крайней мере не из уст Кольшрёдера! Благочинный распад, сытое, со вкусом и по последней моде, комфортабельное разложение — нет, ему просто больно это видеть, и потом, черт побери, как они исхитряются обойтись без детей, ведь должны же они что-то предпринимать, что-то из того, что другим запрещают? Тогда кто, черт возьми, в чем и перед кем должен исповедоваться, кто кому и что отпустить? Как-никак он лично на своем веку ни разу, ни секунды не помышлял стать священником, не принимал, да и в жизни

* Обет безбрачия, обязательный для католического духовенства.

не принял бы обет целомудрия, не возжелал жены ближнего своего — даже Эдит была не замужем. Благочинное растление, распад, можно сказать, прямо под стенами церкви, и все же одного у нее не отнимешь, кофе она варить умеет, эта Герта, на вид, кстати, вполне приглядная особа, кроткая, с ласковым голосом и крашеными рыжими локонами, — но что-то в ее облике отдает борделем, и ему всегда это претило, именно потому, что приходил-то он не в бордель. Но он все равно нет-нет, да и захаживал к ним, всегда незванным гостем, уже почти не чувствуя триумфа, только отвращение и грусть, ведь когда-то все это кое-что для него значило, а для многих и поныне значит немало, для Сабины и Кэте особенно, да и для него все еще, от поры до поры, значит куда больше, чем полагают эти ханжи, умеющие так элегантно, со всеми удобствами развезжать по накатанной колее, из которой они столько миллионов, если не миллиардов, честных людей выпихнули, «одних» или «с кем-то». Куда ни глянь — всюду только безупречная штукатурка фасадов, за которыми хаос, распад и тлен.

С Кэте ни о чем таком не поговоришь. Она наивна и в каком-то смысле все еще правоверна, он не рискнет на это посягнуть. К тому же ведь ничего и не докажешь, да и нечего доказывать. Герберт — тот только посмеивается, для него церковь давно уже звук пустой, но не для Рольфа, Рольф сознает, что церковь на него повлияла, как сознает и Катарина и Сабина, — в этом деле он за Сабину боится даже больше, чем за Кэте, да, Сабине он давно и от всего сердца желает любовника, милого, открытого парня, пусть даже из клуба верховой езды. Он почти уверен, что с Эрвином Фишером у нее нелады, в том числе и по части «с кем-то». Он, понятно, и заикнуться об этом не посмеет, тут ведь ничего не докажешь, да и не обсуждают такие вещи, и все же: Сабина заслуживает настоящей любви, а не этого подонка, которого он наедине с Кэте иначе как «пугалом» не зовет.

Кэте собиралась вернуться от Сабины к шести. Сейчас только полпятого, машин во дворе не видно, прощаться ни с кем не надо, он вполне успел бы прогуляться до деревни.

Но об этом теперь и думать нечего, не может он просто так взять и уйти, даже на свой страх и риск. Блямп в своем откровенно издевательском поздравительном адресе правильно написал: «Отныне ты принадлежишь себе еще меньше, чем прежде, а своей семье еще меньше, чем себе». И даже если бы он рискнул, ведь не станут же они, в самом деле, удерживать его силой, — а вдруг? — все равно не может он подложить такую свинью этим молодым, неутомимым ребятам-охранникам, даже если он сам будет кругом виноват, спросят-то с них, а случись с ним что, и вину свалят на них, и ответственность, и позор. К тому же он твердо обещал Хольцпуке не устраивать никаких демаршей самому и не допускать эскапад со стороны Кэте, более того — предупреждать его, ежели Кэте таковые замышляет. Ей удалось несколько раз незамеченной ускользнуть через парк, потом перелесками до Хетциграта, поймать там такси и удрать в город; и хотя в городе ее быстро обнаруживали (благо маршрутов не слишком много, две давнишние подруги, адреса которых, разумеется, известны, два кафе — Гецлозера и Кента, обувной салон Цвирнера, два модных магазина — Хольдкрампа и Бреслицера, да еще четыре излюбленные церкви) и потом «вели», однажды даже от самой стоянки такси (Хольцпуке, наверно, уже успел условиться со всеми таксопарками в округе), все равно это было крайне неприятно, причиняло массу ненужных хлопот и треволений, что в конце концов признала и сама Кэте, объявив, что окончательно «обращена» и «смирилась с тюрьмой Тольмсховен».

Он ни секунды не сомневается, что все меры безопасности, сколь бы преувеличенными и безумными они ни казались, оправданны. Он обязан и хочет относиться к ним с пониманием, он и так порой не на шутку тревожится за нервы этих ребят, и его не слишком успокаивают заверения Хольцпуке, что все они под постоянным наблюдением психолога, некоего Кирнтера, отличного специалиста. Он по себе знает: есть много вещей, о которых он никогда не скажет Гребницеру, своему врачу. Например, о смертной скуке, которая охватывает его в огромном кабинете «Листка». А идти в деревню

с сопровождением — нет, он не пойдет. Что подумает о нем хотя бы этот молодой Тёргаш, дожидаясь, пока он посидит в церкви, а потом еще наведается к священнику, про которого каждый, а уж Хольцпуке наверняка, знает, чем он там со своей Гертой занимается, и который к тому же — после того, как Вероника додумалась позвонить Кэте именно туда, в дом священника, — видимо, сам того не ведая, угодил «под колпак»? Возможные домыслы конвоиров от чего хочешь охоту отобьют. Хольцпуке их ему представил: Тёргаш, Цурмак, Люлер, «очень слаженная группа, где все прекрасно дополняют друг друга, отлично зарекомендовала себя при охране вашей дочери, зятя и внучки». Разумеется, он на всякий случай осведомился у Сабины по телефону, хоть и знает, что телефон прослушивается (без этого никак не обойтись), и она всех троих очень хвалила, особенно Тёргаша, которого назвала «очень серьезным, внимательным и вежливым молодым человеком».

Опять Сабина, не идет она из головы, — отчего в последнее время она буквально дня не может прожить без Кэте, звонит ей, зовет к себе, приезжает сама? Наверно, все из-за этого идиота Фишера, который, похоже, просто потеряет веру в свои мужские достоинства, если бульварные журналы вдруг перестанут расписывать его сексуальные геройства.

Нет, не может он просто так взять и пойти в деревню — тут не только меры безопасности, но еще и ноги, они что-то плохо его слушаются, он даже не знает толком, что его больше удерживает: ноги или неотступный конвой. Это веселое, такое новое чувство легкости после того, как исчез страх, — ногам оно еще не передалось, в ногах по-прежнему тяжесть, скованность и холод до самых щиколоток. Под руку с Кэте он бы, наверно, еще рискнул, а в одиночку — нет, неудобно, вдруг оплошает, придется на кого-то опереться, хотя бы на молодого Тёргаша, что может пагубно сказаться на его бдительности охранника; конечно, его мог бы проводить и Блуртмель, но и Блуртмеля не хочется беспокоить, что они — и Блуртмель тоже — подумают, когда он внезапно остановится перед домом Пюцев или перед домом Кельцев, впрочем, не важно,

что они подумают, просто их мысли, их домыслы убьют его воспоминания, и он не сможет воскресить милые лица двух девочек, и в церкви тоже, где он присядет в тишине, один, будет смотреть на исповедальню, на высокие новоготические окна, с грустью и отвращением размышляя о том, что и по сей день до конца в нем не изжито: о мерзких расспросах Нупперца, которые способны были отравить любую красоту, любую поэзию — даже тоскливую радость пресловутого «один». Одна эта мысль — «а что подумают они?» — убивала остальные, убивала воспоминания о милых девочках, когда-то столь благоразумных и желанных, о грозном любопытстве Нупперца, обо всем, что было у него «с кем-то». Пожалуй, лучше вовсе не возвращаться к местам своих воспоминаний. Мешают ведь не конвоиры, что неотступно бредут по пятам, а их мысли и домыслы, которых у них, вероятно, и нет вовсе.

Он пошел по лестнице, лифт вызывать не стал, не хотелось еще и в лифте снова, в который раз, видеть лица задержавшихся с отъездом гостей — Поттзикера, Хербстхолера, да и любого из тех, кто мозолил ему глаза все эти четыре дня нескончаемых заседаний, — Блямпа, который, возможно, все еще где-то тут, друзей, врагов, официантов. Эта вечная неловкость при встречах в лифте, вымученные улыбки, когда не знаешь, куда деть руки, и пепел с сигары или сигареты стряхнуть некуда (сколько же можно просить Кульгреве распорядиться насчет пепельниц в лифте, придется перепоручить это Амплангеру, уж тот не подведет), и эти вечные шуточки по поводу Тольмсховена, «замка его мечты»: некоторые так вообще считают чуть ли не своим долгом в издевку величать его «Фридрих фон Тольм с резиденцией в Тольме», хотя он, Фриц Тольм, никакой не дворянин, просто родом из деревни, которая обязана своим названием графской семье и ее фамильному замку. При этом ведь все, даже Блямп, в конце концов вынуждены были признать покупку замка «гениальной идеей». Ремонт и модернизация целиком себя оправдали, даже с финансовой стороны; два аэропорта в тридцати, третий в сорока

минутах езды, а в крайнем случае можно испросить разрешение на посадку на аэродроме английских ВВС, до того вообще рукой подать. Это ж куда удобнее, чем по нескольку дней, а то и неделями снимать гостиницы, которые всем обрыдли. Он долго и тщетно убеждал руководство объединения купить замок, потом махнул рукой и купил сам — у графа Хольгера фон Тольма, последнего в роду отпрыска мужского пола, который давно переселился в Южную Испанию, все свое время посвятил женщинам и игорным фишкам, безуспешно пытаясь пробиться в международную элиту плеббозов, и являл собой печальное олицетворение распада, в своей откровенности, впрочем, куда более симпатичное, нежели разложение церковников, замазанное штукатуркой благонравия. А Хольгер даже зубы и волосы не уберег. Он еще больше поглупел, стал сентиментален, при случае не прочь был пустить слезу, бедолага Хольгер, на которого он, Тольм, никогда не умел сердиться, а тем более злиться, не умел с юных лет — ведь именно Хольгер покрывал их с Герлиндой шашни, обеспечивал алиби, помогал устраивать встречи; Хольгер, которого война наградила неудавшейся карьерой летчика и свирепыми запоями, годный только на роль неотразимого завсегдатая казино и распорядителя чужих удовольствий, вечно терся при штабах, организовывал званые обеды, добывал икру, поставлял начальству шампанское и женщин, дослужился-таки до майора, хотя под конец был уже настолько слаб в коленках, что сам себе боялся в этом признаться. И пусть этот Хольгер ему чуточку в тягость, все равно он его должник и готов всю жизнь выплачивать тот юношеский долг, даже если Хольгер постепенно действительно станет ему неприятен, этот жалкий человек, позабытый всеми друзьями-приятелями, «абсолютная развалина», как он сам себя называет. Но для него, размышлял он, медленно, очень медленно поднимаясь по лестнице, — для него Хольгер навсегда останется милым мальчуганом, с которым они на «велике» укатывали в Кёльн якобы для осмотра церквей и музеев или за новыми деталями для игрушечной железной дороги, а то и «просто так», а Герлин-

да уже ждала где-нибудь, обычно на Мозельштрассе, готовая встретить его счастливым смехом и, как сказали бы сегодня, «сверху без».

Тут он невольно улыбнулся: за Тольмسخовен он ведь явно переплатил, и все ради Хольгера и Герлинды, которая тоже вдруг объявилась невесть откуда, неожиданно добропорядочная, располневшая, уже на седьмом десятке, замужем за простым смертным, без всяких «фон», — некто Фоттгер, доктор юриспруденции, служит в министерстве иностранных дел — она улыбнулась, даже покраснела слегка, чего с ней раньше не случалось, сказала:

— Деньги нам вовсе не помешают, детям ведь надо учиться, пока мы с мужем по свету колесим. И я очень рада, что замок перейдет к тебе. А еще — я иногда думаю: зря я тебя не удержала, даже не пыталась. С тобой было хорошо, ты был еще совсем ребенок.

Потом, когда после нотариуса они зашли в кафе Гецлозера и Фоттгер, судя по всему социал-демократ, принялся защищать восточную политику*, она, по счастью, даже не подумала с ним заигрывать: никаких доверительных прикосновений, вздохов, томных взглядов — ничего, и слава богу, все равно ничего бы не вышло. Она ведь никогда не была особенно хорошенькой, привлекательной — да, но не хорошенькой, и, наверно, давно уже не была легкомысленной. А еще он вспомнил о старой графине, которая так о нем заботилась. С непонятым упорством настаивала, чтобы он доучился, защитил диплом, и была особенно добра к Кэте. И вот он вернулся в Тольмسخовен новым хозяином и сразу предложил замок Объединению в качестве постоянной резиденции. Тут все было — телетайп, телефонная связь, лифты, вышколенный и абсолютно надежный персонал, сауна, излюбленный всеми игорный салон, где можно перекинуться в покер, а если охота, то и во что-нибудь поазартней, да и с Кульгреве ему повезло

* Имеется в виду нормализация отношений с Восточной Европой (договоры ФРГ с СССР и ПНР 1970 г., ГДР — 1972, ЧССР — 1973) при Вилли Брандте, федеральном канцлере в 1969—1974 гг.

(хоть тот и забывает про пепельницы в лифте) — предупредителен, скромн, работает с душой. А решающим аргументом оказалось (тогда-то и речи об этом не было) идеальное расположение замка с точки зрения безопасности: широченный ров с водой, превосходно просматривающийся французский парк (пусть сколько угодно называют его «доморощенным Версалем», пусть смеются, сидя в своих роскошных пузатых виллах, задавленных «добротным» шифером снаружи, лоснящихся латунью внутри) — до самого леса гарантирован безупречный обзор. Даже в плане вложения капитала замок с его отлично оборудованной кухней и подсобными помещениями сулил выгоды: в случае чего его запросто можно продать под первоклассный отель, если бы — и тут он подумал о детях, которым Тольмсховен всегда был не по душе, подумал о внуках, — если бы... если бы не мрачные прорицания Кортшеде, которые перечеркнули все надежды, все планы; ведь, в конце концов, замок представляет и немалую историко-архитектурную ценность, заложен в XII веке, перестраивался и достраивался во все последующие века, это же наглядное пособие по истории архитектуры — и ничего, ничего не останется. Все ближе угольные карьеры, все ближе электростанции, все гуще дымные облака на горизонте. «Сносить и копать, копать и сносить», — так это у Блямпа называется. И тихий Кортшеде тоже подтвердил:

— Все давно решено, даже то, что еще и не решено вовсе. Сам увидишь — они все будут заодно, профсоюзы и работодатели, государство и церковь (он всегда почему-то упоминал о церкви со странным смешком, словно это вздорная и свое нравная старая дева из богадельни), — все давно решено, и случится еще на твоём веку: все снесут, камня на камне не оставят, так что лучше уж тебе подготовиться. Самое страшное — это когда профсоюзы и работодатели заодно. Энергоресурсы, занятость — да ты сам все прекрасно знаешь.

Четыре пролета, одиннадцать ступенек, и каждую он знает как родную, до мелочей, до малейшей щербинки, он помнит, где медные прутья на ковровой дорожке разболтались и надо

следить, чтобы не споткнуться. Он яростно, если верить архитекторам — «с почти необъяснимым упорством», отвергал все предложения подправить лестницу, заменить дорожки, и они, конечно, правы, сентиментальность необъяснима, да и откуда им знать, сколько раз в юности он поднимался, а случалось, и крался по этой лестнице, чтобы проникнуть в комнату Герлинды, где теперь обосновался Блямп.

Он устал, он чувствовал годы — старость свинцом залива-ет ляжки, норовя переползти ниже колен; и он опять ощутил страх, теперь уже новый: придется переезжать, выметаться — но куда, куда? Во всей деревне камня на камне не останется, ни лужка, ни травинки, ни единого деревца на кладбище, и он не мог поверить — неужели они и новоготическую исповедальню потащат с собой, неужели Кольшрёдер возьмет с собой свою Герту — туда, в Ной-Тольмсховен, где он поселится в еще более шикарном доме, повесив рядом Шагала и Уорхола*, неужели все, все стронется с родных мест — девочки-старухи Анна и Берта, крестьяне со всем хозяйством и даже кладбище, как это уже случилось с Айкельхофом, как это было с Иффенховеном? Айкельхоф семья ему так и не простила, даже Рольф, а уж Кэте и подавно, а ведь должны бы понять, что тут он совершенно бессилен и безгласен, совсем не боец, да и не был никогда, должны понять, что и деньги тоже манили, деньги и новая недвижимость, а все из-за незабвенной бедности, что въелась в него с детства, и еще, наверно, из-за отцовской жажды земли. И потом — ну почему, черт возьми, именно тут, где все они родились, выросли, жили, — почему именно тут оказалась такая прорва угля?

Гребницеру так и не удалось приучить его к трости, и теперь он прикидывал, что смешнее: вот так цепляться за перила или ковылять по лестнице с тростью, а то, может, призвать на помощь Блуртмеля, который, конечно же, будет готов в любую секунду его подстраховать. Рано или поздно ему останется только трость или лифт, если не то и другое вме-

* Энди Уорхол (р. 1927) — американский художник-авангардист, также кинорежиссер.

сте, а потом в один прекрасный день и кресло-каталка, куда Блямп уже сейчас с превеликим бы удовольствием его усадил. Президент в инвалидном кресле, добренький, седой, интеллигентный, — это же просто лакомый кусок для журналистов, он прямо слышит, как они взахлеб сравнивают его с Рузвельтом*, а его либеральные методы управления с рузвельтовским «новым курсом»** — аналогия столь же немудрящая, сколь и неизбежная; у них всегда под рукой ворох сравнений, штампов, даже аллегорий, целые обоймы таких же идиотских банальностей по любому поводу и на все случаи жизни; а какой это будет для них подарок, если «те» — кто? когда? как? — однажды «достанут» его прямо в кресле, желательно, правда, чтобы кинокамера оказалась поблизости, дабы запечатлеть, как он, весь в крови, вываливается из кресла, а кресло вприпрыжку катится вниз по лестнице, тут уж сравнения не миновать — кино, «Броненосец «Потемкин»***. Лестница — детская коляска, лестница — кресло-каталка, и, конечно же, оператор чертыхнется: «Проклятье, почему лестница такая короткая, всего одиннадцать ступенек, здесь же нужен долгий план!» — и еще, чего доброго, чтобы продлить план, спихнет заляпанное кровью кресло в следующий лестничный пролет.

Он вздрогнул — Блуртмель распахнул перед ним дверь, едва он прикоснулся к ручке; подумалось: «Так вот и будет, это будет кто-то, кого я хорошо знаю, кому доверяю, кто выдержал все проверки». Черт возьми, неужто Блуртмель — научился видеть сквозь стены? Или кто-то успел ему сообщить: «Подошел к двери, сейчас возьмется за ручку». Не исключено, ведь они, или по крайней мере один из них, обязательно

* Франклин Делано Рузвельт (1882—1945) — президент США в 1933—1945 гг.

** Система мероприятий в 1933—1938 гг. для ликвидации последствий экономического кризиса конца 20-х — начала 30-х гг.

*** Имеется в виду классический эпизод из фильма С. Эйзенштейна (1925), где вниз по ступеням одесской лестницы катится коляска с ребенком, выпущенная из рук смертельно раненной матерью.

караулят наверху, укрывшись где-нибудь в нише, за дверным косяком, в темном углу, за выступом стены, и у каждого переговорное устройство. И у Блуртмеля оно есть, так что любой охранник мог — просто по дружбе — предупредить: мол, старик на подходе. Одно нехорошо — когда дверь так внезапно открылась, он от неожиданности споткнулся и чуть не упал, Блуртмелю пришлось его подхватить, неприятная и совершенно излишняя демонстрация его физической немощи, которую, конечно же, припишут его общему состоянию, а не тому чисто техническому казусу, что дверь подавалась внезапно и слишком легко. Он, слава богу, еще в силах нажать дверную ручку и войти в комнату без посторонней помощи.

Подобное чрезмерно предупредительное внимание давно стало для него приметой все более строгого заточения, когда любая забота, даже невинный жест вежливости кажутся проявлением бдительности и, значит, угрозы. До сих пор жуть берет, стоит лишь вспомнить, какого ужаса нагнал на них Кортшеде, когда взвизгнул и как безумный кинулся бежать вокруг стола заседаний, и все из-за того, что официант без предупреждения шелкнул зажигалкой, давая ему прикурить: внезапная тень за спиной, мягкий шелчок зажигалки, который вполне можно принять за бесшумный выстрел, — все это лишило беднягу остатков самообладания, бесшумная вежливость его доконала; не переставая вопить, он метался вокруг стола, потом бросился к двери, дверь на замке, он бегом обратно, он не мог остановиться, и никто не мог его удержать, пока наконец Амплангер буквально не стиснул его в объятиях, но он вырвался (что дало Блямпу, который любит пройтись насчет гомосексуальных наклонностей Кортшеде, повод для циничной шуточки: «Как святой Иосиф от жены Потифара*»), оставив в руках у Амплангера свой пиджак, после чего пришлось уже попросту «брать» его с помощью полицейских, те обучены

* Согласно библейской легенде, жена египтянина Потифара, рабом которого был Иосиф, хотела его соблазнить, «но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал, и выбежал вон» (Бытие, 39, 7—12).

приемам и применили их весьма энергично; выглядело все это довольно жестоко, но, наверно, так надо, они его схватили, зажали ему рот и не выпускали, пока не подоспел Гребницер со шприцем, — Кортшеде ойкнул, дернулся, обмяк, его отнесли в его комнату и приставили к нему медсестру, пока за ним не приехали домочадцы.

Блуртмель — вид у него был слегка сконфуженный — помог ему дойти до кресла у окна, принес стакан минеральной, плеснул немного виски и сказал:

— Ваша жена просила передать, что вернется примерно через час, к шести, я тогда подам чай и тосты. А пока приготовлю ванну.

В свое время им стоило немалых трудов отучить Блуртмеля называть Кэте не иначе как «ваша супруга» или «милостивая госпожа». Ему претят подобные церемонии, Кэте их вообще не переносит, и все же на первых порах все просьбы отказаться от чопорных обращений Блуртмель воспринимал со скрытым негодованием, как вероломное посягательство на его неотъемлемые права. В конце концов удалось это уладить, сведя все к шутливой игре. Теперь всякий раз, стоило Блуртмелю произнести «ваша супруга» или «милостивая госпожа» (он в таких случаях смущенно признавался: «опять вырвалось»), он «платил штраф» — сигарету, которую обязан был положить в изящную малахитовую шкатулку, подаренную Тольму одним советским человеком.

Недавно в Тролльшайде, в санатории, куда он ездил навестить Кортшеде и где они, укрывшись от дождя, пили чай на веранде, тот исповедался ему в своих потаенных страстях, сила которых, а особенно зависимость Кортшеде от некоего Петера, зависимость, которую даже сам Кортшеде называл «кабалой», его просто потрясла. Этот Петер числился особо опасным преступником, его стерегли денно и нощно, а тем более во время их с Кортшеде ночных свиданий; он проходил первым номером по делу о шантаже и разбое с убийством, и ночь напролет микрофоны прослушивали каждый

звук, жадно отлавливая «существенные для следствия» детали, а возможно, и полное признание обвиняемого.

— Мне пришлось на это пойти, иначе ему не разрешили бы со мной видеться, и представляешь, хочешь верь, хочешь нет, мальчик меня любит, а я его предаю. Сам посуди, на что я после этого годен; дверь в доме скрипнет — я вздрагиваю, или вот сейчас, извини, ты чашкой о блюдечко задел, а я чуть не заорал.

Это он, Кортшеде, сулил Тольмсховену еще только четыре, от силы пять лет. Кэте он решил ничего не говорить — зачем волновать ее раньше времени, какой смысл? Трудно представить, что ничего, ничего здесь не будет, только экскаваторы, ленты транспортеров, насосы — и провалы карьеров, в которых гуляет ветер, и еще одна электростанция, изрыгающая облака; замок у него откупят, ему щедро заплатят за эту реликвию, этот осколок древности, в стародавние времена пожалованный в награду за победоносную битву некоему Тольму, воевавшему то ли за, то ли против испанцев, вместе с хозяйкой-графиней, которая была то ли против испанцев, то ли за них и которую силой выдали за него замуж. Они снесут и перекопают все, церковь и замок, дом Кельцев и дом Пюцев, и дом Коммерцев тоже, и тихую беседку в саду священника, где летом так приятно было посидеть и выпить вина, пруд и мостик, уток и сов — горемыка сова, ей-то куда податься?

— Все давно решено, Тольм, давно и бесповоротно, задолго до всех дискуссий и гражданских инициатив, которым они позволят шуметь сколько влезет, понимаешь, поезд ушел, он еще не тронулся, но уже ушел, там же миллиарды тонн, и ничто, ничто их не остановит, они до этих тонн дорвутся — поверь мне, до самого Хетциграта и дальше ни кола ни двора не останется, ни одно деревце не устоит, ни одна улитка не убережет свою раковину, ни один крот не отсидится в своей кротовине, они до голландской границы дойдут, а в один прекрасный день и голландцев подроют, если там тоже обнаружится уголь... Это бесполезно, Тольм, говорю тебе, доро-

гой Фриц, совершенно бесполезно, так что, если ты намерен и дальше перестраивать Тольмсховен, воля твоя, деньги тебе, конечно, возместят с лихвой, но труды, хлопоты, нервотрепка — зачем тебе это? Лучше не связывайся. Поверь, чертежи готовы, сметы подбиты, дело на мази.

Бедняга Кортшеде, в тот дождливый день, там, в Тролльшайде, за чашкой чая на веранде, он ведь жить не мог без своего Петера и без уколов. А потом с улыбкой добавил:

— И ты, конечно, знаешь или по крайней мере догадываешься, что «Листок» тоже отпадет — Цуммерлингу и мне, Цуммерлинг загребет его не хуже, чем экскаваторы твой замок. Надо было тебе получше за своим хозяйством смотреть, Фриц, в газетах не только культурную страничку читать, но и в экономический раздел заглядывать. И еще мой тебе совет: никогда ничего не затевай против клана Фишеров, ты же знаешь, у Цуммерлинга есть фотографии, доказывающие их причастность к Сопротивлению, они неопровержимы. Благонамеренный текстиль против либеральной газетенки, нет, добром это не кончится, при твоих-то сомнительных родственничках — Рольф, Вероника, Катарина, — и думать забудь! Поостерегись, Фриц!

После инцидента с Кортшеде в их разговорах об охране и безопасности от былой иронии не осталось и следа; разве что Блямп иной раз позволял себе колкости исподтишка. Их отношение к сотрудникам охраны тоже изменилось, после припадка Кортшеде и речи быть не могло о прежнем дружелюбном подтрунивании, а уж после истории с именинным тортом Плифгера и вовсе стало не до шуток, — вот когда прибавилось работенки у психолога Кирнтера, вот когда Хольцпуке, начальнику службы охраны, пришлось проводить долгие собеседования, вежливо требуя «надлежащего понимания», в конце концов его люди всего лишь исполняют свой долг, да ведь и им, подопечным, наверно, тоже не хочется рисковать жизнью, значит, надо спокойнее относиться к неизбежным, хотя, он согласен, и неприятным процедурам, как-то: предварительный осмотр кабинки при посещении ту-

алета или особо придирчивая проверка приезжающих в замок «посетительниц», и, уж конечно, он в первую очередь просил бы — убедительно просил бы — впредь избегать эскапад вроде тех, что время от времени позволяет себе Кэте. Как будто безопасность — что внешняя, что внутренняя — еще возможна! Он-то знает: все эти профилактические меры хоть и необходимы, но ничего не способны предотвратить.

И все же как приятно, как покойно смотреть в окно, по-верх террасы, туда, где за широким рвом раскинулся парк, и воображать семейное торжество, на которое когда-нибудь снова соберутся все дети и внуки; летний вечер, праздник под открытым небом, бумажные фонарики — раньше дети называли их «китайцами», — скромный домашний фейерверк для внуков, шарики мороженого в вазочках, жаровня, мясо на вертеле, коктейли, да все, что душе угодно; и как горько сознавать, что об этом пока (если б только пока) нечего и думать — какие уж тут семейные сборища, когда в списке «факторов повышенной опасности» значится даже один из его сыновей, а его зять отказывается «сесть за один стол с этим типом, который даже после ноября семьдесят четвертого* имел наглость назвать своего ребенка Хольгером». Еще четыре года, от силы пять... Ничего, пока еще рано страшиться переезда, но он знает, что страх уже поселился в нем и гложет душу: «ни одна улитка не уберезет свою раковину, ни один крот не отсидится в своей кротовине...»

А уж «те» позаботятся, чтобы у него больше не было семейных праздников, и среди «тех» — его бывшая невестка, она

* В ноябре 1974 года в тюрьме после длительной голодовки умер Хольгер Майнс (1941—1974), один из членов террористической организации Баадера — Майнхоф, которая к тому времени считалась ликвидированной. Однако смерть Майнса сразу всколыхнула новую волну террористических акций; первой было похищение и убийство 10 ноября 1974 г. Понтера фон Дренкмана, председателя Верховного суда Западного Берлина; выяснилось, что террористическое подполье отнюдь не сломлено и многие все еще на свободе.

тоже с ними, теперь это уже почти несомненно, и еще некто, кого он на свои деньги обучил банковскому делу и кто в Ай-кельхофе так часто бывал у него в гостях.

По счастью, Блуртмель с течением лет научился угадывать его настроение — похоже, он все еще переживал недоразумение с дверью. Потому и вышел из комнаты, не дожидаясь, пока хозяин попросит ненадолго оставить его одного, и даже подвинул на расстояние вытянутой руки малахитовую шкатулку, хотя Гребницер строго-настрого наказал: ни в коем случае не держать сигареты под рукой! Но он лучше достанет свою смятую пачку, там вроде еще оставалась одна сигарета, да, вот она. Кривая, увечная, почти сломанная, но он ее выправил, разгладил, закурил — смотри-ка, тянется. При ближайшем рассмотрении в пачке обнаружилась еще одна сигарета, сломанная, — он скрепя сердце выбросил пачку; голод курильщика, память о нем засела глубже, чем память о простом голоде, засела так же глубоко, как память об исповедальне и о Герлиндином «помилуем друг друга», так же глубоко, как прелый запах осенней листвы в Дрездене; это память об унижительных «собеседованиях», а по сути — допросах, когда какой-нибудь хлыщ, пуская струи ароматного дыма прямо ему в лицо, одну за одной потягивал превосходные виргинские сигареты и небрежно швырял их куда-то за спину, на пол, почти целехонькие, не докурив и до половины; он помнит, чего стоило тогда отказаться от предложенной сигареты, но он догадывался: сигаретой у него хотят выманить признание в том, чего он никогда не совершал. Он и ведать не ведал, что его крестный, дядюшка Фридрих, которого он и не помнил толком — ну, объявлялся иногда на день рождения, приносил подарки, — что этот дядюшка именно ему завещал «Бевенихский листок» и что никто, никто из его родичей ни разу не приложил руку к пресловутой ариизации*. Да, в январе сорок пятого он участвовал в войсковых передвижениях, а проще говоря, то и дело отступал в районе баварско-чешской гра-

* Национализация имущества еврейских семей при фашизме.

ницы, но не более того, хотя и не менее; да, диплом он защитил по теме «Прирейнская сельская архитектура XIX века» и только здесь, в лагере, узнал, что является законным владельцем «Бевенихского листка». Эти сигареты, груды виргинских сигарет, которые они выбрасывали, можно сказать, едва пригубив, — об этом он мог рассказать только Кэте, больше никому, тем паче Блямпу, хоть именно там, в лагере, они и познакомились. Вот уж кто действительно был нацист (текстиль, они всей семьей по уши увязли в текстиле) и всегда и всюду, во «всех житейских передрягах», как он сам бахвалился, «имел все наилучшее» — в военное и мирное время, в плену и на воле, в хижинах и дворцах «всегда имел только все наилучшее». В лагере он безошибочно учуял самого продажного офицера и посулил тому выгодные сделки, в которых он, Блямп, готов был посредничать. Земельные участки, застроенные и незастроенные, с разрушенными и уцелевшими домовладениями, он точно знал, сколько долларов и кому надо предлагать, благо вся поземельная книга округа Доберах была у него в голове, знал, где окопались самые злостные нацисты, даром что сам из их числа, как и у кого из их домочадцев, а то и у них самих, трусливо прятавшихся по подвалам, откупить за добрые старые доллары их дома и участки в порядке, как он выражался, «деариизации» — через посредников, разумеется; а с долларами те могли благополучно смыться на все четыре стороны, так что Блямп одним выстрелом убивал двух зайцев: нацистам помогал бежать, офицеру — обогащаться, и, понятное дело, вправе был рассчитывать на комиссионные, с обеих сторон и, само собой, в долларах, на которые он тоже мог то тут, то там отхватить участок, само собой, через подставных лиц, кто же в ту пору разрешил бы нацисту такого калибра приобретать участки прямо из лагеря. Ходили темные слухи, будто Блямп в сопровождении небольшой, но дружной команды американцев «чистил» подвалы разбомбленных банков, если верить слухам, они просто подъезжали на бронетранспортере, взламывали сейфы и несгораемые шкафы, гребли все подчистую, «гребли деньги и ценности чуть ли не лопатой», благо вокруг

царили хаос и запустение; вскорости Блямп был уже своим человеком в комендантском бараке, ему разрешали звонить по телефону, отлучаться из лагеря, американцы всюду таскали его с собой, и в бордель тоже, и это в ту пору, когда все, все они, стоило им завидеть женщину, даже издалека, какую ни на есть, готовы были чуть ли не разрыдаться; их, соседей по бараку, он пичкал хвастливыми подсчетами своих эрекций, целыми блоками приносил сигареты и в знак особой милости разрешал иногда понюхать, чем доводил их до исступления; вот так этот «текстильный гений» сделался гением недвижности; глядя на него, совсем нетрудно было представить, как он орудует под сводами банковских подвалов. А вскоре его сделали — как же это тогда называлось? — «окружным текстиль-уполномоченным».

Нет, Блямп слишком хорошо знает его слабость к табаку, он и сейчас, стоит закурить, ухмыляется и многозначительно бормочет себе под нос: «О Виргиния! Ах Виргиния!»; и всюду у Блямпа свои люди, всюду у него есть прикрытые — в верхах и в тылах, по эту, а может статься, и по ту сторону океана, нет, такого с кашей не съешь; конечно, не только Блямп, все они знают о его слабости, но не знают, откуда она, — только Кэте, ей он все рассказал, но даже ей невдомек, что с сигаретами все обстоит точно так же, как с молочным супом: ему не воскресить тот вкус, тот запах, тот виргинский аромат — его не вернешь, сколько ни ищи, сколько ни гонись за ним, а он и курит-то, может быть, только для того, чтобы его вернуть, но, увы, тщетно.

За лесом уже сумерки, в розовом закатном небе сереют кроны старых деревьев, могучих вековых исполинов, к которым скоро полетит сова; эти деревья ему даже дороже, чем замок, он иной раз спрашивает себя: не из-за деревьев ли купил все имение, ведь в Айкельхофе были почти такие же; бесшумно и уверенно пролетела сова, быть может, та самая, что жила у них в Айкельхофе и по вечерам вылетала из башенки, устремляясь к кромке леса, а они с Кэте провожали ее глаза-

ми. В первый раз, когда сова призрачной тенью отделилась от башенки, Кэте испугалась, вцепилась ему в плечо и прошептала: «Уедем отсюда! Уедем!» — за двадцать лет до того, как им и вправду пришлось уезжать. Еще она боится совиных криков, и перед грозой, когда вороны и скворцы, внезапно снявшись со своих гнезд, стремительно улетают куда-то вдаль, она и теперь испуганно вцепляется ему в плечо.

Ничто не омрачает вида за окном, не слышно ни отъезжающих машин, ни ровного гудения лифта, ни сытого хохота Блямпа, способного заглушить даже лифт, этих триумфальных раскатов смеха, с которыми он всем и каждому возвещал, как ему наконец-то удалось добиться избрания «одного из старейших наших членов, одного из лучших в наших рядах», и это в ситуации, когда отвод или самоотвод был совершенно исключен, просто невозможен — наготове было множество штампованных аргументов, которые он сам же был вынужден отбарабанить в своих интервью: «В час наивысшей опасности... Когда каждый из нас выдерживает проверку на прочность... Наша стойкость...» Разумеется, тут самое время выбрать именно его, наиболее уязвимо, самого слабого, к тому же повязанного с «теми» узами родства, именно его и как раз в ту пору, когда любому ясно, что родственные узы только усугубляют его уязвимость, — и все равно ни в частной беседе, ни наедине с собой, ни тем более публично он не отрекся от Рольфа. Это был вопрос, публичного ответа на который более всего страшились его друзья и враги и менее всего — он сам; все видео- и магнитные пленки запечатлели одни и те же стереотипные формулировки:

— Это мой сын, он преступил закон, понес заслуженное наказание и с тех пор живет в согласии с законом.

Его так и подмывало, впадая в библейский пафос, возгласить: «Сей есть сын мой наивозлюбленный, в котором мое благоволение»*. И даже вопрос о Веронике был ему нипочем:

— Это моя бывшая невестка, ее подозревают в тяжких преступлениях, местонахождение ее неизвестно. При разводе,

* Евангелие от Матфея, 3, 17.

еще до преступлений, суд присудил ей моего внука, который исчез вместе с ней. Да, у него наша фамилия, моя и моего сына.

«Заблудшие дети?» — нет, это не те слова, ему иногда кажется, что они пришельцы из иных галактик, обитатели других планет, тут не годятся обычные мерки и обычные слова. «Безумцы?» Опять-таки слишком житейское, слишком земное определение. Да, с Беверло он тоже знаком, тот нередко бывал у него в гостях и казался ему очень милым. «Милым?» Да, «милый» ведь тоже понятие растяжимое, оно мало что говорит о самом человеке, о том, чего от него ждать, на что он способен. Пожалуй, на «мильях» не следовало бы слишком полагаться. В конце концов, преступность ведь не сегодня родилась, да и убийство со времен Авеля тоже не бог весть какая новость.

Рано или поздно они его все равно «достанут». (Кто? Когда? Как?) Нет, страх не возвращался, его окончательно вытеснило любопытство, в глубине которого, впрочем, уже копошился другой, новый страх — изгнание из Тольмсховена. Вполне вероятно, что Блямп просто решил его использовать как подсадную утку — старик, немощный и больной, доходяга, такой только и годится на роль жертвы, такого сам бог велел выкатить под пули — на лестницу, в инвалидном кресле. «Броненосец Потемкин». Не какой-нибудь пошлый буржуй с бычьим загривком — добренький, седовласый, культурный, милый старичок, такого очень бы украсил терновый венец. Но он не хочет никакого венца, он предпочел бы спокойно пить чай и наблюдать за полетом птиц — элегантным и величавым парением крупных пернатых хищников и суетным, торопливым порханием прочих шустрокрылых, из которых ему особенно милы ласточки. И чтобы рядом, где-нибудь в уголке, сидела Кэте — с вязаньем или за роялем, на котором она иногда любит, хоть и не очень-то умеет, тренькать; и трое внучат, из которых сразу двоих зовут Хольгер, одному семь, он где-то далеко, в Ираке или в Ливане, а другому три, этот

в Хубрайхене, в двадцати километрах отсюда, бойкий карапуз, а он даже не знает толком, какая у карапуза фамилия. Ему до сих пор так и не удалось выяснить, живет Рольф с Катариной просто так или все-таки женился. Неловко спрашивать об этом Хольцпуге, начальника охраны, и уж тем более неловко просить его навести справки. Кэте — та могла бы, она могла бы спросить Рольфа или Катарину напрямик, а он не решается, он заранее знает, что услышит в ответ: «Если тебя действительно интересуют эти формальности, если вся эта дребедень тебя хоть сколько-нибудь волнует, — пожалуйста, давай исключительно ради твоего спокойствия считать, что мы женаты (или не женаты). Ненужное зачеркнуть». Вопрос этот мог быть для них существенным лишь по тактическим соображениям и, разумеется, временно, из-за каких-нибудь бумаг, но помимо этих соображений никакого интереса не представлял, не стоил даже упоминания. Пожалуй — да нет, почти наверняка, — они не женаты, ведь тогда Катарине полагается какое-то пособие; но сам по себе «вопрос брака» их не интересовал, для них его просто не было. То есть в техническом и, как следствие, политическом смысле — конечно, но больше ни в каком. К религии и церкви они относились точно так же. Разумеется, они существуют, это не подлежит сомнению, но когда Рольф добавлял: «Как картошка, она ведь тоже растет», в самом сравнении слышался назидательный намек — дескать, картошка имеет природное право на существование, кроме того, от нее польза, человек ею кормится, но религия и церковь — какой от них прок? Они, безусловно, существуют, в этом не приходится сомневаться, но не более того. Тут просто не о чем говорить, не о чем спорить, а что отец Ройклер в Хубрайхене был к ним добр, дал им кров, принял их под свою защиту и покровительство, оградил от нарастающей, хотя и скрытой вражды, предоставил в их распоряжение свой огромный сад за смехотворно низкую «натуральную оплату» яблоками, картошкой и яйцами, так они объясняли его доброту отнюдь не религиозностью и тем паче не церковным саном, а его человеческими качествами, тем, что он — и при-

том именно вопреки религии и церкви — остался или стал человеком, да еще и подчеркивали, что отсутствие доброты в данном случае было бы куда «типичней»; они даже готовы признать, что благодарны ему, вообще считают его «очень милым и человечным», но, в конце концов, встречаются очень милые и человечные капиталисты и даже милые советские коммунисты, милые либералы, и сами они в некотором роде тоже вполне милые люди.

Откуда это в них — для него загадка; ведь все, все они — Рольф и Катарина, Вероника и даже Беверло — лет десять назад были всерьез верующими, почти ревностными прихожанами, и разве что пресловутое «один или с кем-то» не мучило их до такой степени, как его в их годы; яростное негодование против церкви, ненависть к религии, стремление опровергать ее с пеной у рта, оскорблять чувства других верующих, например Кэте и Сабины, в которых эти чувства еще столь живы, да и его собственные, пусть они живы больше в воспоминаниях, — это он еще мог бы понять; но им даже воспоминание не причиняет боли, вот они и стали в его глазах «инопланетянами», пришельцами с другой звезды, из иных галактик. Хотя ведь ему не горек чай, который он у них пьет, и хлеб, что он у них ест, и яблоки, которые они кладут ему в машину; ведь это его дети, а чай, хлеб, суп и яблоки — все такое земное и здешнее. Но его страшит неземная чуждость их мыслей и дел. Не холодом от них веет, а именно чуждостью, от которой можно ждать всего, в том числе и внезапного выстрела, и взрыва гранаты, — но все же и этот страх сменился теперь любопытством: Рольф, его родной сын, который выращивает помидоры, окапывает яблони, держит кур, сажает картошку в Хубрайхене, в роскошном старом саду священника за высокой каменной стеной; а живут в лачуге, иначе не скажешь, хотя лачуга на вид даже веселенькая, они ее покрасили, и герань в окошках; с красным эмалированным бидоном ходят по вечерам за молоком к крестьянину Гермесу, иногда заглядывают в один из двух деревенских кабачков, пьют пиво, и Хольгер с ними — ему берут лимонад, — прямо-таки идил-

лия, сплошная идиллия без малейшего привкуса горечи. Они давно уже не пытаются растолковать крестьянам и рабочим *свою*, да, именно «*свою*» модель социализма, не реагируют на оскорбительные пьяные выкрики, не заводят разговоров о сельскохозяйственной политике, забастовках и дорожном строительстве, не вступают в беседы с заносчивыми болтливыми юнцами-мотоциклистами, улыбаются, потягивают пиво, говорят о погоде; и все же за всем этим — где? в чем? — за всей этой идиллической оболочкой, в которой даже намек нет на искусственность (сияющий свежей побелкой домик, зеленые ставни, красная герань), таится нечто, отчего в пору прийти в ужас: какое-то жуткое спокойствие, уверенность и ожидание — но чего, чего? Катарина по-прежнему без работы, правда, несколько деревенских женщин доверяют ей своих детей, она ходит с ними гулять, в лес и в поле, рассказывает им сказки, а в дождливые дни в доме священника, в зале занимается с ними гимнастикой, учит танцевать и петь, — разумеется, ей за это платят, — и когда он думает о Рольфе и Катарине, об этом их жутковатом спокойствии, на смену страху приходит не только любопытство, но и зависть. Они под надзором, но хоть не под охраной, и ему иной раз кажется, что такая жизнь много лучше, ведь с тех пор, как Вероника начала им звонить, все они — он, Кэте и Сабина — угодили и под охрану, и под надзор. Рольф, тот, похоже, вполне освоился, видно, и вправду что-то смыслит в моторах, если у кого забарахлит трактор или там «хонда», его частенько зовут на подмогу, и машину священника он держит в большом порядке, а миляга священник приглашает их в гости, то на кофе, то на рюмочку, — правда, от разговоров на религиозные темы упорно уклоняется.

Трудно поверить, что оба они — и Рольф и Катарина — еще каких-нибудь двенадцать, даже десять лет назад ходили в церковь, к Кольшрёдеру: милые, симпатичные молодые люди с молитвенником под мышкой, и это в те годы, когда Кольшрёдер куда более гневно, чем сейчас, клеймил упадок нравов. И их ничуть, нисколько не задевает, что теперь сам

Кольшрёдер стал жертвой этого упадка. Они находят абсолютно «логичным», что он спит со своей Гертой, — правда, «логичным» в другом смысле, нежели крестьяне, те все списывают на природу. Их совершенно не возмущает, не оскорбляет их вкус (для них это не вопрос вкуса), что молоденькие девушки, желая чего-то добиться от Кольшрёдера — выпросить церковный зал для танцев, кинофильма, наконец, просто для молодежного диспута, — идут к нему и без всякого стеснения «дают на себя посмотреть», с большей или меньшей откровенностью «показываются», иной раз даже в присутствии Герты. Рольф и Катарина не считают это мерзостью, впрочем, естественным тоже не считают, — просто, на их взгляд, таков уж сам «порядок» и «условия», подчиняющие человека «порядку», а естественного тут, конечно, и в помине нет; они усматривают тут совершенно особую форму угнетения, симптом распада и гнилости, и их почти радует, что симптом проявляется столь неприкрыто. Они и Ройклеру, своему милому священнику, прочат сходную участь, — дескать, он тоже жертва системы, и ему тоже придется тяжело, только он, мол, не станет предаваться буржуазной похоти, а просто сложит с себя сан; по нему и сейчас видно, достаточно взглянуть, как он держится с женщинами и девочками — с какой-то скорбной болью, отрешенно и скованно; конечно, он им нравится, и они бы рады его выручить, подыскать ему хорошенькую девицу или молодую женщину, чтобы он с ней сбежал. Они, кстати, не считают, что Кольшрёдер в своем роде «тоже человек», — напротив, он, по их мнению, в классическом виде воплощает и реализует в себе бесчеловечность системы. Бесчеловечность же проявляется в том, что человека на «законных основаниях» обездоливают, да еще в рамках правовой системы, которая имеет свое, особое правосудие, и все это в демократическом (ха-ха!) государстве: сперва с него берут обет целомудрия, а потом втихаря позволяют держать при себе Герту и сквозь пальцы смотрят на сомнительные забавы с девочками, и эта негласная терпимость во сто крат унижительнее, потому что в любую минуту против него можно использовать обе формы

права — церковное, а при необходимости и мирское, ибо если это правда, что девчонки дают ему «на себя посмотреть», то ничего не стоит подвести эти шалости под статью «принудительное растление», — с учителем-леваком они бы наверняка так и обошлись, пожелай он хоть разок полюбоваться прелестями своей ученицы.

И все же в них сохранилась деликатность милосердия и способность сострадать, которую милосердие дарует: в присутствии Сабины или Кэте они никогда не говорили о Кольшрёдере, не говорили о Ройклере, с которым и правда были ужасно милы — Рольф присматривал за его машиной, ремонтировал ему дом, не дом, а прямо хоромы, двенадцать комнат, из которых восемь пустуют, они усматривали в этом «беззащитный подкуп квартирными ценами». Совестьному человеку — а Ройклер, в отличие от Кольшрёдера, человек совестливый — тут есть от чего сойти с ума: иметь под боком восемь пустующих комнат, зная, пусть хотя бы приблизительно, во что людям обходится плата за жилье, восемь свободных, полностью обставленных комнат, в том числе епископская, где за последние шестнадцать лет его преосвященство соизволило однажды даже не переночевать, а всего лишь переодеться, эти восемь комнат, которые Ройклер не имел права сдать, куда он не имел права никого впустить даже задаром, — на языке Рольфа и Катарины это был самый настоящий «шантаж посредством ритуальных традиций, выродившихся в бездумное расточительство». Ройклер охотно уступил бы им часть своего дома, но не имел права, он мог отдать им только сторожку в саду, две комнатки с верандой и кухней, примерно в пять раз меньше той площади, что пустовала у него в доме. «Нигилизм, — говорил Рольф, — какой ни одному нигилисту и не снился».

Как бы там ни было, они с Ройклером прекрасно ладили, держались с ним дружелюбно, хотя и на свой жутковато-спокойный лад, подчеркнуто ровно, на удивление благоразумно, а подчас и с неожиданной сердечностью. И все же, наверно,

все это лишь маскировка. Наверно, они решили годика три-четыре отсидеться в Хубрайхене, пожить в своем побеленном домике с зелеными ставнями и геранью в окошках, добиться доверия и уважения окружающих. Местные уже советовались с Рольфом насчет огорода, с Катариной — насчет детей (прилежание, основательность, упорство — этого им не занимать!), и все же в один прекрасный день, поднакопив этого незримого, этого жутковатого спокойствия, они ударят из засады, — нет, отречься он от них никогда не отречется, но ручаться за них он тоже не стал бы.

А вдруг кто-то из них — Рольф или Катарина — и есть тот самый «кто?» Возможно ли? А почему бы и нет? Пожалуй, скорее уж Рольф, чем Катарина, в Катарине все-таки есть то душевное тепло, то самое, которое он, но только про себя (вслух он никогда бы такого не произнес, даже сквозь двурядность мыслей), называл «коммунистическим теплом», оно напоминало ему о коммунистах времен его детства, времен его юности — о Хельге Циммерляйн, например, его сокурснице, которая умерла в заключении, или о старике Лёре, единственном в их деревне, кто голосовал за Тельмана*, — дети к нему так и липли, за что его и прозвали Крысоловом**, — оно есть, это коммунистическое тепло, недаром его еще в студенческие годы так тянуло в красные кабачки.

Нет, скорее уж Рольф, чем Катарина, — у Рольфа в глазах какая-то непостижимая даль, подернутая странной дымкой скорби, плотной завесой, загадочной и почти непроницаемой, особенно когда он играет с сынишкой, с Хольгером, усаживает его на колени или, высыпав из мешочка кубики на пол, принимается строить с ним дом, — в такие минуты он подолгу держит сына на руках и в его взгляде застывает холодная нежность и чужая, нездешняя грусть. Есть что-то жуткое

* Эрст Тельман (1886—1944) — деятель германского и международного коммунистического движения, выдвигался кандидатом от КПГ в президенты на выборах в 1925 и 1932 гг.

** Персонаж немецкой народной легенды; в отместку чудесной игрой на дудочке крысолов заманил в воды реки Везер сначала крыс, потом всех детей города Гамельна.

в этом омуте, подернутом лёдком нежности и скорби, — такими же глазами он смотрит на Катарину, когда мельком трогает ее за плечо или касается ее руки, давая ей прикурить, принимая у нее чашку, — как же далеки эти мимолетные ласки от вороватой блудливости аналогичных жестов Кольшрёдера! В них говорит немота отчаяния, немота обреченной и давней решимости — только вот на что?

Конечно, то была роковая ошибка судьбы — отпускать его учиться банковскому делу вместе с Беверло, но ведь он так об этом просил. А потом — он ведь даже устроился на работу в один из филиалов Блямпа, был тих и прилежен, пока не начал швыряться камнями, переворачивать и поджигать машины, за коим занятием и познакомился с Вероникой. Он никогда не говорит о своем старшем сыне, не упоминает о Веронике и Беверло, но по сей день от корки до корки прочитывает все биржевые и экономические разделы в газетах и завел странную, неприятную манеру за чашкой чая или кофе, за стаканом молока ни с того ни с сего сухим и отрешенным шепотом изрекать:

— В сегодняшней газете я между строк обнаружил сотню покойников. Впрочем, возможно, только девяносто девять, но не исключено, что и сто двадцать.

Это звучало холодно, точно, информативно — словно штабная сводка из района боевых действий. Рольф тоже так и не сумел растолковать ему «экономические процессы», как любил выражаться Кортшеде, — даже те экономические процессы, что разыгрывались в «Листке» и вокруг «Листка», он никогда в них толком не разбирался, отгораживался от них. А почему, он и сам до сих пор гадает — то ли от лени, то ли из безразличия? Амплангеры, сперва старший, потом младший, отбили у него всякий интерес к этому делу, они ему заявляли: «Вы уж предоставьте это нам».

Блуртмель, к счастью, человек с юмором, что он неоднократно доказывал точными и остроумными репликами, когда вел машину, накрывал на стол, во время массажа, купанья или одеванья, — это юмор опытного массажиста, который

досконально изучил чувствительность своего пациента, знает, какие границы переступать не следует и как, не причиняя боли, затронуть самый больной нерв. Он мог, например, как бы невзначай обронить:

— Все-таки позволю себе заметить, что господина генерального директора Блямпа жизнь никогда не была, как вас, и не будет бить.

Блуртмель обнаруживал едва различимые отметины времен детства и юности, военных и послевоенных лет, времен плена, нащупывая следы забытых болезней кишечника и желудка, следы малярии и тифа, шрамы и пустяковые царапины, и приговаривал:

— Все это глубоко сидит, не просто под кожей, а куда глубже. Нет, господин доктор, толстокожим вас никак не назовешь.

Это, конечно, опять-таки был камушек в огород Блямпа. Блуртмель говорил даже о «грузе ответственности», который они «сами тащить не хотят, вот на вас и взвалили», и, похоже, намекал, что именно тут первопричина свинцовой тяжести в его ногах, — отвращение к «Листку», смертная скука, что охватывает его в те редкие часы, когда он сидит за своим огромным письменным столом, давно уже ничего, ничегошеньки не решая; он обронил «Листок», выпустил из рук, а другие подобрали, он лишь номинально числится хозяином, а управляет делами старший Амплангер по указке Блямпа. Он только муляж, имитация самого себя и незаменим в этом качестве; клюнул на верняк, на легкие барыши, на куш пожирнее, — все-таки у Блуртмеля удивительные руки, от них проясняется в голове, не то что от расспросов Гребницера, тот иногда беседует с ним часами, но так ни разу и не нащупал корней недуга; дело ведь не в органических изменениях, в конце концов, и инфаркта у него не было, и кровь превосходная — откуда же этот свинцовый холод в костях? Временами, сидя за своим письменным столом — воплощение бессилия в «цитадели власти», в самом «сердце капитализма», — он не на шутку боится, что его и правда разобьет паралич, богатство его будет

неотвратимо пухнуть и расти, а сам он, озабоченный лишь тем, как бы не извести лишнюю сигарету, впадет в абсолютную неподвижность.

И вот новый пост, на котором от него тем более не ждут самостоятельных решений, даже если предположить, что он на такие способен. Они — не только Блямп, но и Поттзикер, и Климм, а особенно Амплангер — вполне ясно дали понять: он хорошо сыграл свою роль. Блямп неспроста, конечно, упомянул о культурном разделе в газетах — это недвусмысленный и ехидный намек на статьи, которые он, Тольм, от случая к случаю печатает в «Листке»: Босх, Дали и тому подобное. В его лице объединение наконец-то получило «культурного» президента, то есть нечто сугубо для дам.

Блуртмель постучал, услышал слабое «да-да», вошел и сообщил:

— Ванна готова.

Он явно сконфужен и, конечно же, никогда больше не откроет дверь столь неловко, не выставит хозяина обесилевшим стариком, который валится с ног на пороге, — никогда. Он смущен этой своей промашкой, первой за семь лет, но, вероятно, Хольцпуке лично взял его в оборот, отдавал ему приказы по переговорному устройству: «Доктор Тольм, наш президент, очень устал, он из последних сил взбирается по лестнице, теперь он на площадке, берется за ручку — пора!» — вот он едва и не очутился у Блуртмеля в объятиях. С такой же скрупулезностью и покушения готовят: загадочный «КТО?» сразу принял новое обличие, материализовался в вопросе: а если это Блуртмель? Почему бы и нет? Он улыбнулся Блуртмелю и медленно встал. Разумеется, о Блуртмеле все известно: анкета и биография, вкусы и привычки, известно, кто его подруга, анкета и биография этой подруги, ее привычки и вкусы — но мыслей-то его не знает никто. Кому дано оценить и предугадать, на что способен этот деликатный, чувствительный и потому, вероятно, душевно неустойчивый человек? Уж он-то наверняка достаточно сведущ

в анатомии, чтобы придушить старика в ванной и не оставить никаких улик, инсценировав заурядную смерть вследствие очевидного одряхления. Инцидент с дверью его насторожил, прежде Блуртмель никогда не посягал на его самостоятельность в некоторых вещах, позволяя ему собственноручно открывать дверь, закуривать, производить необходимые гигиенические манипуляции в уборной. Ведь вот и Кортшеде он больше двадцати лет знает — утонченного и изящного Кортшеде, который с тихим величием правит своей империей (сталь и бумага, банки и недвижимость) и который, оказывается, разрешил прослушивать шепот своего любимого Петера.

— Да, сейчас иду, — сказал он, улыбнулся и подумал: «Нет, еще не сегодня, сегодня уж точно нет».

II

Она все-таки отправила Блюм вместе с Кит за молоком, хоть молоко ей сегодня не нужно и с собой она его тоже не возьмет; Кит настаивала на этом ритуале, непременно сама хотела нести бидон, по крайней мере в один конец, пока бидон пустой, и полдороги обратно. Все-таки два литра для нее еще тяжеловато. Она обожает смотреть на корову, ей нравится теплый дух стойла, а для Блюм эти походы за молоком — желанный предлог «перемолвиться словечком» с Беерецами, они примерно ровесники, всем около шестидесяти, к тому же состоят в каком-то дальнем родстве, и у них всегда найдется что обсудить из прошлого, настоящего и будущего: каким, например, будет Блорр через десять, а то и двадцать лет, ежели строительство вилл и дорог и дальше пойдет нынешними темпами. Или в который раз погадать, кто же из тридцати четырех избирателей деревни сподобился голосовать за СДПГ*, целых семь голосов, и тут, как ни раскинь, все равно подозрение падало только на новеньких, тех, что арендовали и отремонтировали бывший дом священника, — люди они,

* Социал-демократическая партия Германии.

конечно, симпатичные, но их не поймешь, на вид очень даже либеральные, но голосуют наверняка не за либералов, Блёмеры — он архитектор, она адвокатша, дети уже взрослые, четыре машины, а еще брат адвокатши, вечно с трубкой, этот, судя по всему, вообще ничего не делает, только по дому и в саду, — вместе с совершеннолетними детьми как раз семеро и выходит. Главное, у них всегда найдется что обсудить, да и дорога в оба конца займет полчаса, а то, глядишь, и больше — ей надо побыть одной до прихода мамы, до прихода ее славной Кэте, надо мысленно попрощаться с Блорром, и тут она поймала себя на том, что думает о молоке: будет ли Эрвин его пить, поставит ли ему Блюм его любимую сладкую простоквашу, куда вообще девать эти последние два литра из многих и многих литров молока, что они брали у Беерецев, по два литра целых пять лет ежедневно, это ведь тонны получаются. Но ей не до вычислений, слишком она взвинченна, опять этот страх, на сей раз снизу вверх, словно горячая волна, возникшая где-то в пятках, вздымается по ногам, захлестывает живот, тяжелым душным угаром теснит грудь, пока не доберется до головы; а иногда, наоборот, волна идет сверху вниз, сперва ударяет в голову и потом медленно сползает к ногам, — а Гребницер, которому отец по-прежнему верит безоговорочно, только одно и твердит: это от беременности. Конечно, от беременности бывают всякие страхи, но у нее, она чувствует, это вовсе не от беременности, нет, это совсем другой страх, не тот, привычный, ставший повседневным страх, что они похитят Кит, а может, и ее, или попросту прикончат ее, Эрвина, а то и всех их вместе (она представила, как кто-то перечеркивает ее фотографию и пишет под ней: «отработано»), не тот непостижимый, безотчетный, хотя и вполне отчетливый страх, а совсем другой — осязаемый, близкий, определенный, а она никому не может о нем поведать. Сразу на два страха, да еще такой силы, ее просто не хватает, потому, наверно, прежний безотчетный страх вытесняется другим, новым, осязаемым. И так уже три месяца, с тех пор как она окончательно убедилась, что беременна, и не от Эрвина, который до того четыре месяца

ни разу к ней не приблизился, во всяком случае так, чтобы от этого можно было забеременеть.

Иногда она даже подумывала о самоубийстве: выпить какую-нибудь дрянь — и дело с концом. Удерживало ее не столько твердое, с детства укоренившееся сознание, что это тяжкий грех, а скорее мысли о Кит, о Хуберте, о родителях и братьях, даже о Катарине и племянниках, — и только в последнюю очередь, в наименьшей мере, это она прекрасно понимала, ее удерживала мысль об Эрвине Фишере, ее муже. Уйти от него ей совсем нетрудно, и вот она решилась уйти, ни с кем не посоветовавшись — просто отослала Блюм и Кит за молоком, как будто все по-старому. Но по-старому ничего, ничего больше не будет. На сей раз их отправился сопровождать Кюблер, он тоже, как и все прежние охранники, как и Хуберт, вежливо отклонит неизменное предложение зайти в дом и пропустить рюмочку, останется во дворе, сосредоточенный, неприступно корректный, не выпуская из вида калитку и ворота; а ее тем временем столь же бдительно охраняет Ронер, этот не выпускает из виду уязвимые точки коттеджа — террасу, на которой она сейчас стоит и смотрит на деревню, и заднюю дверь, что ведет в сад. Больше всего все они не любят сумерки, из-за этого сейчас, поздней осенью, походы за молоком пришлось перенести на пораньше, но все равно, сколько бы она ни надеялась, что Блюм, как обычно, заболтается, до наступления сумерек здесь оставаться нельзя, иначе опять будут неприятности с Хольцпуке — тот не то чтобы злится, но не может сдержать недовольства, когда они не соблюдают его советов и указаний, он снова и снова твердит — и с полным правом, она знает по Хуберту, — что у его людей нервы на пределе, что их привлекут к ответственности, если... Ведь, в конце концов, вся эта история с именованным тортом Плифгера совсем не шуточки, отцу и так уже снятся летающие тарелки, которые будто бы пикируют на них с Кэте, а недавно, после того случая с уткой, он уже и птиц стал бояться, да вон и старик Кортшедде от щелчка зажигалки чуть с ума не сошел. И еще эта пачка сигарет у Плутатти — жуть.

Она за Хуберта боится, не за себя; она-то уж как-нибудь разделается с Эрвином и всей кликой, переживет скандал и вой своры Цуммерлинга; она рада ребенку, который так весело бузит у нее в животе, но она боится за его отца, за Хуберта, за того, с кем уже полтора месяца не может даже словом перемолвиться; с тех пор, как он стал охранять отца и Кэте, ей удавалось лишь несколько раз мельком увидеть его силуэт, скорее даже почти тень на верхней лестничной площадке замка, но ни поговорить с ним, ни позвонить, ни написать ему она не смеет — из-за Вероники она не только под охраной, но и под надзором, хорошо еще, ни отец, ни Рольф, ни Кэте не проболтались, что она и с этим Беверло когда-то дружила, ведь он же был любимчиком отца и другом Рольфа, чьей женой была тогда Вероника.

Она и за Хельгу боится, жену Хуберта, хоть совсем ее не знает, знает только, что блондинка, очень добрая и что зовут ее Хельгой; а еще знает, что у них есть сын, милый мальчуган, зовут его Бернхардом, и скоро ему к первому причастию идти; она знает адрес, но поехать туда, конечно же, нельзя, Кюблер и Ронер, новые охранники, глаз с нее не спускают, ведь не может же она под охраной Кюблера или Ронера заявиться к Хуберту, встать перед домом и ждать, пока не выйдет Хельга с Бернхардом. Развод — нет, для Хуберта это исключено, а Эрвин, тот все еще так и пьжится от гордости, думая, что она на третьем месяце, когда на самом деле пошел уже шестой.

Четыре месяца его не было — Сингапур, Панама, Джакарта, Гонконг, трудные переговоры в интересах «Пчелиного улья», его благословенной фирмы, налаживал производственные связи филиалов, выискивал подрядчиков, руководил монтажом оборудования, вербовал нужных людей, с успехом завершил все эти важные мероприятия и сияющий вернулся домой. Надо и с Эрвином поговорить, пока он случайно не встретится с Гребницером и тот не поздравит его «с пополнением», которое состоится через четыре месяца и которого Эрвин ожидает только через шесть, — здорового малыша, от здоровой матери и здорового отца. «А приступы дурноты у ва-

шей супруги пусть вас не беспокоят, это нормально, это в порядке вещей». Эрвин успел уже великодушно заявить: «Даже если снова будет девочка — все равно устроим праздник!» Разумеется, он пригласит прессу, в первую очередь позаботится о журналах: «Пополнение в «Пчелином улье», пополнение в избушке Фишеров», — «избушкой» они называют их роскошную виллу. «Новая радость у нашей многообещающей наездницы Сабины Фишер из рода Тольм, одной из самых охраняемых женщин страны!» Теперь все это пойдет насмарку, ни шампанского, ни фейерверка в саду; где-то в укромном месте — только где? где? — она разрешится от бремени сыном или дочерью полицейского. Где? Наверняка не здесь, в Блорре, наверно, и не в Тольмсховене, тогда, может, у Рольфа, если там найдется для нее комнатка? С Катариной вполне можно об этом поговорить, да и с Рольфом, пожалуй, тоже, но сперва надо все сказать Хуберту, нельзя посвящать в это других, не сказав ему, нельзя ничего решать без него, без Хельги и Бернхарда, обязательно надо поговорить с Хубертом, пока эти не пронюхали и не начали распускать слухи, — тут ведь еще одно, и для Хуберта это так же серьезно, как и для Хольцпуке: «злоупотребление служебным долгом».

Если бы Хуберт был не так серьезен: но он ей нравится какой есть, нравится до смерти, она просто сохнет по нему и не убоилась бы никакого скандала, хоть сейчас подошла бы к нему и при всех повисла у него на шее, если бы не Хельга и Бернхард; нет, только не это, она не хочет причинять боль женщине, которую совсем не знает, которая ничего ей не сделала и наверняка не сделает, — вот бы просто поехать к ней, поговорить, но через голову Хуберта она не может, не имеет права.

Хорошо, что сейчас придет мама, ее дорогая Кэте, придет и заберет ее к себе, в Тольмсховен; там он будет с ней рядом, и уж там-то она улучит возможность с ним поговорить.

Еще задолго до того, как Эрвин уехал «доводить до ума» свои «производственные циклы», или как они там еще называются, все, что было между ними, не доставляло ей особой

радости. Всякий раз он с пугливой предусмотрительностью, а то и раздраженно спрашивал: «А ты приняла?» — хоть и знал, что она боится этих пилюль, да и вера не позволяет, но она глотала, и только после ее утвердительного кивка он подступал к ней с ласками; а у нее все чаще пропадало настроение, возникало не то чтобы отвращение или ненависть, но что-то другое, отчего настроение никак не возвращалось, — наверно, жалость к этому мужчине, который, казалось, излучает спортивность, слывет превосходным наездником, танцором, теннисистом, даже яхтсменом, а недавно увлекся еще и полетами на воздушных шарах и водными лыжами и который никак не может... (даже в мыслях ей не удастся произнести некоторые вульгарные словечки, которыми кишат иные страницы иллюстрированных журналов и описания неживых, сплошь подстроенных порноцен в бульварных книжонках, словечки, которые ей приходилось слышать и на «непринужденных» светских приемах, и от своей бывшей соседки Эрны Бройер), жалость к этому мужчине, которому так трудно добраться до своего счастья, иной раз у него совсем ничего не выходит, и он тогда во всем винит ее. С тех пор она не очень-то верит полушутливым признаниям, которые он нашептывал ей, вернувшись из очередного вояжа, из Лондона или Бангкока: «Небось сама догадываешься, на что способен одинокий мужчина, которого занесло в такую даль от его сладкой женушки...» Не очень-то ей верится, но слушать все равно противно, не важно, правда или нет, а от «сладкой женушки» ее просто тошнит, и она порой спрашивала себя, а знает ли он, на что может быть способна одинокая женщина, хотя вовсе не думала о чем-то таком, что ее соседка, Эрна Бройер, без обиняков припечатывает матерным словом. С недавних пор слово это перестало считаться запретным и на светских раутах, где иные дамы из самых, так сказать, респектабельных кругов обожали поразглагольствовать о своих «титках», а любовников называли не иначе как своими «кадрами». С этими «кадрами» они охотно ездили поразвлечься в азиатские страны, в «теплые края», где процветают совсем иные, нежели в Европе, любов-

ные нравы. Нет, она не станет клясть свое воспитание, ругать строгих монахинь, но что-то в ней треснуло и надломилось в тот день, когда она попыталась облегчить душу у Кольшрёдера. Он до того настойчиво интересовался подробностями, что у нее возникло мрачное подозрение, это было ужасно, мерзко, он хотел знать буквально обо всем, даже о том, что у нее было с Хубертом и как было! Но тут она просто вскочила и убежала, никогда, никогда больше никакой исповеди! Никогда, лучше уж поболтать с Эрной Бройер или у Фишеров, у родителей Эрвина, там частенько бывают в гостях такие веселые, элегантные, фривольные святые отцы, они бы только рассмеялись, признайся она на исповеди: «Я совершила прелюбодеяние». То были совсем другие святые отцы, в любую минуту готовые на своеобразный стриптиз церковника, они кичились безнаказанностью своих «устойчивых» любовных связей, иногда даже являлись в сопровождении партнерш. Куда ни глянь, всюду распад и тлен, а еще страх — не за собственную жизнь и не страх скандала, страх за Хельгу и Хуберта, для которого все это так же серьезно, как для нее, и не может быть по-другому, дай бог, чтобы ему больше повезло с исповедником...

А еще страх потерять добрых соседей, страх перед растущей неприязнью жителей Блорра, который из-за нее превратился в «притон легавых». После истории с именинным тортом Плифгера контроль еще больше ужесточили. Тут-то и раскрылся роман соседки Эрны Бройер с шофером ее мужа; такая милая, такая добрая, привлекательная женщина, не очень уже молодая, ближе к сорока, с ней так славно было поболтать у забора о цветах, о хозяйстве, обменяться кулинарными рецептами, получить в подарок пучок салата или головку цветной капусты, пригласить на чашечку кофе, а раньше, до того, как контроль ужесточили, она иногда за Кит приглядывала, простая, совершенно нормальная женщина, которая так переживала, что у нее нет детей, несколько театрально сетовала на свое «бесплодное лоно», уточняя при этом, что «муж тут ни при чем, у него дети от первого брака, это все я»; она очень милая, эта Эрна Бройер, родом из Хубрайхена,

дочь того самого крестьянина Гермеса, у которого Рольф берет молоко, темноволосая, чуть располневшая красotka, она еще жаловалась, что «мой никогда не ходит со мной на танцы», они ее несколько раз приглашали, когда устраивали вечеринки с танцами в саду, на площадке у бассейна, с лампонами, шампанским, пуншем и прочими забавами, и Эрвин очень даже лихо с этой Эрной отплясывал, разгоряченная, чуть запыхавшаяся Эрна Бройер была наверху блаженства, и ее муж, он постарше, пожалуй за пятьдесят, тоже был наверху блаженства, просто сиял от удовольствия, что его Эрна наконец-то «как следует поразмялась». Очень милый получился вечер, они и других соседей позвали, Клобера, владельца автотранспортной фирмы, с женой и семнадцатилетней дочкой, ярой поборницей пляжной моды «сверху без», что она доказывала не только в теории, но и на практике; Хельмсфельда, редактора из «Листка», который глубокомысленно, судя по реакции остальных гостей, пожалуй, слишком глубокомысленно, рассуждал о терроризме. Даже Блюмы пришли, и Беерецы прислали своего старшего сына, который много с ней танцевал. Эрна Бройер была совершенно счастлива в тот вечер, а ее муж с великодушной улыбкой старался не замечать поцелуев, которые она под шумок дарила Хельмсфельду, — позже, когда другие гости ушли, тот, оставшись на кофе, вовсю, хотя, на ее взгляд, совершенно напрасно напуская на себя иронию, восторгался «вульгарным эротическим шармом этой Бройер».

Но потом Цурмаку и Люлеру показалось подозрительным, что перед домом Бройеров слишком уж часто и в основном по утрам, между десятью и двенадцатью, останавливается серый «мерседес», оттуда вылезает молодой, по-юношески долговязый мужчина лет под тридцать, одетый не совсем так, как можно было бы ожидать от обычного посетителя дома Бройеров, слишком уж непритязательно, даже не в джинсах, а в дешевых вельветовых штанах, и длинноволосый сверх той меры, которая тогда в модных журналах и даже в полиции считалась «нормальной» и допустимой; не то чтобы он был совсем нечесаный, этот парень, нет — просто степень его патлатости пре-

вышла общепринятую, к тому же, как выразился Цурмак, во всем его облике, в манере ходить враскачку, в движениях рук и плеч была какая-то «подозрительная разболтанность», какую ему, Цурмаку, прежде доводилось видеть только в фильмах о молодежных демонстрациях и беспорядках, им такие фильмы специально показывают, чтобы они учились распознавать «этих типов». Так вот, он не выглядел шалопаем из дискотеки, это трудно описать точнее, но была в его движениях не только юношеская вихлявость, но и какая-то угловатость, — словом, Цурмак усмотрел в его облике «что-то политическое». Визиты наносились не реже двух раз в неделю, и хотя по номеру серого «мерседеса» легко удалось установить, что это одна из машин Бройера, а молодой человек за рулем — его шофер, который часто ездит по всевозможным поручениям хозяина в банк, к клиентам, в учреждения и фирмы (Бройер был владельцем часового и ювелирного магазинов, как позже выяснилось, на грани банкротства, слишком уж широко он размахнулся, а часы и побрякушки себя не окупали, в этом деле в ту пору как раз наступил кризис), — разумеется, о парне деликатно, с предельной деликатностью навели справки: его звали Петер Шублер, бывший студент, изучал социологию, не доучился, участвовал в демонстрациях и даже швырял в полицейских помидорами, что документально зафиксировано на фотопленке. А поскольку дом Бройеров стоит, можно сказать, вплотную к «избушке» Фишеров — женщины иной раз по утрам махали друг другу из своих кухонь, а с террасы Бройеров можно было беспрепятственно и бесцеремонно разглядывать плавательный бассейн в саду Фишеров, — следовательно... Одного этого было достаточно, чтобы задуматься, не выполняет ли этот Шублер роль разведчика, — короче, когда в следующий раз серый «мерседес» остановился у калитки Бройеров, Цурмак выждал минут пять и направился вслед за посетителем, позвонил, подождал для порядка, снова позвонил и еще подождал; ну, а потом началась самая настоящая свара, потому что на третий звонок дверь наконец отворили, на пороге возник Шублер, мягко выражаясь, не вполне

«корректно» одетый, за ним вышла Эрна Бройер в халатике и закатила сцену, — в общем, это была как раз одна из тех ситуаций, которые в старину называли «двусмысленными» или «щекотливыми». Этот человек, без стеснения заявила Эрна Бройер, ее любовник, и законом это пока что не запрещено. Она категорически требует, чтобы ее муж ничего не узнал. Но любовник — это ведь тоже может оказаться только прикрытием. Эти типы на все способны, а «поработать» в интересах дела любовником у такой красотищи — подобным «заданием» вряд ли кто побрезгует.

Все, конечно, открылось, и тут Бройер уже не стал умиляться, на его взгляд это было слишком, он разошелся с Эрной; все кончилось зауряднейшим омерзительным скандалом со всеми вытекающими отсюда последствиями и лютой ненавистью к «этим Фищерам», ибо, «живи мы в другом месте, а не в этой дыре, где кишмя кишат легавые, никто бы ничего не узнал». Остальные соседи тоже стали нервничать из-за всей этой «вечной полицейской возни». Да и кому понравится, когда кругом на каждом шагу торчат полицейские с рациями и камерами. Блорр, эта крохотная деревенька, где всего-то и есть что двенадцать домов, четыре коттеджа, заброшенная часовня и ветхий дом священника, и так весь как на ладони, тут все друг друга знают и ни от кого не укроешься, а у кого, «у кого, — вопрошал Хельмсфельд, — нет своих маленьких тайн или, на худой конец, просто знакомых, чьи движения и манера держаться могут показаться предосудительными в политическом смысле»? У него, к примеру, есть подруга, Эрика Пёлер, ей около тридцати, так ее уже несколько раз подвергали не то чтобы допросу, но весьма обстоятельным собеседованиям, и все из-за того, что она слишком часто приезжает в Блорр и к тому же на машине дешевой марки, которая почему-то считается «студенческой», — а эта Эрика, хоть она левых убеждений и социолог, ни теоретически, ни, упаси боже, практически не склонна к насилию, в каких бы формах оно ни проявлялось.

И Клобер, владелец автотранспортной фирмы, после скандала с Эрной Бройер тоже занервничал. Ведь и к нему нере-

дко приезжают гости в солидных машинах, и тоже все больше по утрам, между десятью и двенадцатью, деловые партнеры, клиенты, и, как позже объяснил ей Хуберт, «он, вероятно, замешан во всяких темных делишках, может, контрабанда или уклонение от налогов, если не что похлеще, так что доскональная проверка его посетителей и их занятий ему вовсе не по душе, вот он и занервничал».

В конце концов, от них до Клоберов всего четыре гаражные крыши, из окна их ванной комнаты можно беспрепятственно наблюдать, как теперь уже восемнадцатилетняя Фридель Клобер, сидя на веранде, на практике доказывает свое пристрастие к моде «сверху без». Однажды она застучала за этим занятием Эрвина — из ванной он изучал девушку в бинокль и даже не подумал оторваться от окуляров, когда она вошла, только сосредоточенно пробормотал: «Черт, ишь, выставляется, но она может себе это позволить».

Нет, прежнего дружелюбия в отношениях с соседями уже не было, Хельмсфельд ныл, у Бройеров в семье полный развал, а Клоберы неприкрыто выказывали ледяную холодность. Да и крестьяне — разве не стали они здороваться как-то прохладно, даже отчужденно? Разве не ощущала она эту прохладцу, чтобы не сказать неприязнь, идя вместе с Кит за молоком, и не потому ли в последнее время все чаще отправляет в эти походы Блюм? Одни Блёмеры, казалось, ничего не замечают или вида не подают, они заканчивают ремонт и грозятся по этому случаю закатить пир на весь мир. Прежнего покоя, прежней идиллии в Блорре как не бывало, но, быть может, когда она уедет, все образуется, а она будет изредка навещаться в гости — к Хельмсфельду на чай, к Блюмам и Беерцам на кофе — и снова увидит Блорр, каким он был когда-то, и давно пора выбросить из головы мысли о самоубийстве, ведь у нее есть Кит и будет еще ребенок, у нее есть Хуберт, вот только бы укрыться — но где? где? — от вездесущего надзора. Уехать куда-нибудь, где тебя никто не знает и не опознает,

наверно, за границу, на море, вместе с Кит и новорожденным, у нее будут алименты от Эрвина, отец тоже будет помогать, да и сама она сумеет подзаработать переводами или вязаньем, а может, и тем и другим. Вон как все хвалят ее французский, а вязать — уж что-что, а это она умеет, лучшей учительницы, чем мама, чем Кэте, не сыскать. Да, она уедет, будет вязать, будет переводить — переводы отец обеспечит, — только прочь, прочь из Блорра, прочь из Германии.

В проеме между домом и гаражом возник Ронер и тихо, очень вежливо попросил ее уйти с террасы, зайти в дом и закрыть за собой дверь. Она кивнула, зашла, закрыла: значит, смеркается. При мысли, что уже сегодня, очень скоро придется покинуть Блорр, ей вдруг стало больно, слезы сами покатались по щекам, она задернула шторы. Она полюбила эту деревушку и этот дом, хоть на ее вкус он, пожалуй, чересчур модный, слишком все открыто и многовато стекла, полюбила здешние деревья, старые дубы, буки и каштаны, прогулки с дочкой, походы за молоком, запах домашнего хлеба, крестьянские дворы — все то, что отчасти заменило ей родной Айкельхоф. Полюбила утренние прогулки верхом: возьмешь у Хермансов лошадь, оседлаешь и — айда по полям и лесам.

Эрвин, конечно, настоял на том, чтобы известить о ее беременности прессу, ведь ей пришлось на время отказаться от верховой езды и до начала первенства она точно не сможет возобновить тренировки. Да и как ездить — ей ведь нужна охрана, кто-то должен ехать рядом, значит, надо искать полицейского, который умеет держаться в седле. Нет, от таких прогулок все равно никакой радости. Раньше она еще могла позволить себе кое-какие развлечения — взять и отправиться вечером на концерт, особенно когда у них выступал этот молодой русский, который так прекрасно играл Бетховена, или на выставку, помнится, ей нравились репродукции одного молодого художника, а он тогда как раз выставлялся. Но с тех пор, как все надо заранее «согласовывать» и, стало быть,

испрашивать для себя конвой, у нее пропала всякая охота развлекаться.

Что скажут крестьяне, если обнаружится, что она ждет ребенка вовсе не от Эрвина, а от полицейского, от самого молодого и строгого полицейского из предыдущей команды, как раз от того, которого все они слегка недолюбливали. Всегда серьезный, сосредоточенный, крестьянин Херманс так про него и сказал: «Больно уж вьедливый», а все из-за того, что Хуберт отчитал его сына за какие-то ржавые железяки, хотя, казалось бы, какое дело службе безопасности до ребячьих проказ. Мальчишка рыскал по всей округе, излазил весь лес, кусты и овраги в поисках оружия и боеприпасов, оставшихся со времен войны, и, конечно, Хуберт прав, это совсем не игрушки, сколько людей в здешних лесах — и взрослые крестьяне, и детишки — подорвались на старых гранатах, кого ранило, а кого в клочья разнесло, она пылко — может, чересчур пылко? — заступалась за Хуберта, доказывая его правоту. Да, Хуберт очень серьезен, как и она, он просто не умеет быть легкомысленным в таких вещах. И Блорр ей уже не в радость: гулять — под конвоем, за молоком — под конвоем, в часовню, куда она так любила приносить цветы к образу Богородицы, — под конвоем, помолиться Деве Марии — под конвоем, поболтать с крестьянами о Боге и о жизни, о скотине, детях, погоде, о церкви и государстве — все под конвоем. Разрушенное соседство. А горькая участь Эрны Бройер — ведь это прямое следствие мер безопасности; теперь она ютится с этим Шублером в его малогабаритной квартирке, ищет работу, пока безрезультатно, Шублер тоже ищет работу — и тоже безрезультатно. Бройер подал на развод, дела его совсем плохи, он окончательно обанкротился, дом стоит нежилой, объявлен к продаже и охраняется теперь именно потому, что пустует, с удвоенной строгостью, приезжающих покупателей подвергают проверке, разгневанный маклер уже пригрозил вчинить судебный иск на возмещение ущерба, поскольку, по его словам, стоимость дома, разумеется, упала с той поры, как Блорр превратили в «полицейский участок», поговари-

вали даже о создании некоей инициативной группы «потерпевших от безопасности», к коей группе уже присоединились Клоберы, — по слухам, организация была отнюдь не местного масштаба, с отделениями в разных уголках страны, ибо потерпевших очень много.

А она тосковала по Хуберту, она ждала маму, чтобы та забрала ее отсюда в Тольмسخовен, туда, где Хуберт несет сейчас свою службу. Уж она улучит момент, найдет подходящую возможность, в крайнем случае уговорит Кэте устроить прием для всех работников безопасности и их семей — внизу, в большом зале, где обычно проходят заседания. А что, отличная мысль: собрать всех этих людей в знак благодарности, можно заказать оркестр, для детей пригласить кукольный театр, тогда она сможет наконец поговорить с Хубертом, познакомиться с Хельгой и Бернхардом, а уж потом пойдет искать совета у кого-нибудь, кому доверяет больше, чем этому мерзкому, жутковатому Кольшрёдеру. С братом, Рольфом, поговорить, наверно, не мешает, хотя проку от этого мало; Эрвин так ему и не простил, что он назвал своего мальчика Хольгером, «первого Хольгера, того, который от Вероники, — это я еще могу понять, это семь лет назад было, но чтобы и второго, от Катарины, и это *после* ноября семьдесят четвертого — нет уж, увольте, эта ветвь вашего семейства для меня больше не существует! И вообще — поджигать автомобили, бросаться камнями — что это такое, в конце концов?!» Рольф подойдет к делу с «практической стороны», он все еще, несмотря ни на что, очень деловой, даже слишком, умом, чисто абстрактно, он, наверно, поймет, что «прелюбодеяние» должно ее мучить, но начнет рассуждать, почему по отношению к Фишеру это вовсе никакое не «прелюбодеяние», зато, мол, по отношению к Хельге — да, тут действительно есть над чем подумать. Умом он, конечно, кое-что еще поймет, но душой — нет. Герберт, второй брат, тот, конечно, сумеет ее немножко развеселить, но и от него проку не будет, он начнет смеяться, даже не заметит ее печали, будет только радоваться, «потому что в тебе зреет новая жизнь, ты понимаешь, сестренка, какая это радость —

новая жизнь!» — и скорее всего посоветует ей попросту уйти от Фишера, чтобы на новом месте — да где же, где? — начать, как говорится, с нуля. Видимо, лучше всего поговорить с Катариной. Все-таки они почти ровесницы, да и ладили друг с другом, никогда не ссорились, вот только ее смущают истораживают политические рассуждения Катарины, когда та начинает «проводить системный анализ», — звучит порой очень даже соблазнительно, но в таких делах никакой системный анализ не поможет (а вдруг?). Что же делать, если она, несмотря ни на что, была и останется католичкой и в церковь будет ходить — даже целое стадо похотливых кольшрёдеров ее не остановит. И Хуберт такой же, для них это серьезно, очень серьезно, совсем не забава, не банальный «романчик на стороне», Катарина поймет, ведь она всегда ненавидела порно и «буржуазный промискуитет». Катарина, наверно, приведет к ней психиатра, а тот первым делом велит ей даже слово такое забыть — «прелюбодеяние». Вообще-то не исключено, что Эрвин согласится признать ребенка своим, лишь бы избежать позора и скандала — позор для него страшнее любого скандала, — милостиво предложит дать ребенку свою фамилию, а уж потом, со временем, расстаться или даже развестись. Она на это не пойдет. С Фишером она ни дня больше жить не будет. Она тоскует по Хуберту, по его рукам, губам, голосу, по бесконечной серьезности в его глазах.

С отцом поговорить? Нет, ему она не сможет исповедаться. Он, правда, совсем не ханжа, все-таки у него был роман с этой Эдит, да и об истории с молодой графиней в деревне до сих пор вспоминают, хоть уже почти пятьдесят лет прошло. Отец, конечно, отнесется «с пониманием», но он очень застенчив, и она тоже. А Эрвина он никогда не любил и только обрадуется, что «наконец-то мы избавились от этого типа», он будет к ней добр, ее милый папа, предложит переехать с Кит и будущим новорожденным к ним в замок и о Хуберте позаботится, он будет очень ласков — и не сможет ей помочь, когда Эрвин «без всяких церемоний» начнет борьбу за Кит, что-что, а уж бороться без всяких церемоний Эрвин умеет. Его

особенно уязвит то, что никогда не уязвило бы отца: что это человек «не их круга», «какой-то полицейский». Разумеется, он скоро женится снова, для престижа, для «Пчелиного улья» ему совершенно необходима «спутница жизни» — красавица, к тому же спортивная, вдобавок домовитая (что там еще значилось в каталоге ее собственных рекламных добродетелей?), и, конечно, любая из этих грудастых потаскушек с удовольствием за него выскочит. Не надо обладать большой фантазией — а фантазия у нее есть, на этот счет и монахини и Рольф были одного мнения, — чтобы вообразить, какая буря поднимется в газетах, в том числе, вероятно, даже и в «Листке». Тут уж ничего не поделаешь, нужно будет, как Рольф, «просто отсидеться». «Это как взрыв в старом клозете: дерьмо летит во все стороны, кое-что, конечно, перепадает и тебе, но ведь, в конце концов, есть теплая вода, можно отмыться».

Ничего, она сумеет отсидеться, и все пройдет. А вот жить с Фишером — нет, она больше не может, ни дня. Встречать его, когда он — счастливый глава семьи в ожидании потомства — возвращается домой, есть с ним за одним столом; моясь, оставлять открытой дверь в ванную, на чем он настаивал, объявляя это своим супружеским правом, «потому что тебе тоже есть что показать сверху без». Она с трудом заставляла себя есть, втихомолку плакала в те часы, когда Кит спала после обеда, плакала иногда и среди бела дня, не таясь от доброй Блюм, которая только сокрушенно приговаривала: «Да поговорите вы с кем-нибудь, ведь вас гложет что-то, и это вовсе не из-за ребенка, которого вы ждете, и не из-за охраны, хотя от нее любой с ума сойдет».

Может, с Блюм поговорить? С добросердечной незамужней Блюм, сестрой здешнего крестьянина, которая в свои без малого шестьдесят бодро помогает ей по дому и на кухне, при уборке неизменно пользуется только мылом и содой, с презрением отвергая все эти «дурацкие новомодные порошки», а нашатырь и уксус считает самым верным дезинфицирующим средством; с толстухой Блюм, которая теперь иногда остается у них ночевать, укладывает волосы незатейливым

узлом и расхаживает в юбках по последней моде тридцатых годов. Есть что-то пугающее и почти непристойное в ее манере курить за работой — сигарета торчком, глубокие, жадные затяжки. «Курить, дорогая госпожа Фишер, мы в войну научились, когда нас тут, в Блорре, бомбили и артиллерия пуляла вовсю. И мне понравилось, и до сих пор нравится. А уж тогда сколько литров молока я у братца стибрила, сколько картошки утащила в обмен на табачок, и все никак не брошу». Эта женщина, которая потеряла в войну «своего суженого» и которую «ни к кому другому не тянуло, вот я ни с кем и не решилась, не могла просто, я ведь уже ребенка ждала от моего Конрада, и нашлись охотники жениться даже на беременной, все равно, а тут как раз похоронка; Днепропетровск — я это слово вовек не забуду, я его на тот свет с собой возьму и спрошу там у кого следует, что нам в этом Днепропетровске понадобилось, на что этот Днепропетровск моему Конраду сдался, — вот у меня и случился выкидыш, а я так хотела ребеночка, пусть даже без мужа». Неужели она, эта женщина, о чем-то догадывается, а может, просто что-то знает, когда твердит ей, что все это «вовсе не из-за ребенка, которого вы ждете», хотя ведь на самом-то деле все именно из-за ребенка. Может, они были недостаточно осторожны, когда Блюм в сопровождении Цурмака или Люлера отправлялась вместе с Кит за молоком или просто прогуляться по деревне, ничуть не смущаясь автомата, с которым Цурмак вышагивал за ними следом; может, она что-то заметила — взгляд, жест, мимолетное прикосновение на ходу, что-то углядела летом, когда она нежилась у бассейна, или когда Хуберт украдкой — ах, всегда эта спешка, эта невыносимая и неизбежная спешка! — целовал ее в прихожей, либо в те мгновенья, когда он обнимал ее в углу, за дверью и она вверялась ему всецело? Блюм-то, уж конечно, давно знает, что между ней и Эрвином только неладья и скрытые раздоры. Неужели она поняла, что за всем этим кроются не только «другие женщины», но и другой мужчина? Да, с Блюм вполне можно было бы поговорить, но посоветовать или помочь она, видимо, не сумеет, как и отец; эта Блюм

отважно перенесла позор своей безмужней беременности, и все же то был не такой позор, ведь каждый знал, что в следующий отпуск ее Конрад собирался на ней жениться, она уже приберегала яйца и карточки на масло для свадебного пирога, и с мясником уже было договорено, чтобы к свадьбе нелегально забить свинью, она и на небе предстанет перед очами Всевышнего со своей суровой жалобой: «Днепропетровск — что нам там понадобилось?»

Прочь, прочь отсюда, скорей бы приехала Кэте, она забрет Кит и уедет, сегодня же, пока он не вернулся домой, не надо будет больше запирать дверь в гостиную, где она вот уже несколько дней ночует, выслушивать его попреки и жалобы, когда он, настаивая на «своем праве», пытается к ней вломиться, — наверно, он не стал бы так рьяно домогаться своих прав, узнай он, что она не на третьем месяце, а уже на шестом.

В Тольмсховене Хуберт будет рядом, они, наверно, смогут поговорить или даже поцеловаться, а то и, несмотря на беременность, найти какой-нибудь счастливый угол за дверью, им ведь не привыкать. Только однажды он побыл с ней несколько часов ночью, он стоял на посту на террасе, она его впустила — в тот день Кит была у родителей, заснула, и ее оставили ночевать; а она не могла заснуть, сперва стояла у окна, смотрела сквозь проем в занавесках на долину, где далеко на горизонте мерцали подсвеченные, словно на арене цирка, корпуса электростанций, но вовсе не потому, что они несут людям свет, как растолковал ей однажды старый Кортшеде, а из соображений безопасности, чтобы в случае аварии легче было обнаружить утечку, и для создания декоративного эффекта «индустриального пейзажа», но это именно подсветка, а не освещение, освещать там ничего нельзя, иначе сразу будет видно, «сколько всякой дряни они втихую спускают ночью». За деревьями, внизу, в долине, они отлично видны, эти мерцающие фасады, а сердце билось и билось, как — как что? Сердце билось давно, ведь она прекрасно знала, что в десять он должен сменить Цурмака, а было уже половина одиннадцатого, и последняя полоска летнего заката меркла на гори-

зонте, чуть в стороне от нелепо ярких фасадов. Но он еще не закончил обход, и она даже не казалась себе потаскушкой, когда отперла дверь на террасу, дрожа от страха, получится у них или нет, ведь до этого все бывало только в углу за дверью, — и вот он появился, целеустремленный, решительный, в этой его решимости было что-то мальчишеское, она даже невольно улыбнулась — он шел напрямик, мимо маленького заросшего кувшинками пруда, по склону, сломал по пути, как потом выяснилось, несколько роз, вот его рука ухватилась за ручку, и вот он уже в комнате, запутался в занавеске, высвободился, «вас я не видел, — признался он позже, — меня ослепило, но я вас чуял, да, чуял, то есть, наверно, надо сказать, чувствовал, чувствовал, что вы где-то тут, что вы меня ждете»; но тогда они ни слова друг другу не сказали, безмолвно и как-то по-хозяйски, отчего ей стало немножко не по себе, он включил свет, задернул занавески, чтобы рассмотреть ее голую, ведь прежде, в углу за дверью, он не мог видеть ее наготу, и только потом погасил свет и лег к ней, пистолет на ночном столике, рация на полу. Лишь позже, когда он снова занял свой «пост», а она сварила кофе, они смогли поговорить, он на террасе, она в комнате у открытого окна, между ними на подоконнике кофейник, две чашки и рация, они говорили долго, до рассвета, но так и не перешли на «ты». Он не признавался ей в любви, сказал только, что желал ее с первого взгляда, с первого дня, как стал ее охранять, а еще рассказывал о себе, как ему было тоскливо в школе, потому что всегда хотелось работать, в смысле — делать что-то руками, и он работал — сперва на стройке, потом на конвейере, «только, знаете, всей этой романтики ненадолго хватило», и тогда он пошел в полицию, да, потому что «любит порядок», чем и навлек на себя презрение отца, тот, видите ли, считает себя юристом и теперь жалуется, что сын, мол, роняет престиж семьи; обстоятельно, даже как-то излишне обстоятельно, стал объяснять ей про свою фамилию — Тёргаш, и почему она пишется через «ё», а не через «о», этому «ё» он придавал какое-то особое значение, хотя, на ее взгляд, никакой разницы,

что в лоб, что по лбу; но он построил целое этимологическое толкование, — дескать, кто-то из его дальних предков служил в Баварии у некоего Тёргаша, то ли графа, то ли епископа, управляющим, а вовсе не был торгашом, вот фамилия и передалась, потому и важно написание через «ё»; не то чтобы все это показалось ей занудством — слишком было хорошо беседовать с ним через подоконник, пить кофе и смотреть на занимающуюся зарю, — но серьезность, с которой он посвящал ее в свои этимологические разыскания, несколько ее встревожила. А она рассказала ему о своем детстве, о своей юности, об Айкельхофе. Айкельхоф перешел им по наследству вместе с «Листком» — это была старомодная вилла восьмидесятых годов девятнадцатого столетия, какую в те времена мог себе позволить пусть не богач, но все же достаточно состоятельный владелец типографии и провинциальной газеты. И вот эта вилла, вместе с типографией и газетой, досталась отцу, который ведь был из бедняков, а тут вдруг такой шикарный дом, огромные комнаты, особенно внизу, столовая и гостиная, в кухне хоть танцуй, и даже гардеробная, там самая маленькая комната все равно была больше, чем любая в их нынешнем замке, пока внизу не оборудовали конференц-зал. Теннисный корт. Все было немножко запущено, но уютно, эту уютную запущенность Кэте очень берегла, особенно сад, из-за которого они то и дело шутливо препирались: можно называть его парком или нет. Старые фруктовые деревья, лужайки, и ни одного идиотского газона, которые она так ненавидит. Летние праздники, бумажные фонарики на ветвях, танцверанда, которую отец специально для нее велел сколотить прямо в саду, и слезы первой, болезненной и пронзительной влюбленности в мальчика, которого звали Генрих Беверло — «да-да, *тот самый* Беверло, по вине которого вы тут стоите, благодаря которому мы сейчас рядом стоим, а совсем недавно рядом лежали, а до этого много раз в углу за дверью... да-да, именно по вине и благодаря», — она помнит его испуг при слове «благодаря», и она рассказала об этом не по годам пылким и умным мальчишке с мечтательными глазами и совсем

не спортивной фигурой, который стеснялся танцевать, из-за чего все над ним подтрунивали, ну, танцевать-то она его научила, летними вечерами они потом без конца танцевали на веранде, в саду, а если был дождь, уходили танцевать в дом.

Вот о чем она рассказала той летней ночью, но ни слова не проронила о Фишере, ни слова о Хельге, ни слова о Кит и Бернхарде, не сказала о том, что, вероятно, уже беременна, а сутки спустя они совсем потеряли голову, у него опять было ночное дежурство, но на сей раз Кит спала с ней, а Фишер, только что вернувшийся из своего вояжа, дрых в соседней комнате. Она почувствовала горечь, но и облегчение, когда на следующий день его перевели в Тольмсовхен. А еще она рассказала ему об Элизабет, третьей жене Блямпа; только они подружились, как та исчезла, уехала обратно в Югославию. «С его женами всегда так: если и попадетя милая, обязательно вскоре исчезнет. У нее там на юге отель, она все время меня приглашает, но как туда поедешь с такой свитой охранников?» Она рассказала и об их вилле под Малагой, где она обычно изнывает от скуки, — рассказала многое, почти все, никому прежде она столько о себе не рассказывала. Разумеется, она не сразу, не с первого взгляда вверила себя Хуберту, но этот молодой полицейский сразу показался ей симпатичным, симпатичнее остальных, да и по возрасту они, наверно, ровесники, не исключено, что он даже на год-два моложе. Она не знает, сколько лет Бернхарду, детей теперь очень рано ведут к первому причастию, но вдруг Хуберту все-таки тридцать, тогда он на два года старше, — и вот с ним, именно с ним у нее случилось то, во что она никогда бы не поверила, считала для себя абсолютно невозможным и готова была поклясться в этом любой клятвой: что она будет принадлежать не своему, чужому мужу, тому, кто никогда, ни под каким видом не спросит: «А вы не забыли про пилюлю?» И это при том, что возможностей было сколько угодно, и заигрываний, и почти недвусмысленных предложений — в конном клубе, на теннисе, на вечеринках; иные претенденты были просто очаровательны, Цуммерлинг-младший, например, очень да-

же мил, веселый, ироничный, этот все принимал не слишком всерьез, то и дело над ней подтрунивал: «Сабина, дорогая, ну почему мы всегда так серьезны?» Так нет же, Хуберт, именно он, и она даже не знает, как это получилось, постепенно или сразу, неотвратно или случайно, по ее или по его воле, все вышло само собой, а уж неотвратно или случайно, это пусть решают боги, — просто он был тут, рядом, стоял, ходил вокруг, и так неделями, почти два месяца, и днем и ночью, но в одном она совершенно уверена: с Цурмаком или Люлером это было совершенно исключено, немыслимо, хотя они оба тоже очень милые ребята и добросовестные, знают каждый кустик, каждое дерево, каждую кочку, изучили все углы и закоулки в доме, в саду и на соседних участках, а уж план дома помнят назубок, включая гардеробную и кладовку, гладильню и чулан, гараж и сарай с садовым инвентарем, въездные ворота и летнюю кухню на террасе, где Блюм в хорошую погоду чистит овощи и картошку, приглядывая за Кит, которая обожает участвовать во всех кулинарных процессах; они, разумеется, прекрасно помнят и расположение так называемой «мастерской» — Фишер однажды надумал столярничать, но вот уже год к инструментам не притрагивается и в «мастерскую» не заходит, — и сауны в подвале, и обеих ваннных комнат, они знают каждый уголок в доме, в саду и по соседству, и всем им не по душе, что в доме такие огромные окна. Приуныла она после того, как ей посоветовали не отправлять больше Кит в детский сад, а походы за покупками утратили всякую радость из-за постоянного конвоя. Детский сад в Блюкховене действительно при всем желании невозможно было «взять под контроль» — народу полно, детей приводят и уводят, тут же подвозят еду, входов и выходов не счесть, одноэтажные коттеджи разбросаны по парку где попало, тут же рядом кустарник, клумбы, детские площадки, с одной стороны школа, с другой — бассейн, и никаких заборов, планировка ведь открытая, так и задумано, все время подъезжают и уезжают машины, не станешь же обыскивать их все подряд — а после истории с плифгеровским тортом приходится проверять

и поставки на кухню, — кроме того, некоторые родители начали роптать, дескать, их-то детям ничего не угрожает (что в корне неверно: «похитить, — сказал Хуберт, — могут любого ребенка, и моего тоже»), а постоянная охрана, чтобы не сказать надзор, нервирует детей, чревата психической травмой да и бессмысленна, потому что «эти если уж вдарят, то все равно из-за угла», их не перехитришь.

Пришлось оставлять Кит дома, к Грёбелям, где дочка любила играть с Руди и Моникой, ей теперь тоже нельзя: Грёбели весьма прозрачно дали понять, что не потерпят одного, а тем более нескольких полицейских у себя в доме или на участке, это травмирует детей. Пришлось держать Кит дома, заниматься с ней самой, играть, рисовать, рассказывать сказки или отправлять ее на кухню «в подмогу» Блюм; летом еще куда ни шло, выручал бассейн, возле которого есть песочница, качели, деревянная горка, а с недавних пор — это была ее идея, навеянная детскими воспоминаниями об Айкельхофе, где Кэте соорудила для них нечто похожее, — и «свинская лужа», яма с песком, глиной и водой, где Кит буквально купалась в грязи, строила замки и крепости, ей разрешалось дрызгаться там сколько душе угодно, в жаркую погоду голышом, когда прохладней — в штанишках, а потом шагом марш в ванную или под душ. Но прошло еще некоторое время, и ей опять-таки не то чтобы запретили — ей настоятельно отсоветовали ходить в Блюкховен на рынок, а она, да и Кит так любили туда ходить! Повязав платок, усадив Кит в коляску, с корзиной в руке, она так любила потолкаться в этой давке, в гуще людей, почувствовать их прикосновения, даже их запахи, она нарочно шла туда, где больше народу, и ей было не страшно, пока ей весьма наглядно не живописали все опасности таких походов. Сколько там закутков и проулков, которые не просматриваются, проходов между ларьками и прилавками, сколько легковушек и грузовиков, владельцы которых ставят их где попало, лишь бы разгрузить матрасы и яйца, кур и зелень, все, что привезли; в этой неразберихе похитить ребенка — плевое дело, хватить — и нет его, она и оглянуться не

успеет, а потом ищи-свищи среди этих ларьков, прилавков, автомобилей, рыскай по всем закоулкам и проходам, там даже предварительный, профилактический контроль организовать немислимо, что уж говорить о нештатной ситуации. Пришлось отказаться и от рынка; теперь ей все доставляли на дом, а если уж очень нужно было пойти в город, Кит оставалась с Блюм. Но разумеется, все, что ей доставляли на дом, тщательно проверялось: каждая буханка хлеба, каждый пучок салата, и даже для более интимных вещей, которые ей присылали из аптеки, не делалось исключения; а она и в этих вещах ужасно старомодна и краснеет всякий раз, когда обследуется очередной пакет из аптеки. Тут волей-неволей возникнет и нервозность, и раздражение, и противоестественная интимность в отношениях, которые совсем не должны бы к этому располагать. И все трудней делать вид, будто так и надо, и постоянно терпеть в доме или где-то поблизости присутствие двоих, а то и троих, но уже всенепременно и обязательно одного постороннего мужчины. Постоянно помнить, как ты одета, когда выходишь в коридор или в холл, идешь в ванную, из ванной или в туалет; к тому же «при исполнении» эти люди категорически отказываются от еды, разве что выпьют чашечку кофе, когда же их время кончается, они мгновенно, до неприличия быстро, исчезают, будто им невтерпёж поскорее унести ноги с этого клятого места, а ей так хочется иногда поговорить с кем-нибудь из них по-человечески, расспросить про жену и детей, про квартиру и работу, но все ограничивается мимолетными вежливыми улыбками и сигаретами, которыми она время от времени угощает их, а они ее. Ей так хочется узнать, как они живут, о чем думают, скучают ли на службе, устают ли и как вообще их нервы все это выдерживают?

Эрвин держится с ними нарочито вальяжно, с налетом панибратства, этакий бывалый офицер запаса; заводит разговоры о футболе, пиве и женщинах, которых, если его послушать, только и надо, что «заваливать», — он явно недооценивает душевную деликатность этих людей, не только Хуберта,

но и Цурмака и Люлера, ради которых он по понедельникам старательно зазубривает результаты очередного футбольного тура, хотя интересуются этим вовсе не Цурмак и Люлер, а, к ее удивлению, Хуберт, но, конечно, совсем не в такой, нарочито простецкой, вульгарно-пролетарской форме, как это преподносит Фишер: на каком-то полупохабном, блатном жаргоне, когда не сразу разберешь, что имеется в виду — то ли игровые достоинства футболистов, то ли их мужские потенции. Эрвин ведь никого, кроме себя, не слышит, он все знает лучше других, — громогласно, на весь дом, словно у себя на фирме, он в разговорах с ней то и дело склоняет «этих легавых», ничуть не стесняясь их присутствия, а они этого не любят, слишком часто их так обзывают другие люди, при других обстоятельствах, им это прямо нож острый, и даже если он говорит про «легавых» в шутку и как бы в кавычках («Ну, что, как поживают наши славные легавые?»), им это слово все равно не нравится, даже в кавычках. Вот почему они так холодно отказываются, когда он предлагает им сигареты, а если он трогает кого-то из них за рукав или, еще того хуже, похлопывает по плечу, их прямо передергивает.

Да, очень трудно жить вот так, привыкая к постоянной близости посторонних и в то же время никакой близости не допуская; вот почему она вовсе не считала «грязным» — наоборот, естественным — то, на что намекал Эрвин: дескать, она, когда ложиться загорать у бассейна, возбуждает у полицейских «грязные фантазии». «Даже если ты рязляжешься в чем мать родила — это их не касается, они обязаны не реагировать». Хуберт признался, что хотел ее с первого дня, что она его возбуждает, он говорил не о любви — о вожделинии, а ведь кроме него были и эти двое, ничем не занятые здоровые мужчины, они слонялись вокрут, ходили, стояли, глазели, а потом наступили месяцы, долгие месяцы, когда глава семьи вообще не появлялся дома, его не было ни днем, ни теплыми летними вечерами, ни ночью, когда она без сна лежала одна, — и так день за днем, только скука и беспросветная тоска, так что в конце концов даже добряк Цурмак, мужчина уже,

можно сказать, в годах, остепенившийся, ему почти сорок, — и тот не выдержал и сказал ей однажды: «Да что вы все дома сидите? Сходили бы в гости, на вечеринку к кому-нибудь, а за девочкой мы присмотрим». Только после этого она решила выбраться в город — ей давно хотелось присмотреть себе новые туфли в обувном салоне Цвирнера, примерить платья у Хольдкамп и Бреслицера, Кит она оставила с Цурмаком и Блюм, поехала с Люлером, который торчал в салоне Бреслицера у всех на виду, ни дать ни взять частный детектив, и когда она вошла в примерочную кабину, пока переодевалась, она вдруг просто кожей ощутила какой-то особый наэлектризованно-эротический дух этого заведения с его розовым плюшем, тяжелыми занавесями, взбитыми, воздушными кружевами, почти физически осязаемую интимность, которая все еще обволакивала ее, когда она вышла из кабины. Что-то с ней было, что-то передалось ей вместе с этим воздухом, — наверно, думала она, так бывает в дорогих борделях, — какое-то размягченное бесстыдство, приглашение, зазывность, оставшаяся без ответа, и на обратном пути она чуть было не тронула за плечо беднягу Люлера, про которого знала, что тот холостяк и вообще веселый малый, так ей было его жалко, к счастью, она вовремя спохватилась, сообразив, что ничем хорошим это не кончится. Впервые в жизни она поняла, что имела в виду ее грубовато-прямодушная соседка Эрна Бройер, когда как-то раз обронила: она, мол, по горло сыта всеми этими разговорами о любви и страстях, просто иногда хочется, чтобы ей «как следует вставили», и мужчинам очень часто хочется просто «вставить», не больше и не меньше; а бедняга Люлер, наверно, еще и слышал, сколько она заплатила за оба платья, почти две восемьсот, ему это, конечно, показалось совсем недешево.

Ну вот, а потом, уже весной, она досталась, она вверилась Хуберту, среди бела дня, пока Блюм возилась на кухне, а Кит с удвоенным восторгом дрызгалась в своей свинской луже, потому что ей наконец-то удалось осуществить свой коварный замысел: в то утро Кит, наверно, раз сто подзывала Ху-

берта, канючила и требовала, чтобы тот подошел поближе. Когда же он в конце концов поддался на уговоры и подошел, она с ног до головы забрызгала его грязью, а он от растерянности еще и поскользнулся, — словом, пришлось пригласить его в дом для основательной чистки; потом, много позже, уже поняв, что беременна, она много раз спрашивала себя, но и до сих пор не знает, зачем пошла вместе с ним, хотя он и без нее прекрасно знал, где ванная и где найти полотенца. Но она пошла с ним, отвела его в ванную, даже открыла ему дверь и достала с полочки полотенце и тряпки, — тут-то они и не совладали с собой. Похоже, она первая: провела рукой по его щеке. Это вышло непроизвольно, она ни о чем таком даже не думала, но ни секунды не сопротивлялась, когда он вдруг сжал ее в объятиях и начал стаскивать с нее бикини — он делал это уверенно, ловко, но она знала, чувствовала, что уверенность напускная. Он вошел в нее со вздохом, и она приняла его, она вверилась ему с радостью и, встречая его поцелуи, вдруг ощутила, что знает его наизусть — его запах, его шершавый подбородок, его зубы, и эти светлые, такие серьезные глаза, и волосы на затылке, — она не только все ему позволила, она соглашалась, она кивала, хотя он впился в ее губы, она все ему позволила прямо тут, в углу за дверью, и даже успела толкнуть ногой дверь; совсем рядом, на террасе, Блюм перебирала салат, в саду Кит возилась в своей свинской луже, и все это в солнечный майский полдень, за четверть часа до обеда; после она сама удивилась — страха почти не было, только радость и какая-то шальная уверенность; она быстро привела в порядок купальник, в холле посмотрела в зеркало, поправила волосы, а он остался в ванной — ему ведь надо было еще отмыть глину с куртки и брюк. Некоторое время спустя он вышел на крыльцо, повесил куртку сушиться на солнце, погрозил пальцем Кит и ушел за гараж, ей же в тот день больше ни слова не сказал, вообще избегал говорить с ней в чьем-либо присутствии, и потом тоже, только иногда шептал, стоя за ее шезлонгом или из-за кустов у бассейна: «Ах, госпожа Фишер!», ведь они по-прежнему были на «вы»,

хотя все чаще улучали мгновения для свиданий. Им-то сразу было ясно, что это не минутный обман чувств, не мимолетное «приключение», подстроенное прихотью обстоятельств, не банальный «эпизод», о котором легко можно забыть. Нет, все было куда серьезней, засело глубоко и затягивало все глубже, усугубляясь множеством мелочей, которые она прежде посчитала бы откровенным бесстыдством. Теперь же ее почти не удивляла отчаянная смелость их торопливых объятий в гардеробной, где она вверялась ему в темноте среди развешанных пальто, — они облюбовали это место, потому что он в случае чего мог сделать вид, будто идет из туалета, а она бы спряталась за грудой одежды, эти несколько секунд могли спасти положение. В саду, проходя мимо, он иногда как бы невзначай останавливался и заговаривал с ней, рассказывал о полицейской школе, а она вспоминала об Айкельхофе, который стерли с лица земли, — с ним ей даже об этом было легче говорить, чем с кем-либо еще. К братьям с подобными разговорами лучше вообще не подступаться, Эрвин тоже отмахивался: «Пустые сантименты, нашла что оплакивать, вчерашний день». Отец об этом и слышать не хочет, даже злится, что с ним редко бывает, наверно, его все еще совесть мучает, а Кэте молчит, для нее это самая горькая утрата, Айкельхоф и Иффенховен, где она родилась и выросла, ведь теперь там все разрыто, теперь там хозяйничают экскаваторы, словно огромные звери, они вгрызаются зубастыми ковшами в зеленые лесные чащи, все сминая на своем пути, безлично-свирепые, такие большие и добродушные на вид и такие беспощадные в работе, они заглатывают землю и выплевывают ее далеко-далеко, они эксгумируют мертвецов — ну, конечно же, с предельной почтительностью, — они крушат церкви и часовни, деревни и замки, а Кэте говорит, что, когда едет через Ной-Иффенховен, где отстроенные заново дома и церкви стоят как игрушечные, ее пробирает дрожь.

Да, ее тоже пробирает дрожь. Дрожь, стоит подумать о Кит, розовощекой, золотоволосой Кит, которая сейчас щебечет у Беерцев в коровнике; дрожь, стоит вспомнить о радостной

готовности, с какой она при малейшей возможности вверялась Хуберту в любом углу, в ванной и в гардеробной; дрожь, стоит подумать о Хельге, хотя — вот ведь странно — по отношению к Фишеру или к Хуберту она не чувствует себя прелюбодейкой, только из-за Хельги; стоит вспомнить, с какой невозмутимостью выходила она из укромных уголков, из ванной или из гардеробной, когда Блюм была тут же, рядом, и Кит в своей детской, а она с улыбкой, подмазав губы, наскоро поправив прическу, как ни в чем не бывало шла к ним; дрожь, стоит подумать, как деловито, с какой-то птичьей сноровкой, она оглядывала Хуберта, устраняя следы своих поспешных ласк, и при этом сама себе дивилась — откуда в ней это, откуда она все это знает, где, у кого научилась столь хладнокровно, как ни в чем не бывало совершать то, что было, есть и во все времена останется прелюбодейством; откуда у нее эта повадка, ведь ее никто ничему такому не учил, откуда же тогда «у нашей милой, славной, доброй и верной женушки, у нашей пчелки, у нашего золотца», откуда у нее эта опытность, причем с самого первого раза, когда она вышла из ванной, а Блюм перебирала на террасе салат? Видит Бог, такого с ней прежде не случалось, с ней — нет, и тем не менее она с улыбкой кивнула Блюм и спокойно пошла в сад, где все так же беззаботно играла ее дочурка.

Может, Хельга ее поймет и будет ей его уступать — иногда, на время; позволит ей любить его, и он сможет видеться с ребенком, где-нибудь в Италии или в Испании, где она будет жить. Он такой серьезный, с таким рвением относится к своей работе, он даже любит свою профессию. «Порядок и безопасность для всех». Только вот слишком уж педантичен и вполне мог бы предотвратить беду с Эрной и Петером... странно, она его хочет, хочет быть с ним, спать с ним, но жить с ним? Нет, вряд ли, ничего хорошего из этого не выйдет, как не выходит сейчас, судя по всему, у Петера с Эрной; они ведь тоже поначалу хотели только... ну да, спать друг с другом, а потом вот влюбились, по-настоящему, пожалуй, Петер полюбил Эрну даже больше, чем она его, она ведь не скрывала,

что сперва хотела только одного: чтобы он ей «как следует вставил», так в своей вульгарной, но честной манере она изъяснялась. А теперь он жить без нее не может, а она без него, и им плевать на скандал и на разъяренного Бройера, плевать на бесконечные повестки и допросы; он теперь хочет во что бы то ни стало жить со своей Эрной, удержать ее, даже жениться на ней, и в любви стал просто неистов, — но ей, ей не по себе в его крохотной квартирке, слишком бедно, слишком дешево, а ведь и бунгало Бройера, и Петер в любовниках, все это могло продолжаться вечно, если бы не идиотская охрана и слежка. А теперь Эрна звонит и чуть ли не матерится, забыла, что они были на «ты», давно уже не называет ее «моя дорогая пчелка без жала», с ядом и ненавистью в голосе говорит: «А теперь, многоуважаемая госпожа Фишер, послушайте, что я вам скажу...» — и она слушает, но не слышит, мыслями она далеко-далеко, и всех до смерти жаль, и все до смерти надоели: Эрна, Эрвин, Петер, Кюблер, Ронер, Клобер, а тут еще, едва солнышко пригреет, эта полуголая нимфа наверху на террасе со своей томной, зазывной музыкой.

И все же ей недостает Эрны Бройер. Она все-таки очень милая, такая прямодушная, что на уме, то и на языке, — милая, даже когда без стеснения рассказывает о своей супружеской жизни и о том, как она любит «это дело — ну, с мужчинами, вы ведь понимаете, о чем я...». И еще: «Я ведь ужасно завожусь от всей этой порнографии, которую мой старик, ну, Бройер, домой притаскивал, завожусь просто до беспамятства, а ему того и надо, только мне с ним ни холодно ни жарко, вот я и пожалела этого мальчика, он всегда так пылко, так жадно на меня смотрел, а оказалось, что это любовь, настоящая любовь, я с ним про всю порнографию сразу и думать забыла, такое разве заранее угадаешь. Так нет же, треклятые легавые все испортили. Это бы еще годы тянулось, но этим ищейкам всюду надо совать свой нос, и все из-за всех вас и ваших дерьмовых миллионов — я-то тут при чем? Ну, пушу я утром к себе Петера — вам-то какое дело? Никакого. А теперь вот склоки с Бройером из-за кроватей и чемоданов, из-

за тряпок и мягкой мебели, он даже цветной телевизор мне оставлять не хочет, — да не плачьте, не плачьте вы, милая пчелка, я ведь не желаю вам зла, нет, да с вами ничего такого и не случится, вы по-другому устроены, не то что я».

И вот — случилось, ничуть не иначе, чем с Эрной, которая, конечно же, вверилась своему Петеру точно так же, как и она Хуберту, — «сразу и с радостью».

Когда-нибудь (когда?) она ему все расскажет об Айкельхофе и о том времени, расскажет, как жила в интернате у монахинь, а может, и о том самом Беверло, который тогда, лет десять-двенадцать назад, принадлежал к «молодежи наших надежд», молодежи, на которую «делали ставку», за которую боролись партии, объединения и союзы, на которую со всех сторон сыпались поощрительные стипендии; все думали, что он будет изучать германистику или театроведение, во всяком случае, посвятит себя культуре и будет отстаивать «нашу» (чью?) точку зрения. Считалось, что он консерватор (кто бы ей хоть раз толком объяснил, что это значит?) и даже реакционер (не худо бы и на этот счет услышать что-нибудь вразумительное), считалось, что он католик, даже набожный, — она сама до сих пор набожная католичка, считает себя таковой, даже несмотря на Кольтшрёдера и Хуберта, но тоже не очень понимает, что это значит. Но Беверло пошел изучать банковское дело, сперва здесь, потом в Америке, вместе с Рольфом, защитил диссертацию (что-то про Латинскую Америку)*, вернулся, стал еще лучше танцевать, но вокруг рта появилось что-то циничное, почти подлое, ему уже мало было ее целовать, он хотел большего, но он ей такой не нравился, и тогда он сказал с прежней своей мечтательностью: «Когда из года в год имеешь дело только с деньгами — с настоящими, большими деньгами, не теми, которые, возможно, у тебя сейчас в сумочке, а теми, которые работают, — тут поневоле станешь либо подлецом и циником, либо круглым идиотом. Кому же

* Проблематика третьего мира и, в частности, Латинской Америки — предмет постоянного интереса «новых левых» с середины 1960-х годов.

хочется быть идиотом?» В последний раз она его видела на свадьбе Рольфа и Вероники, он произнес остроумный тост, даже про «Листок» сумел ввернуть так, чтобы отцу не было обидно; да, отца все они любят, и Кэте тоже, и ведь не так уж давно все это было. Если слухи и сообщения хотя бы наполовину верны, получается, что все это именно из-за него, из-за Генриха Беверло, охрана и слежка, несчастье Эрны Бройер, растревоженные соседи, ярость Клоберов, история с именинным тортом Плифгера и даже ребенок, которого она ждет от Хуберта.

Беверло — это теперь почти сон, как и дом в Айкельхофе, который быстро, на диво быстро сожрали экскаваторы. «Сносить и копать, копать и сносить, уголек все окупит», — таков лозунг Блямпа, и ведь в конце концов за ветхий Айкельхоф они получили столько, что отец смог купить замок. Рольф тогда прикинул все расходы и доходы с 1880 года, чтобы подсчитать размер прибыли — компьютер выдал результат в сколько-то десятков тысяч процентов, во всяком случае все они сошлись на том, что «за такую старую развалюху цена просто безумная», но дело не только в несусветных барышах, отец должен был подать пример, ведь сколько было шума, сколько протестов, когда стало известно, что весь Иффенхофен собираются сносить и раскапывать. Иногда, проезжая грунтовой дорогой от Хетциграта до Хурбельхайма, она останавливает машину и с обочины долго смотрит в огромный, нескончаемый карьер, пытаясь найти то пустое место, где когда-то стоял Айкельхоф, место, где когда-то был Иффенховен. То-то была радость археологам, которым позволили какое-то время покопаться и поквохтать над всеми этими римскими, франкскими и даже, кажется, какими-то еще дофранкскими, кельтскими, что ли, горшками, черепками и захоронениями, эту их радость и сегодня можно оценить в краеведческом музее, а уж сколько было написано монографий, сколько диссертаций защищено. Горшки и кости, камни и черепки, горы черепков, там, в музее, есть даже отдельная витрина: «Наход-

ки в Иффенховене» — и другая, поменьше: «Находки в бывшей усадьбе Айкельхоф, ныне — угольный карьер».

Конечно, отец не смог сказать «нет», к тому же на него наседали все правление: «Если уж вы, Тольм, заупрямитесь, если ты, Тольм, заупрямишься, чего тогда ждать от простых людей, на чью сознательность в вопросах экономической и энергетической стратегии мы так рассчитываем?» И развернулись работы, пошло-поехало, ломать не строить, часовню и церковь, деревню и кладбище, обветшалый графский замок каких-то там Хетцигратов — все под нож и под ковш, под корень, точнее с корнем, вековые дубы и каштаны, заборы и живые изгороди — долой, сносить и копать, копать и сносить, разумеется, нигде живого места не осталось, да и с чего бы, когда им так нужен уголь. Изгнание из Айкельхофа, изгнание из Блорра, да и дни Тольмсховена, если верить тому, что иногда нашептывал ей Эрвин, тоже сочтены. Неужели всего восемь лет назад она была на свадьбе у Рольфа и Вероники и в последний раз танцевала с Беверло, который потом чуть было не дал волю рукам; но нет, она уже не была влюблена, она уже тогда его боялась, особенно когда услышала, как он, только недавно произнеся такой приятный тост за здоровье отца, завел с ним куда менее приятный спор о свободе; оба чуть навеселе, отец, как всегда, размягченный, а Беверло был беспощаден, на примере предстоящего выселения из Айкельхофа он доказывал отцу, насколько несвободны даже самые свободные в мире свободного предпринимательства: ведь он, Тольм, не может не видеть, что для его жены этот переезд — страшный удар, что его дети чувствуют себя чуть ли не беженцами, да и сам он к этой развалюхе привязан, а деньги у него и так есть, «Листок» ведь процветает, так что все словеса о «свободе», «обстоятельствах» и «необходимости» — что это еще, как не благопристойное прикрытие самой обыкновенной экспроприации? Семь лет, всего семь лет назад отец с Кэте въехали в замок после всех ремонтов и перестроек — и вот опять все на снос, под ковши и бульдозеры, и опять цена будет в семь, если не в тридцать раз выше той, что они заплатили. «Твой

старик только прикидывается простачком, а на самом деле похитрее всех нас — у него все окупается, да еще с какими барышами!»

Вояжи Эрвина по всему свету тоже, конечно, окупаются — все эти договоры и контракты, станочные парки и технологические циклы, он только посмеивается над профсоюзами («помогают как миленькие!») и все усерднее строит из себя плейбоя, хотя она-то знает, как трудно ему добраться до своего счастья, но тут, может, и правда все дело в ней, она ведь думает только о Хуберте, только о нем одном, особенно после той ночи, которую они провели вместе, после упоительного и безмолвного свидания, когда он смотрел на нее, она на него, после кофе на подоконнике в предрассветный час, когда на кромке неба занималась заря, а с другой стороны вдалеке светились, как в цирке, фасады электростанций, в чьих топках сгорают Иффенхофен и Айкельхоф. Хуберту никогда бы не пришло в голову спросить у нее: «Вы не забыли принять пилюлю?» — и, судя по всему, у него даже в мыслях не было что-либо предпринимать против «последствий», ни полсловом, ни намеком он не пытался побудить ее к тому, чего она никогда, никогда в жизни не сделает, он только ужасно обрадовался, но и испугался, когда она сказала, что беременна, дал понять, что Хельга, наверно, очень огорчится, но не из-за того, что будет ребенок, это уж точно. Его эта весть потрясла, но он встретил ее со всей серьезностью своей бесконечно серьезной души — и это как раз в те дни, когда Эрвин, только что вернувшийся то ли из Сингапура, то ли откуда-то еще, она не помнит точно, сиял от счастья и был с ней любезен, как никогда, засыпал цветами, украшениями и экзотическими безделушками ее, Кит и даже Блюм, он прямо лучился обаянием юности, которым в свое время так ее обворожил. Он буквально носил ее на руках — от прихожей, через гардероб, мимо тех самых пальто, среди которых они с Хубертом столько раз укрывались, пронес ее через холл в гостиную, а оттуда в спальню, на кровать, и она отдалась, но не вверилась ему, а он — неужто и вправду? — прошептал:

«Я ведь люблю тебя, надеюсь, ты еще не забыла, и знаешь, по-моему, нашей малышке Кит скучно одной, то есть я имею в виду, может, тебе пока что не стоит принимать?» Но потом все-таки не смог удержаться от одной из своих дурацких шуточек: «А коли так — зеленый свет, полный газ и никаких ограничений!»

А Кит уже два месяца была не одна, и все время эти шуточки, эти пошлые, заранее придуманные, якобы импровизированные острооты, когда она выполняла с ним свои супружеские обязанности, и эти вечеринки у его родителей, в чем-то вульгарные до такой степени, какая даже Эрне Бройер не снилась. Ссора с Эрной ужасно ее мучит, ссора, в которой никто не виноват, только обстоятельства, хотя в обстоятельствах этих, если верить Рольфу, отцу и Катарине, виноват Генрих Беверло, а еще ее бывшая невестка, Вероника Тольм, урожденная Цельгер, дочь хетцигратского врача... Вероника уже дважды звонила, в первый раз она от страха даже трубку выронила, это был действительно ее, такой знакомый, светлый и ясный голос, «ангельское сопрано», как называли его монахини, колокольчатые переливы которого так украшали их хор, а иногда выводили божественное соло с органной галереи: о, ее «Господи, помилуй!» о, ее «Agnus Dei»*, о, эти блаженные часы майских молений**, когда серебристый голос Вероники славил Деву Марию, — и разве не этот голос сделал ее, Сабину, столь страстной почитательницей Пресвятой Девы, разве не этот голос звучит и сегодня еще будет звучать в ней, когда она пойдет в Блорр в часовню, принесет туда цветы, прошепчет свое «Аве», поставит свечи и, наверно, поплачет — о себе, о Хуберте, о ребенке в своем лоне, о Хельге и Бернхарде, и Кит, и о Веронике, которая тогда так вот запросто позвонила (откуда? откуда? откуда?) и спросила: «Ну, как вообще жизнь?» — и рассмеялась, услышав (после того,

* Агнец Божий (лат.).

** 31 мая Западная церковь празднует Посещение Пресвятой Девой Марией Елизаветы (Евангелие от Луки, 1, 39—56).

как она наконец подобрала трубку с пола) ее испуганное дыхание и снова спросила: «Ну, как вообще жизнь?» — на что она ответила: «Охрана и слежка, ты сама прекрасно знаешь, почти как в тюрьме». На что Вероника: «В *этом* я не виновата». — «И Генрих тоже?» — спросила она. «О, он считает, считает без конца, скажи Рольфу, что с Хольгером все в порядке» — и гудки. А несколько месяцев спустя она позвонила снова, сказала: «Ах, милая моя пчелка, мне так жаль, мне так горько, ты помнишь еще наших славных монашек? Хочешь, я тебе спою?» И спела «Мария, майская царица...», и потом опять только гудки.

Она рассказала Хуберту, ему она не могла не сказать, он только посмеялся, кивнул: «Да нам все это известно, шеф-то уж точно в курсе, вы не волнуйтесь, все фиксируется, может, нам и вправду удастся их засечь, тогда мы их живо сцапаем, вам же лучше будет. Учтите, кстати, что все ваши звонки тоже прослушиваются, так что, милая Сабина, никогда не звоните, никогда, и не пишите. И мне тоже нельзя вам звонить и тем более писать, ни в коем случае, а меня скоро отсюда переведут...»

Уже почти стемнело, когда Блюм вернулась с Кит от Берецев; она не принимала слишком всерьез так называемые «меры безопасности», говорила, что ни в какую безопасность все равно не верит, а уж особенно в безопасность «от этих» — «от них все одно не убережешься, эти пожалуют, когда им вздумается, как снег на голову, что днем, что ночью». Кит сияла от радости: она впервые сама, от порога до порога, несла домой молоко, целых два литра, только с тремя передышками, а еще ее угостили орехами и каштанами, она хотела немедленно их зажарить — в саду, на костре, «когда папа придет», — от этих слов ей стало больно, она как-то сразу поняла: Кит очень привязана к отцу, значит, она и ей причинит боль, да притом какую, и она сказала:

— Мы сейчас уезжаем вместе с бабушкой Кэте, поджаришь каштаны у дедушки, он будет очень рад.

— Мы там заночуем?

— Да.

— Тогда я оставлю папе немножко орехов и каштанов.

А как же молоко?

— В холодильник поставим, ничего с ним не будет.

— Мне уже собираться?

— Только кукол возьми, а я прихвачу немного белья.

— Знаете, — сказала Блюм, когда Кит вышла, — напрасно вы думаете, будто соседи к вам переменились. Конечно, когда полиция в деревне уже который месяц торчит — такое никому не понравится. Но на вас никто зла не держит. Это все те... Вы ведь не на одну ночь уезжаете, верно?

— Как вы догадались? Вы что-то знаете, Мария, скажите же мне...

— Ничего я не знаю, госпожа Сабина, то есть не то чтобы я знала, я просто вижу, чувствую, что-то вас гложет, и это не из-за ребенка, это что-то другое, хуже. Чайку выпьете? Или кофе?

— Да нет, мама с минуты на минуту придет. Скажите, вы считаете, мне лучше остаться?

— Нет, поезжайте, так будет лучше, по-моему.. Поезжайте. Мне вот не к кому было уйти, когда дома меня донимали, разве что к сестре, так она в городе, и надолго у нее не останешься, только до вечера, квартира-то тесная, муж с работы придет, дети — повернуться негде, а в монастырь я сама не пошла, хоть меня бы, наверно, взяли, даже с ребенком. Радуйтесь, что вам есть к кому уйти, и ступайте с Богом.

— А вы со мной поедете, если я... не плачьте, Мария, пожалуйста, не плачьте, я ведь вернусь.

— Не вернетесь вы! Может, в Блорр заглянете, проведаете нас, но в этот дом — нет. А я с вами поеду, если... сами знаете. И еще одно я вам скажу, чтобы уж ничего промеж нами не осталось, вы ведь всегда были ко мне добры: ребенок у вас не от мужа, а к тому, от кого ребенок, вам нельзя...

— И вы знаете, от кого?

— Нет.

— Правда нет?

— Клянусь. Просто я умею считать, а пять месяцев назад, — тут она улыбнулась, — ну вот, но чтобы при такой-то охране да слежке и чтобы никто не заметил, нет, удивительно, просто жуть берет, про вас ведь ничего такого не скажешь.

— А жуть берет из-за меня?

— Да нет, просто чудно: на какие хитрости человек горазд. А вот и ваша матушка. Не забывайте меня, коли надо что, вы-то мне всегда нужны. Может, все-таки поставить чай?

— Нет, спасибо, я хочу уехать, пока муж не вернулся.

Стоя в дверях, она смотрела, как водитель — это был не Блуртмель — вылез из машины, отворил Кэте дверцу, потом подошел к Кюблеру; нет, это и не Хуберт, хотя вполне мог приехать и он, этот какой-то новенький, по виду скорее из Объединения, чем из полиции. А вот и Кэте — она всегда так рада, когда видит маму; ей ведь уже к шестидесяти, а выглядит она все лучше и лучше. У нее удивительное лицо, вроде бы такое спокойное, но и взволнованное, а вот с парикмахершами ей не везет, правда, сегодня все обошлось: ей очень к лицу этот пышный, с белой проседью узел, но на сей раз она, видно, и правда чем-то взбудоражена, в руке кулек, наверно конфеты, она ведь собиралась пить чай; она поцеловала Кит, потом ее и сказала, нет, почти выкрикнула:

— Ты уже слышала?

— Нет. А что такое?

— Его сделали президентом, Фрица, твоего отца, у них и вправду хватило наглости, они его выбрали, я только что слышала по радио; так что долго рассиживаться не могу, надо скорей домой, он там один. Теперь нам крышка, ни минуты покоя, все на людях. Блямп своего добился.

— Господи, кто бы мог подумать, папа ведь уже старый и болен.

— Зато им он прекрасно подходит, сама знаешь: седенький, добренький, культурный, ведь Плифгер наотрез отказался. А он у нас обходительный, и голос по радио очень даже бодрый, я сама слышала. Он, конечно, делает вид, будто для него это большая честь. Доверие, ответственность и все такое.

Но ты-то, доченька, ты, оказывается, беременна, и уже на шестом месяце, а мы ничего не знаем!

— Значит, Гребницер все-таки проболтался?

— Да нет, Блямп нам сказал, это надо же, именно Блямп, он вычитал в какой-то спортивной заметке, Гребницер нам только месяц сказал, а что тут плохого? Почему ты скрывала? Ты что, не хочешь ребенка?

— Ну что ты, мама... — С ума сойти, про ребенка такое сказать.

— Тогда в чем дело? Что-нибудь с Эрвином?

Она кивнула — прямо в прихожей, двери настежь, но она кивнула, хотя что скажешь кивком, очень много и ничтожно мало, все и ничего. Разве объяснишь, как тошно, как противно ей всякий раз после исполнения пресловутого супружеского долга, не столько даже до или во время, а именно после, когда он болтает без умолку, ни секунды не способен помолчать и полежать тихо, просто молча, — а сперва все эти механические, заученные ласки, такие чужие, будто взятые напрокат, весь этот бездарный спектакль, упоение ролью «опытного мужчины», «бесподобного любовника», тогда как Хуберт — да, в такие минуты она думает о Хуберте, не может не думать, пусть это мучительно, пусть бесстыдно, ей все равно, — он просто гладит ее лоб, брови, ворошит ей волосы, иногда даже смущенно трогает ее за кончик носа, Хуберт, который так ласков, тих и нежен вначале и так спокоен и серьезен потом, — а у Эрвина вечно эти жалкие, вымученные, идиотские остроты, все, ну просто все до единой позаимствованные из лексикона радиослужбы дорожного движения! «Опять мы пренебрегли правом преимущественного проезда, ха-ха-ха!» «Зато в этот поворот мы вписались классно!» — разве объяснишь Кэте, разве кому-нибудь объяснишь, тем более судье на бракоразводном процессе, до чего могут довести эти попугайские шуточки, когда ты и так через силу выплываешь свой злополучный супружеский долг? А он, судя по всему, так ценит свое чувство юмора, что просто не может без них. Шуточка до: «Зеленый свет — и никаких запрещающих

знаков!» Шуточка после: «Все пробки и шлагбаумы позади, приехали, можно вылезать — ха-ха-ха!»

— С Эрвином нелады? Но это, наверно, нормально, на шестом-то месяце? То есть, это, конечно, серьезно, доченька, но ведь не окончательно?

— Ах, мама, я не могу с ним больше жить, видеть его не могу! Я сейчас же еду с тобой в Тольмсховен, только вот Кит возьму, — она горько усмехнулась, — и еще, пожалуй, вязанье.

— Что значит: не могу жить, не могу видеть? Во время беременности это бывает сплошь и рядом, в таких случаях жена просто уезжает погостить к маме!

— Это я и намерена сделать, вот только Кит соберет своих кукол...

— Как? А чай? А полчаса поболтать с мамой?

— Нет. Никакого чая. А поболтаем по дороге, да и дома успеем наговориться. И потом, мама, неужели ты так и не научилась считать: если я на шестом месяце, когда, по-твоему, я, ну, скажем так, зачала?

— Месяцев пять назад, я полагаю.

Она решительно не понимала, в чем дело, эта милая, пожилая женщина, которую годы только красят, только облагораживают, она была единственной из всех «правленческих баб», как называет их Эрвин — и тут он, как ни странно, одного мнения с Рольфом, — единственной, на кого приятно посмотреть, кто выделялся и вкусом, и манерами, вот разве что прическа иногда подкачает, наверно, девочкой она мечтала о локонах и до сих пор не вполне изжила эту мечту, но в остальном — выделялась и осанкой, и речью, и каким-то особым достоинством, а ведь всего-навсего дочь обнищавшего садовника из Иффенховена, который вконец прогорел на своих экспериментах с розами и тюльпанами, потому что совершенно не умел считать, как не научилась считать и его дочь Кэте, хотя ей это важное умение очень бы пригодилось, а уж в таких вещах способность к счету ей и вовсе отказывала; она искренне недоумевала, почему всех так веселит рождение младенца уже через пять-шесть месяцев после свадьбы, она

так и не догадывалась, что она, Сабина, ну да, уже до свадьбы, хотя ведь и она сама, как нетрудно подсчитать, если, конечно, Рольф не из достославной когорты семимесячных, тоже уже до свадьбы; но, черт возьми, должна же она сообразить, что девять месяцев — это девять, а пять — это пять и что если она сейчас на шестом, значит, никак не могла она забеременеть от Эрвина, о чем Блум, конечно, давным-давно догадалась, ведь летом мама сама над ней подтрунивала: твой Эрвин, мол, совсем от рук отбился, вон как надолго сбежал...

— Нет, мы уедем сегодня, сейчас же, а вязанье ты мне одолжишь. И потом, мама, неужели ты не помнишь, где был Эрвин пять месяцев назад?

Наверно, нельзя было вот так сразу, точно обухом, — Кэте раскрыла рот, побледнела, выронила кулек, из которого рассыпалось печенье, как раз в том углу, где она в последний раз, прощаясь с Хубертом, вверилась ему, между зеркалом и дверью туалета, там, где на стене приклеен омерзительный рекламный плакат «Пчелиного улья», семейного предприятия Фишеров: молоденькая красотка нагишом входит в улей, а выходит разодетой в пух и прах. «Улей — наряды для Евы» — только сейчас, стоя перед матерью, она вдруг подумала, какая жуткая нелепица этот плакат: кто же по доброй воле полезет нагишом в пчелиный улей, кто поверит, что там шикарные платья, когда любому дураку ясно, что там разъяренные пчелы? А Кэте, до которой наконец-то дошло, уже не бледная, сняла очки, подобрала кулек и сказала:

— Нет, доченька, быть не может, чтобы ты... — Но, к счастью, против ожиданий, не задала самого простого вопроса, которого она боялась больше всего: «Кто же он?»

— Да, я, — ответила она как можно спокойней. — Я потом, после все объясню, а сейчас, мама, милая, пожалуйста, прошу тебя, уедем отсюда, видишь, Кит уже и кукол собрала. — Больше всего ей сейчас хотелось выкрикнуть в это родное, такое испуганное, такое невинное лицо одно из словечек Эрны Бройер, они куда честнее и пристойнее прибауток Эрвина, скабрзностей Фишеров, и тут она вдруг поняла: еще одно ее

подгоняет, ведь там, в Тольмсховене, Хуберт, им надо срочно поговорить, и, конечно же, она никому его не выдаст, никому не назовет его имя, хотя бы из-за Хельги и Бернхарда, никому!

А еще — почему бы не подумать и об этом? — из-за его работы, из-за его службы; выгнать его, конечно, не выгонят, но если все раскроется, неприятности у него будут наверняка, начальству все это вряд ли понравится, тем более что он ведь был «при исполнении».

— Ну, хорошо, — решила Кэте, — тогда едем, я тоже спешу, Тольм там один и, наверно, совсем убит, надо его утешить. Теперь-то мы уж точно попадем под первую степень безопасности. — И неожиданно шепотом спросила: — Она не звонила больше?

— Нет.

— А мне звонила. Застала меня у Кольшрёдера и знаешь что сказала? «Никогда не ходите на чай к Блямпу». И больше ничего, а когда я ей сказала: «Возвращайся, деточка, приезжай!» — она мне ответила: «Не могу, и рада бы, да не могу» — и все.

Кит уже радовалась печенью, предстоящим прогулкам с дедушкой, каштанам, которые они будут жарить на костре. А Блюм все плакала, не то чтобы с горя, скорее просто так, «от чувств», а когда Кэте пристально на нее глянула, смешалась и вдруг спросила:

— А с молоком что делать?

— Спросите у мужа, может, он будет молоко, или кашу, или молочный суп. Если нет — отдайте Хермсфельду или разлейте по мискам и отнесите кошкам к дому Бройеров, там сейчас пусто. И не надо плакать, ладно?

Она попросила водителя ненадолго остановиться у часовни, зашла, вытерла глаза, успокоилась, ей как-то сразу стало легче, почти легко; нет, Хуберта она удерживать не станет, если он, конечно, сам не захочет. Так будет лучше для Хельги, для Бернхарда, ведь у мальчика скоро первое причастие. А цветов у мадонны больше чем достаточно, Беерецы, Блюм,

женщины Хермансов позаботились об этом еще в месяц Розария*, они частенько приходили сюда помолиться, иной раз даже и без священника, и она приходила тоже.

И хотя водитель, новенький, которого Сабина и видела-то в первый раз, все мог услышать, Кэте сокрушенно вздохнула:

— Ах, детка, детка. — И, покачав головой, уже шепотом добавила: — Господи, до венчания, когда любишь и скоро свадьба — это еще куда ни шло. Но чтобы в браке — и с другим?

III

Блуртмель все приготовил, проследил за температурой воды, добавил эссенций, помог раздеться, расшнуровал ботинки: нагибаться ему страшновато, Гребницер советует резких наклонов вовсе избегать: куртку, брюки, исподнее — это все он может сам и помогать себе не позволяет, а вот носки и ботинки приходится препоручать Блуртмелю, и в ванну тот ему помогает влезть, а по сути — почти несет его в ванну, приговаривая:

— Опять вы похудали, опять как перышко, мне ведь весов не нужно, я и так чувствую — грамм шестьсот-семьсот сбросили, не меньше.

И конечно же, едва он коснулся воды ногами и ягодицами, тут же напомнил о себе мочевого пузыря (попытка уладить это дело до купания, как обычно, кончилась ничем), пришлось, завернувшись в полотенце, снова плестись в туалет. Блуртмель тем временем колдовал над ванной, проверил ладонью температуру воды, добавил горячей, плеснул еще немного эссенции.

Он оборудовал ванную с таким расчетом, чтобы видеть в окно, которое специально для этой цели пришлось пробить пониже, кроны деревьев и небо — оно здесь почти никогда не бывает голубым. Сегодня, судя по всему, ветер с юго-востока, в окне, уже превратившись в облака, проплывают шлей-

* Цикл молитв у католиков, праздник Пресвятой Девы Марии Розария — 7 октября.

фы электростанций, с виду совершенно безобидные облака, идиллические, совсем как настоящие, как на полотнах голландцев, как у раннего Гейнсборо или Констебля*, но в двенадцати километрах к западу они вбуравились в небо столбами дыма, совершенно безвредного, как клятвенно заверял его Кортшеде, потому что это не дым, а просто водяной пар, из которого ведь и образуются облака, так что это всего лишь «погода»; а когда ветер с севера или с северо-запада, небо ясное, безоблачное, но какое-то белесое, и только в редкие дни — он все никак не соберется подсчитать, сколько их в году, — небо по-настоящему голубое.

Блуртмель присел сбоку на табуретке, зная, что он не выносит, когда кто-то за спиной, зная и о том, что этот панический страх у него с войны, после нескольких особо стремительных отступлений, которые правильней было бы назвать бегством. Стрельба за спиной куда противней, чем спереди, когда видишь, откуда стреляют. Но быть может, — это уж деликатная теория Блуртмеля — у него и вправду привитый еще со школы «комплекс спартанца», от которого ему уже не избавиться — боязнь позора. Если и вправду так, тогда этот комплекс глубоко засел, впрочем, не так глубоко, как молочный суп, исповедь, «один или с кем-то»; от позора его Бог миловал, а вот страх — страх всегда при нем. Все-таки его тогда разок зацепило, но к его же благу, иначе он не попал бы в Дрезден в госпиталь, не встретил бы Кэте, да к тому же и рана оказалась лучше некуда, как по заказу, не тяжелая и не слишком болезненная, но в то же время не какая-нибудь пустяковая царапина, с которой ни о чем, кроме полевого лазарета, и мечтать не смей. В Дрездене он только одного боялся: как бы не стало известно про «постоянно действующий приказ», который он, командир батареи, отдал своим солдатам: «Только они появятся, только их увидите — всем драпать, немедленно драпать!» Сам-то он, будто капитан на корабле, почти до конца проторчал на посту, успев прихватить с собой

* Томас Гейнсборо (1727—1788), Джон Констебль (1776—1837) — английские живописцы.

лишь сигареты, пистолет и карту, он был потрясен чудовищным превосходством неприятеля в живой силе и танках, какие там «русские голодранцы» — все ладные, в опрятной форме, судя по всему, его так никто и не заложил, даже Плон, его лейтенант, хоть и кричал непрерывно о «войне до победного конца», но, слава богу, видно, и сам не верил. Дрезден, Кэте...

Сегодня за завтраком, собираясь на последнее заседание — у Кэте это называлось «опять в лабиринт, опять к своему Минотавр^{*}», — он уже не в первый раз заметил, какие похожие у них глаза, у Кэте и у Рольфа. У нее, правда, чуточку посветлей, посветлей на едва уловимый оттенок, но и в ее зрачках та же дымка нездешней скорби и те же глубины отчаяния, подернутые, правда, иной раз ветерком легкомыслия и бесшабашного озорства. Ведь советовала она ему сразу же сбывь с рук «Листок», не продавать Айкельхоф, стать директором музея, а то и министром по делам культов, на худой конец — окружным советником по культуре, шансы у него были, англичане его уважали, да и партию он бы себе подыскал; по ошибке интернирован, незаслуженно принял лагерные муки — все это только укрепило его безупречную репутацию, а нацистом он и правда никогда не был. Случайно? Он и сам толком не знает; то есть, конечно, все было омерзительно, тут и вопроса нет, годами он, с помощью графини, перебивался уроками, подрабатывал в замках и архивах, каталогизировал частные коллекции, пописывал статейки для журналов, пока не началась война и его не забросило в артиллерию. Страх он познал и до армии, страх неизменно караулил за стенами библиотек, архивов, импровизированных домашних классов, где он давал частные уроки, страх подстерегал на улице, куда все же приходилось выбираться хотя бы в поисках женщины; он вспомнил о замковых архивах, епископских библиотеках, о чудаковатых церковниках, эти самые милые; вспомнил о милостях, которыми одаривали его молоденькие учительни-

* В греческой мифологии Минотавр — чудовище, заключенное критским царем Миносом в лабиринт, куда афиняне были обязаны раз в девять лет доставлять ему для съедения семерых юношей и девушек.

цы и официантки, а он, надо надеяться, одаривал их; вспомнил о томных взглядах, которые, случалось, бросали на него иные баронессы, хозяйки замков, — его эти взгляды пугали до смерти, хоть он и увлеченно осваивал «помилуем друг друга» с графиней, но ведь, в конце концов, Герлинда была не замужем. Прямого давления он никогда не ощущал и до сих пор не знает, как и до какой степени он бы такому давлению уступил, не знал и в ту пору, когда принял «Листок»; он и сам стеснялся своей политической безупречности, которую англичане просто приняли к сведению и уважали, втайне изумляясь, как такое вообще возможно. Иногда — не слишком всерьез — он прокручивал в мыслях свои возможные биографии директора музея, а то и министра, с резиденцией в Айкельхофе: что ж, «доходов» им бы вполне хватило и так, а многое, очень многое могло бы, да, могло бы выпасть совсем иначе — Рольф, возможно, не угодил бы в тюрьму, Сабина не познакомилась бы с этим подонком Фишером, а Герберт, вероятно, не вырос бы таким недотепой; не исключено, что и Вероника и Генрих — ну да, наверно, все они в глубине души чересчур иронично относились к «Листку», он сам, Кэте, дети, друзья, — да, завести музеем было бы в самый раз, министр — уже перебор, сидел бы по уши в партийном дерьме.

Он вдруг задумался, отчего Вероника всегда звонит только Кэте, ему ни разу не позвонила, и невольно усмехнулся: уж не ревнует ли он из-за того, что она ему не звонит, всегда только Сабине и Кэте, даже Рольфу никогда, Рольфа она, наверно, боится, и уж тем паче, даже потехи ради, не звонит этому Эрвину Фишеру, которому и сам он позвонил лишь однажды, да и то когда, что называется, приперло, просил дать Рольфу хоть какую-нибудь, пусть самую завалящую, работу в «Пчелином улье», можно грузчиком, можно дворником, все равно. Но нет, Фишер наотрез отказал, очередной раз сославшись на имя Хольгер, которым нарекли младенца уже «*после того*», да еще и добавил, что «не позволит этому типу сеять среди своих рабочих красную заразу». Но ведь Хольгеров на свете сколь-

ко угодно, был же и Хольгер Датчанин*, и премьер-министр по имени Хольгер, есть, наконец, и граф Хольгер фон Толм, который до сих пор мыкается где-то между Малагой и Кадисом, пытаясь (как он выяснил, по большей части безуспешно) соблазнять богатых туристок, преимущественно англичанок и шведок, а немок только на самый худой конец. С другой стороны, может, это и правда глупое упрямство — нарекать в наши дни и второго сына именем Хольгер?

Так отчего же Вероника ни разу не позвонила ему? Ведь он ничего худого ей не сделал, она всегда была с ним мила, он отвечал ей тем же, разве что никогда не делал того, что, вероятно, делали Кэте и Герберт, — не давал ей денег. По части денег у Кэте вообще очень уж легкая рука, она гораздо щедрее, чем он, и ведь не скажешь, что это от родителей: его отец, одержимый манией землевладения, половину своего скудного жалованья откладывал на бросовые земли. Отец Кэте тоже был всего лишь садовником, вечно в долгах, а ее мать вечерами тайком убиралась в магазинах, тайком — чтобы соседи, не дай бог, не увидели, хотя все в округе и так прекрасно знали, что она подрабатывает уборщицей. Жили очень скромно, пожалуй, даже скромнее, чем его родители, и тем не менее у Кэте никаких денежных комплексов, она не стесняется своих денег, но и не кичится ими, оставляя иной раз внушительные суммы у портнихи или отправляясь в кафе Гецлозера на такси.

Сабина денег Веронике не давала наверняка, об этом уж Фишер позаботился, он держит ее довольно строго; этот раздобрится и раскошелится только на что-то доходное или престижное: на платья и лошадей для Сабины, чтобы фотографировать ее для журналов, то одну, то с Кит, внучкой, его любимицей, которую он так редко видит; у Фишера хватило невозмутимости и бесстыдства устроить так, чтобы Кит, четырехлетнюю малютку в жокейской курточке, выбрали «ребенком мая». «Ребенок месяца» — это было его последнее фирменное изобретение: раз в месяц все газеты и журналы, от солидных до бульварных, помещают фото избранника или

* Герой одноименной сказки Г.-Х. Андерсена.

избранницы, иногда эти снимки, увы, проникают и в «Листок», повсюду, со всех страниц и витрин глядит одно и то же очаровательное созданище, с головы до ног одетое в продукцию «Пчелиного улья», а кто же не знает, что «Пчелиный улей» — это Фишер. Прелестные детки, то задумчиво-мечтательные, будто прямо с полотен Ренуара или Рубенса, то фривольно-дерзкие, словно их уже обучают стриптизу, одетые то нарочито строго, то с артистической небрежностью, иногда и на заграничный — андалузский, сицилианский, а недавно, в честь Олимпиады, даже и на русский манер, но неизменно с фирменным ярлычком «Пчелиного улья». А потом из двенадцати «детей месяца» выберут «ребенка года», и именно от Блямпа, который вычитал это в газетах, он должен узнавать, что Сабина беременна, это пропечатано в спортивной хронике в связи с какими-то скачками, Амплангер уже прислал ему вырезку: «Одна из главных наших надежд, Сабина Фишер, к сожалению, выступить не сможет, она готовится стать матерью». Так вот и узнаешь о событиях в собственной семье, о своем новом потомстве; нетрудно представить, как разъярится, но и возликует Рольф, если ему попадет эта заметка, в которой он усмотрит «омерзительную блевотину», но вместе с тем и еще одно «саморазоблачение системы», «неуклонный рост проституционных тенденций».

Блуртмель спустил немного воды, добавил горячей, жестом велел ему подвигать ногами: в воде ноги и вправду куда послушней, они становятся легче, они бы и остались такими, если бы не «Листок», который свинцом разлился в суставах, — легконогий директор музея, легконогий, нет, все же вряд ли министр, но, как знать, быть может, государственный секретарь. Птицы в сером небе среди обманчиво белых облаков, идилических, вспененных, пушистых, будто созданных самим Господом Богом, а не исторгнувшихся клубами из труб электростанций; белые, бестревожные, переменчивые, они плывут и плывут по бескрайнему небу, будто держат свой путь вечно, хотя на самом деле родились совсем недавно, только что, в Хетциграте, родились из угля, что пластами залег под

Айкельхофом, но ведь и пласты созданы Господом Богом, так что в конечном счете в божественности облаков не приходится сомневаться. Дивный день, если бы не облака, сейчас он уже чуть подернут первыми вечерними сумерками, и даже ласточки изредка мелькают в окне, из длиннокрылых ему милее всех ласточки, особенно стрижи, стремительная и красивая птица, ловкая, ладная и интеллигентная. Но главные его любимцы — пернатые хищники: соколы, канюки, ястребы. Особенно соколы, они до сих пор гнездятся в башне замка; куда им, беднягам, податься, когда сбудется прорицание Кортшеде, куда направят они, нехотя помахивая крыльями, свой плавный и неторопливый полет, свое царственное парение? И опять — неотвязно — воспоминание о сове, которая с наступлением сумерек отделялась от стены и летела к кромке леса, бесшумно, уверенно, целеустремленно. Иногда в окне мелькают и голуби из голубятни Коммерца, но странно — голуби ему не нравятся, не нравится их воркованье, их возня в нишах стены, где они высидывают потомство, не нравится их суетливый полет, и он, глядя в прямоугольник окна на серое, в белесых разводах небо, долго еще раздумывал, почему ему так милы хищные птицы, — Блуртмель время от времени проверял его пульс и кивал головой в знак того, что все в порядке.

Как хотелось бы ему провести остаток дней за такими невинными занятиями: наблюдать за полетом птиц, пить чай, смотреть на Кэте, когда она вяжет, слушать, как она в своей изумительной дилетантской манере (у нее это называлось «от души») играет Бетховена, — а у него вдобавок к одному бессмысленно необъятному кабинету в «Листке» теперь появится второй, столь же бессмысленно необъятный, и ему надлежит и тот и другой заполнять своей «персоной», а он даже не знает, что его дочь ждет ребенка, и кроме Блямпа, который узнает об этом из спортивных новостей, больше, конечно же, некому ему об этом сообщить; да, потомок, хотя и не будущий Толъм, а всего лишь будущий Фишер. Ну, ничего, один-то потомок по фамилии Толъм у него точно есть, его зовут Хольгер, и он

частенько дает ему повод для весьма любопытных размышлений по части правонаследования: если они укокошат Рольфа как ренегата, а его самого — как новоизбранного президента, этому семилетнему мальчонке, прямому наследнику Рольфа, достанется очень даже приличный куш, мальчонке, которого он уже три года не видел, с которым он, когда тот еще только-только научился лопотать, ходил в парк кормить уток, как недавно с Кит. Ходил, кормил, даже это ему теперь «не рекомендовано», с тех пор как совсем недавно одна утка, отделившись от стаи, что так красиво бороздила темную гладь пруда, абсолютно противоестественно, будто заводная игрушка, поплыла прямо к берегу, и молодой сотрудник охраны Тёргаш выскочил из кустов с криком «Ложись!», опрокинул его и Кит на землю, сам ничком бросился рядом, — а утка, которая, как потом выяснилось, была всего лишь деревянной «подсадкой», тем временем благополучно завершила свое противоестественно-целеустремленное движение, уткнувшись носом в островок прибрежной осоки и еще более противоестественно завертевшись на одном месте. Тёргаш, понятно, принял ее за плавучую мину, которую замаскировали под утку или в утку спрятали. К счастью, его опасения не подтвердились, но Тёргаш провел тщательное расследование, результат которого — заплаканная и во всем признавшаяся молоденькая кухарка: оказывается, она обнаружила утку в подвале, отмывала и «пустила поплавать», просто так, «потехи ради», как она выразилась. Ему с трудом удалось предотвратить увольнение девушки и шумиху в прессе, да и то лишь под тем предлогом, что разглашение инцидента может навести злоумышленников на «опасные идеи». С тех пор он недоверчиво относится к уткам и вообще к птицам, за которыми прежде так любил наблюдать. А что, ведь вполне можно изобрести механических птиц с дистанционным управлением, он живо представил себе, как такая птица, начиненная взрывчаткой, внезапно спикировав, переходит на бреющий полет и влетает в открытое окно, неся в своем искусственном брюшке, в своей искусственной грудке смерть и разрушение. Ласточек, видимо, можно исключить,

воробьев и дроздов тоже. Но голубей и ворон уже, пожалуй, нет, аистов — тем более, а ведь есть еще дикие гуси, целые стаи механических птиц, начиненных смертоносным грузом, и недавно он не удержался от соблазна именно в разговоре с Блямпом как бы невзначай вернуть: «Даже птицам небесным и то нельзя доверять». На что Блямп с готовностью отозвался: «Даже тарту, который тебе присылают от кондитера». Да, после случая с именинным тортом Плифгера всем им пришлось сесть только на домашнюю выпечку, изготовление которой осуществлялось если и не под прямым надзором, то с соблюдением всяческих мер крайней предосторожности.

Во всей этой истории с тортом прослеживалась редкостная изощренность замысла в сочетании с педантизмом исполнения: ведь кто-то должен был разузнать, какому кондитеру заказан торт, каким маршрутом его доставят, в точности определить время, когда опускается шлагбаум, чей-то голубой «форд» всю дорогу маячил перед фургоном кондитера и нарочно притормаживал, подведя фургон к переезду точнехонько в ту минуту, когда шлагбаум стал опускаться; этот голубой «форд» постоянно оказывался перед фургоном кондитера именно на тех участках, где обгон запрещен, а на переезде торт подменили, вместо настоящего подложили другой, «с начинкой», настоящий же потом нашли в урне неподалеку от шлагбаума, и если бы кто-то не позвонил Плифгеру и не предупредил его (он по-прежнему надеется, что это была Вероника, она любит звонить) — страшно подумать... На такое способен только Беверло, не зря Вероника сказала: «Он считает, считает, считает без конца». Торт был скопирован точь-в-точь, «нашему дорогому шефу к 65-летию», и ничто, ничто — ни допросы самого кондитера, членов его семьи, его учеников, помощников и соседей, ни тщательное обследование телефонной проводки — не выявило ни одного подозрительного лица. Дамы из управления — ведь они заказывали торт, и надпись, и украшение (незабудки на сахарной глазури) — были навзрыд, до икоты: торт был точь-в-точь такой же, все совпало тютелька в тютельку, даже вес, и если бы Плифгер, как

предполагалось, торжественно его взрезал, его разорвало бы в клочки, беднягу Плифгера, его предшественника, так что «нельзя верить даже хлебу, который подают тебе на стол, и даже пачке сигарет, которую ты вскрываешь...» Это уже после случая с Плутатти.

Денег, хотя бы тех, что подбрасывает им Кэте, у них вполне хватит, чтобы вывести таких птичек, а уж фантазии им и вовсе не занимать, особенно Веронике; смастерят стаю диких гусей, штук тридцать (шелест крыльев в ночи!), направят на замок — эффект будет не хуже, чем от самой наисовременной «катюши». А почему нет? В наше-то время, когда изобретены крохотные и проворные электронные роботы, на которых — среди прочего — Блямп зашибает свои денежки, и, конечно же, он ни с кем этой своей тревогой не поделился, даже с Кэте, тем более с Блямпом, иначе тот немедленно поручит кому-нибудь из своих высококвалифицированных физиков или инженеров «обмозговать идейку», пусть только из «чисто теоретического интереса», ради «оживления баллистической дискуссии», посмотреть, что получится, — а вдруг какое-нибудь новое, фантастически эффективное оружие?

А Хольцпуке под этим предлогом, чего доброго, еще додумается забрать все пространство вокруг замка и небо над ним в металлическую сетку — и не будет ни птиц в небе, ни облаков, пусть даже они из труб Хетциграта. Нет уж, лучше спокойно наслаждаться и видом парка, и небом над головой, собственноручно доставать сигарету из пачки и самому задуть спичку, которой он эту сигарету зажжет, лучше и дальше кормить вместе с Кит уток, бросая им крошки с террасы. Оттуда, с террасы, крошки можно бросать далеко, дирижируя движением стаи, радуясь прихотливым узорам, которые чертят на воде жадные до хлеба птицы, — а ночью сова, сычи, летучие мыши, полет которых все еще остается для него загадкой. Во сне прилетали орлы, стервятники, огромные, с несусветным размахом крыла, они летели уверенно, пикировали стремительно и зло, прямо на него, грудь в грудь, и при столк-

новении взрывались — вспышка огня, дым и грохот, который еще долго гремел у него в ушах, когда он, уже проснувшись, молча лежал рядом с Кэте, взяв ее за руку и ища успокоения в ее тепле, в ровном биении ее пульса. Или тихо вставал, звонком вызывал Блуртмеля, и тот растирал, массировал ему окоченевшие ступни, да и на следующий день бывали минуты, когда он вздрагивал при виде голубя, ласточки, а то и воробья, подлетающего к замку, и с трудом сдерживался, чтобы не завизжать, как тогда Кортшеде.

Блуртмель напомнил: «Не пора ли, господин доктор?» — помог ему выбраться из ванны, лечь на массажный столик для растирания бальзамами и мазями, набросил на него махровую простыню, досуха растер все тело, деликатно прикрывая срам, и жестом предложил подвигать ногами в воздухе, у него это называлось «воздушный марш»... Это, разумеется, очень даже непростая техническая проблема: сконструировать аппарат, который бы в точности, до неразличимости имитировал все движения летящей птицы — возможно ли вообще воспроизвести все нюансы этих движений, не поступившись главной функциональной задачей: ведь в «птице» надо еще разместить и спрятать взрывное устройство, которое к тому же должно сработать? Но ведь механических заводных птиц уже делают, тут он вспомнил об одном разговоре с Вероникой, еще в Айкельхофе, на террасе, Вероника тогда утверждала, что искусственные птицы летают «гораздо натуральней» настоящих, а уж заводные игрушечные птицы и подавно «бегают куда естественней, чем живые».

Одним прикосновением своих мягких рук Блуртмель остановил «воздушный марш» и принялся втирать мази, начал с пяток, попросив, «если будет хоть чуточку больно, сразу же сказать», вскоре выразил удовлетворение, констатировав удивительную расслабленность мышц, — наверно, оттого, что исчез страх, на смену которому пришли воображение и любопытство; ему было хорошо, мазь и волшебные руки Блуртмеля делали свое дело; но в ту же минуту, приподняв голову — отсюда он мог разглядеть даже террасу и ров с водой, — он

подумал: а что, если это все-таки Блуртмель? Ведь есть же эти таинственные крохотные булавки, которыми выстреливают прямо в мозг... Да и почему, в конце концов, не Блуртмель, кому известно, что гнездится, что зреет в потаенных глубинах его души, какая вспышка внезапной ярости судорогой сведет его пальцы на горле жертвы? Уж Блуртмель достаточно сведущ в анатомии (зря, что ли, посещал специальные курсы), чтобы скрыть следы удушения и инсценировать смерть в результате несчастного случая. Кто он на самом деле, этот милый человек с красивыми, сильными, чуть жилистыми руками и грустным мягким взглядом, который невесть почему подчас роднит массажистов и священников? Что, в конце концов, значит «проверенная анкета»? Родился в 1940-м в Катовице, фамилия родителей — Блутвицкие или что-то в этом духе, учился в католическом интернате, но «вследствие разочарования в послевоенном развитии страны» прервал обучение, покинул родину и, отрекшись от своей национальности, взял себе странную фамилию — Блуртмель, этимологию которой никто, в том числе и он сам, до сих пор не в состоянии разъяснить. На Западе в школу не поступал, от всех социальных поощрений и вспомоществований отказывался, обучился на санитаря и, хотя проявил, как утверждали все, кто имел с ним дело, явные способности к медицине, завершать школьное образование и поступать в университет не захотел и позже обрелся где-то на юге, в Альгёе, у монахинь, зачем-то приобрел очень мощный и дорогой мотоцикл, на котором в основном и проводил свободное время, без видимой цели (действительно ли эти поездки были бесцельными или только казались таковыми, с окончательной уверенностью установить не удалось) колесил по окрестностям, ездил в Мюнхен, Гамбург и Берлин («восточных контактов» не зафиксировано), потом поступил на службу (одновременно слугой, массажистом и шофером) к епископу, у которого проработал десять лет, пока епископ не отрекомендовал его Тольму. Епископ Блуртмеля ему, можно сказать, почти подарил, ибо Блуртмель, по его словам, «незаменим, просто незаменим, но тебе, так

и быть, отдам, если он, конечно, захочет, тебе он гораздо нужнее, чем мне, на твоём-то посту!» Епископа он знал ещё со времен своих частных уроков и по искусствоведческому факультету, тот защищал диплом по Босху, да и на фронте их дорожки пересеклись, будущий епископ был тогда фельдфебелем артиллерии — хотя вообще-то ему всегда не по себе, когда епископы заявляются к ним в Объединение этаким сомкнутым строем, так сказать, наносят визит, поскольку им «надо поддерживать контакт со всеми общественными группами», — ему не по себе от легкой примеси подобиюстрастия и панибратства в их жестах и интонациях, в которых так и сквозит: «Мы ведь в одной лодке!» Почему, собственно, в одной? В какой такой лодке? А с проститутками, выходит, не в одной? Но нет, этот епископ действительно милый, у него обыкновенное имя Ханс и какая-то ещё более простецкая фамилия, он по-прежнему интересуется Босхом и искренне хотел ему удружить. Так вот, Блуртмель согласился, поступил в 1971 году к нему на службу; вскоре выяснилось, что он действительно незаменим и по сочетанию способностей (шофер, слуга, массажист), и по складу характера, он оказался в высшей степени деликатным, этот стройный, симпатичный и тихий человек, призванный скорее быть монахом, чем слугой (хотя кто сказал, что одно исключает другое?), у которого, казалось, не может быть и намека на личную жизнь, но, однако, личная жизнь у него была: мать, которой он помогает, сестра, к которой он время от времени навещается, обе сохранили свою звучную польскую фамилию и живут неподалеку от Вюрцбурга, безобидные гражданки, абсолютно вне подозрений, муж сестры даже служит в полиции; оказалось, что у Блуртмеля — вот уж сюрприз так сюрприз, Тольм всегда считал его платоническим гомосексуалистом, если не вообще бесполом существом, — есть даже подруга, тридцатилетняя Эва Кленш, у которой он без стеснения проводит свои выходные дни, а также ночи, с которой он появляется на людях, ходит в ресторан, в кино и театр; вот уже десять лет, ещё со времени службы у епископа, это его давняя и прочная привя-

занность. Эва Кленш, которая держит во Франкфурте восточный магазинчик (израильские, турецкие, палестинские тряпки, безделушки, сувениры и прочее барахло), ездит, по мнению экспертов службы безопасности, довольно часто (на взгляд Хольцпуке — что-то уж слишком часто), на Ближний Восток и даже организовала при каком-то лагере палестинских беженцев целую службу надомниц — так вот, эта Эва Кленш не то чтобы была под подозрением, вовсе нет, но и в рубрику «абсолютно вне подозрений» тоже никак не попала, из-за чего и Блуртмель при всем желании не мог сподобиться чести числиться в этой рубрике, так сказать, безоговорочно. Кто ее знает, чем она там занимается, о чем шушукается, что на что меняет и обменивает в темных закоулках Бейрута и его окрестностей, что закупает на окраинах Наблуса, Дамаска или Аммана. И хотя на таможне ее всегда можно было досмотреть, а то и с пристрастием обыскать — ибо тут если не политика, то ведь не исключен и героин, гашиш, да мало ли что, — эти абсолютно законные, хотя и предельно тщательные досмотры и обыски не выявили ничего, ровным счетом ничего подозрительного в деятельности Эвы Кленш, хорошенькой, уверенной в себе, деловитой и предприимчивой молодой особы, которая умела и абсолютно легально пользовалась перепадами курса американского доллара; и даже когда ее — разумеется, обычным порядком, на совершенно законных основаниях — подвергли налоговой проверке, инспекция не обнаружила ничего подозрительного, за исключением нескольких спорных счетов в графе дорожных расходов, но какая же ревизия не находит таких мелочей? Есть у нее и увлечение — стрельба из лука, она и тут преуспела, была чемпионкой то ли округа, то ли района, и всегда возит с собой в машине лук, мишени и стрелы. Разумеется, ее анкету тоже «подняли» и тщательно изучили: тринадцати лет, незадолго до сооружения берлинской стены, она вместе с отцом, электросварщиком, матерью, обмотчицей электромагнитов, и десятилетним братом, ныне — солдатом сверхсрочной службы, переехала на Запад, в Дортмунд, училась прилежно, успешно

окончила среднюю школу, работала сперва продавщицей, потом закупщицей в универмаге, уже в двадцать один год открыла собственную галантерейку, взяв довольно рискованные для своих скромных возможностей кредиты; но дело повела уверенно, сейчас у нее даже есть филиал где-то под Оффенбахом. Эта хорошенькая (деталь в криминалистическом отношении не совсем обычная, а потому тревожная) Эва Кленш два года назад под несомненным влиянием Блуртмеля, который познакомился с ней десять лет назад на митинге (еще один сюрприз) СДПГ, перешла в католичество. Обе эти детали — СДПГ и католицизм — почему-то не дают ему покоя. Не то чтобы он имел что-то против СДПГ и католицизма, если не считать комплекса исповеди, приобретенного стараниями Нупперца, нет, но как-то связь не улавливается, да и странно, почему Блуртмель до сих пор не женился на девушке, словом, что-то тут «не того», или он сам — и это, пожалуй, ближе к истине — уже «не того». И все-таки, как ни крути, лук и стрелы — это бесшумное оружие. Пока Блуртмель массирует ему затылок и шею, медленно подбираясь к плечам, где он подозревал целый «оплот ревматизма», Тольм очередной раз запретил себе мысленный экскурс в область любовных ласк Блуртмеля и Эвы, которые так занимали его воображение; как и подтвердилось, Блуртмель открыто симпатизировал социал-демократам, причем давно, еще со времени службы у епископа, его Эва, судя по всему, тоже; после того, как он, Тольм, поймал себя на мысли, что уже несколько месяцев буквально сгорает от любопытства, так ему не терпится взглянуть на фотокарточку этой Эвы (не просить же, в самом деле, Хольцпукке, чтобы тот раздобыл ему фото из своих архивов!), Блуртмель в один прекрасный день без всяких просьб, по собственной инициативе протянул ему фотографию, тихо добавил: «Вот она, моя подруга Эва», — и это «вот она» еще больше укрепило Тольма в подозрении, что его слуга, видимо, умеет читать мысли. На фотоснимке Эва оказалась на редкость привлекательной, довольно миниатюрной брюнеткой с соблазнительной грудью, веселыми глазами и интеллигентной улыбкой —

уверенная в себе, хорошенькая, ладная, в сапожках. С тех пор выяснилось также, что она, в отличие от Тольма, исправно ходит в церковь, иногда с Блуртмелем, но чаще одна, он тогда остается дома и готовит завтрак. Выходит, этот бывший епископский массажист, недоучка из католического интерната и заядлый мотоциклист, привел в лоно церкви молоденькую женщину, взросшую в местах, религии отнюдь не благоприятствующих.

Может, именно руки этой женщины, такие красивые, но, наверно, и достаточно ловкие, вручат Блуртмелю «то самое», переданное по сложнейшей и абсолютно неразгаданной цепочке палестинской конспиративной связи, что-то нашептанное в лагерях беженцев, потихоньку переправленное в Бейрут, зашифрованное, потом расшифрованное, чтобы угнездиться в мозгу Блуртмеля и вырасти, вызреть, прорваться внезапной роковой вспышкой. А в итоге — едва заметное движение пальцев во время массажа или в ванной, хрип, голова уходит под воду, пузыри... Ведь вот и Гребницер не рекомендует злоупотреблять водными процедурами, тоже, значит, не исключает возможность несчастного случая, а у палестинцев целая секретная служба, и его внук, вполне вероятно, уже говорит на их языке. Денег у них достаточно (тех самых, о которых иногда так спокойно рассуждает Рольф, внушая ему, что «это же ваши нефтяные денежки, текут из Ливии, Сирии, Саудовской Аравии, возвращаясь к вам же, но совсем другим товаром, — это так, к сведению, просто чтоб ты знал, сколько бед могут натворить деньги»).

Одно только неясно и потому отчасти успокаивает: какая им выгода убивать его вот так, без всякого шума — без бомб, пальбы, без «торта с начинкой»? Несчастный случай в ванной — что им это даст? Какой прок доказывать свою силу, не продемонстрировав ее публично?

Капиталист утонул в ванне — ну и что? Впрочем, доводы, которыми его порой пытается успокоить Кэте, — его общеизвестная доброта, его, можно сказать, почти официально признанная «человечность», — возможно, как раз и таят в се-

бе наибольшую угрозу. После него придет Амплангер, этот из новой формации: решительный, энергичный, в расцвете сил, так и пышет здоровьем, от одной улыбки дрожь берет; вот такой-то им и нужен для убийства с помпой, а его, следовательно, надо просто по-тихому устранить; Амплангер — это биржа, это олимпийская стрелковая команда, теннис, Цуммерлинг и несгибаемая твердость, та, что со скрежетом зубным. Может, им не терпится ускорить избрание Амплангера, — а он, какая он для них мишень? — слишком уж из него «прет» гуманизм, самокопание, этакая позднекапиталистическая скорбь; в конце концов, черт возьми, почему бы им не взяться за Блямпа, вот уж кто твердейший из твердых, ничем не прошибешь, он и бровью не поведет, ресницей не дрогнет, если узнает, что где-то в Боливии или в Родезии еще сотня-другая несчастных поддыхает с голоду — тогда как в нем, в Тольме, гнездится скорбь, первобытная, от праотцов, а «военные сводки» Рольфа, «системный анализ» Катарины постоянно дают этой скорби новую пищу; и, конечно, именно эта неподдельная скорбь, драгоценную телегеничность которой Блямп, несомненно, разглядел, и стала главным соблазном для тех, кто столь радостно, торжественно и подло забросил его на самый верх; но должны же «те», другие, понимать, что он пусть и плох в своих слабостях, но все же не худший из худших, хотя, быть может, в том-то и несчастье, что худшим из худших ему быть не дано, — и что означает таинственный шепот Вероники по телефону: «Никогда не ходите на чай к Блямпу»?

— Блуртмель, — спросил он вдруг, будто очнувшись, — вы верите в Бога? Да-да, в того самого, в Иисуса Христа?

— Конечно, господин доктор, а вы?

По негласному протоколу этот встречный вопрос был наглостью, вопиющим нарушением стародавних традиций службы, видимо, в Блуртмеле сработал некий социал-демократический элемент, даже на его взгляд Блуртмель тут далеко зашел, да и напугал его изрядно, потому что это совсем на него не похоже, тем не менее он ответил:

— Я тоже, Блуртмель, я тоже, хоть и не знаю в точности, кто он и где. Но тогда, уж извините за назойливость, позвольте задать вам еще один вопрос: что в этом странном мире поражает вас больше всего?

— Больше всего, — ответил Блуртмель без раздумий, ответил так, будто всегда носил в себе ответ на столь неожиданный вопрос, — больше всего меня поражает долготерпение бедных.

Сказано сильно, сразу повисла тишина, да, ответ крайне неожиданный, и, пожалуй, социал-демократы тут ни при чем, это куда древней и куда весомей, наверно, сидит в Блуртмеле давным-давно, а ведь произнесено даже без горечи: «долготерпение бедных» — какие глубокие, мудрые слова из уст массажиста. Он чуть было не спросил, но вовремя удержался — слишком банальный, омерзительно глупый вопрос: «А себя вы причисляете к бедным?» Он побоялся задать вопрос — по идее ответ мог быть только отрицательным, но почему-то полной уверенности не было. А что, если бы Блуртмель сказал «да» — какая могла бы тут развернуться дискуссия, целый философский диспут о бедности, и ему пришлось бы, хотя он терпеть этого не может, никогда не позволяя себе этого при детях, и при Кэте, кстати, тоже никогда, выставить себя подлинным ветераном бедности: вечная голодуха в студенческие годы, а дома, куда он приезжал на выходные, уже никакого молочного супа, одна картошка, во всех видах, чаще — потому что дешевле всего — в виде салата, ведь к вареной нужна была хоть какая-то подливка, а для жареной — хоть прозрачный лепесток маргарина; потому что отец окончательно свихнулся на своих участках, все больше урезал семейный бюджет, экономил на угле и на электричестве, — о, эти незабвенные пятнадцать ватт на кухне и в подвале, двадцать пять — и не жечь зря! — в гостиной.

— Беден тот, — произнес вдруг Блуртмель, — у кого земли ни клочка. Ну, а у меня, — он почти снисходительно улыбнулся, — как-никак половина участка, на котором моя подруга держит магазин. — Он заканчивал массаж, напоследок про-

шелся по всему телу, вот и заключительные шлепки по плечам и ниже спины, но тут он сказал, на сей раз уже с неподдельным огорчением: — Я бы продолжил процедуру, но чувствую в вас какое-то сопротивление, будто вы мне не доверяете.

— Нет-нет, — возразил он, принимая из рук Блуртмеля белье и рубашку, — ничего подобного. Просто я все гадаю, кто меня укокошит, кто и каким образом, вот в мыслях всех и перебираю, даже сыновей, и жену, и невестку, всех друзей, всех врагов, ну, и вас, конечно, наверно, что-то в этом роде вы и почувствовали.

— Кому же понадобится вас убивать? Вроде бы не за что.

— В том-то и дело. Но разве им нужны причины или тем более мотивы, связанные с конкретными лицами? Возьмите господина Плифгера — хороший начальник, отец семейства, словом, душа-человек, нет, личности их не интересуют, они в своем роде технократы, сперва дело, чувства потом, а так-то они, наверно, совсем не бесчувственные, такие же милые люди, как мы с вами.

Брюки он еще может осилить, а вот носки и ботинки нет, это уж пусть Блуртмель. Склонившись перед ним на коленях, Блуртмель вдруг глянул на него снизу вверх и изрек:

— Да, безопасности никакой, а от мер безопасности — никуда. Кстати, с вашего позволения, в субботу я мог бы представить вам мою подругу, госпожу Кленш, если, конечно, вам это удобно. Ваша жена любезно пригласила ее в гости.

— О, конечно, буду очень рад. Надеюсь, она остановится у нас, в замке?

— Ваша жена и господин Кульгреве любезно предоставляют в ее распоряжение гостевые комнаты.

Потом Блуртмель подал поднос, на нем чай, подсушенный хлеб, масло, лимон, икра. Кэте, вошедшая вслед за ним, выглядела уставшей и бледной, что бывает с ней редко. Да, он редко видел ее такой бледной, в последний раз, когда им сообщили об аресте Рольфа, хотя нет, было однажды и после, когда стало ясно, что Вероника исчезла. И такой усталой, почти старенькой, она тоже бывает редко. Он поцеловал ее, хо-

тел спросить: «Что с тобой?», но она погладила его по плечу и сказала:

— Не принимай близко к сердцу, ты никогда не умел отказывать, а тебя они тронуть не посмеют, тебя — нет, ты же такой добрый, это всем известно, и им тоже.

— Как раз потому и посмеют, очень даже посмеют, как раз потому.

С тех пор как им было не рекомендовано находиться на террасе («слишком открытая», «все как на ладони», если смотреть из леса, как объяснил им Хольцпуке, особенно с высоких деревьев, «просто тир», а он только-только провел сюда отопление и оснастил окна автоматикой, чтобы открывались и закрывались сами, ведь он так любит сидеть на террасе осенью и зимой, просто сидеть и поджидать сову), с тех пор как он категорически отказался ограждать лес и парк от посторонних посетителей — свободный доступ в лес и парк был давним, исконным правом всякого простолюдина, никто из графов фон Тольм, даже самые отъявленные скупердяи и самодуры, не отваживался на это право посягнуть, проверять же (а тем паче обыскивать) каждого, кто приходит сюда погулять (а таких много, даже из соседних мест приезжают, особенно по выходным), нет, это никуда не годится, — словом, с тех пор они обречены на чаепития в комнате, сидят за столом рядышком и любуются в окно собственным парком и лесом, Кэте говорит: «Прямо как в кино».

Она налила ему чаю, сделала бутерброд с икрой. Что поделаешь, он любит икру, любит до сих пор, и он не смог удержаться, заглянул ей в глаза, заглянул глубоко и пристально, и увидел страх; это с ней бывает редко, и в войну и после он редко видел страх в ее взгляде, в Дрездене она боялась только истребителей-штурмовиков да еще «нацистов и протестантов». Вот гнев и ярость — это другое дело, это он хорошо помнит: когда у них отняли Айкельхоф, и скорбь, когда стерли с лица земли Иффенховен, где погребены все ее предки до шестого колена. А страх редко, даже когда Рольф начал ду-

рить. Многие считали ее холодной и даже несколько вялой, да она, пожалуй, так и выглядит, но только в официальной обстановке, на приемах, банкетах и прочих подобных собраниях. Она редко в них участвует, только ради него, ей это скучно, пустая трата времени, — да, там она, наверно, кому-то может показаться холодной, но вряд ли вялой, скорее безучастной; говорит мало, держится как истинная дама, министры, президенты и прочие владыки не производят на нее никакого впечатления, шаха* она сочла «настолько нудным, что это почти интересно», Бансера** — «ничтожеством, каких свет не видал», у-у, головорезы, сердечна была только с поварами и официантами, шла на кухню, расхваливала еду, списывала рецепты, просила объяснить, что как приготовлено, шутила и смеялась с гардеробщицами, с уборщицами в туалетах, с презрительным холодком во взгляде выслушивала застольные речи и тосты в свою честь, разумеется, она не была невежлива, но неизменно относилась ко всем высокопоставленным лицам — а среди них, сама говорила, бывали и «жутко важные персоны», — чуточку свысока, почти презрительно, во всяком случае холодно и без малейшего интереса. С несколькими «комитетскими дамами» она, впрочем, почти успевала подружиться, но мешали разводы, первые, вторые, третьи жены исчезали из поля зрения, Кэте очень жаловалась на эти разводы, «только успеешь познакомиться, и вроде бы милая, пригласишь на чай, поболтаешь, по магазинам вместе прошвырнешься — и на тебе, она уже бывшая, уже где-нибудь в Гармише или на Лазурном берегу, а вместо нее объявляется очередная дуреха, блондинка или брюнетка, вертит попкой и глазищами, с пышным бюстом или считай что вовсе без бюста — она ему в дочери годится, а он туда же; бог ты мой, дались вам, мужикам, эти попки да глазищи! Вот четвертая у Блямпа — это же просто потаскушка, к тому же дура наби-

* Имеется в виду Моххамед Реза Пехлеви, шах Ирана с 1941 г., свергнут народной революцией в 1979 г.

** Бансер (*Уго Бансер Суарес*) — президент Боливии в 1971—1978 гг., генерал.

тая, настолько дура, что это даже опасно, а ведь первая была самая милая, да и самая хорошенькая из всех, и третья, Элизабет, была ничего, очень даже милая, просто прелесть, а вот с четными номерами ему, похоже, не везет, вторая была хоть и не вредная, но тоже дура порядочная. Какая муха их всех укусила — ты что, и в самом деле веришь, что это всякий раз настоящая, большая, единственная любовь? Мне не терпится взглянуть на пятую. Неужели будет такая же секс-бомба, как четвертая, — и она еще приглашает нас на чай! Да она с утра уже после завтрака джину с тоником наберется и только и думает, кого бы еще своим бюстом ошеломить! Знаешь, по-моему, Блямп ее поколачивает».

Он всегда слегка краснеет, когда она так говорит, чаще всего в машине, не стесняясь Блуртмеля — тот лишь деликатно покашливает, — возвращаясь с приема или светского раута, где он бывает даже при орденах, но только послевоенных, боевых — ни в коем случае, нет, ни за что, ему бы и стыдно было перед Кэте, а кроме того, она просто грозит ему разводом: «Если ты *еще и это* сделаешь (бог ты мой, почему «еще», что он такого сделал?), если ты сделаешь *еще и это*, я с тобой разведусь». Он и новые-то стесняется носить, но надо (надо? Рольф бы спросил: «И это называется жить в свободной стране?») — нужно ради «Листка», ради Объединения, хотя ордена, даже и новые, все равно напоминают ему об аромате виргинских сигарет: за одну из этих побрякушек, пронесенную сквозь все обыски, он выменял двенадцать сигарет, но об этом не знает никто, даже Кэте, и никому невдомек, что во время наиторжественнейших церемоний, в присутствии властителей и владык, шахов и генералов, где что ни грудь, то иконостас, он, глядя на ордена, думает о сигаретах, о том, сколько сигарет в случае нужды за эти железяки можно выручить; да, надо — как надо было отдать (продать) Айкельхоф, надо — о нет, он никогда не забудет беспощадного анализа его мнимой «свободы», которым этот проклятый Беверло тогда припер его к стенке, — как надо будет продать и Тольмсховен,

чтобы обеспечить прокорм еще одной электростанции, еще одной фабрике облаков.

Всякий раз, когда он видит Кэте, и по утрам, когда он просыпается, и ночью, когда судорожно ищет ее руку, ему вспоминается тот вечер, когда он встретил ее в Дрездене, в госпитале, в коридоре, спешно продираясь в омерзительно-серой толчее и стараясь не глядеть по сторонам, чтобы избежать назойливых попутчиков, которые могли навязаться в любую секунду, уходил от бесконечного трепа в палате, от трескотни про «войну до победного конца», от тупой и судорожной веры в победу, на фоне которой его упорное молчание воспринималось как недоверчивость, от настороженных, ощупывающих взглядов, в которых читалось только одно: продаст или нет? а вдруг заложит — что тогда? Он упросил, чтобы его выписали досрочно, ему выдали справку, по которой полагался отпуск, можно было смотаться домой, отпускное предписание уже в кармане, он твердо решил переночевать где угодно, лишь бы не в госпитале, и тут, в коридоре, столкнулся с ней, она остановилась, вспыхнула от радости, даже взяла за рукав, покраснела. «Как, и вы здесь, господин Тольм?» А он смотрел на нее сверху вниз: блондинка, какое открытое лицо, немножко пухленькая, с виду веселая, вот только в глазах какая-то дымчатая поволока, и он все смотрел в эти глаза, смотрел так долго и пристально, что она успела покраснеть еще раз, и все не мог, не мог, не мог сообразить: «Господи, откуда же я ее знаю, да кто же это, ты ведь ее знаешь, зовут-то хоть ее как?» В общем, она показалась ему знакомой, это точно. И он улыбнулся, тут же решив, что проведет с ней ночь, все равно как. А она сказала: «Я же Кэте Шмиц, из Иффенховена, мой брат Генрих дружил с вашим братом Хансом, а наши отцы однажды судились». Да, верно, как же, садоводство в Иффенховене, брат иногда туда ходил, было дело, а отец, когда садовник обанкротился, слишком уж быстро и не вполне корректно что-то там у него оттяпал, опять хотел оторвать кусок земли по дешевке. Да, было, процесс против Шмица, Ханс еще жаловался: мол, из-за этого суда он с другом рассорился. Да,

верно, Кэте Шмиц из Иффенховена, и лицо вроде знакомое, где-то когда-то он ее, конечно, видел, может, в церкви (куда он — именно в ту пору — демонстративно, назло Нупперцу, иногда заглядывал), может, во время процессии или на танцах, и здесь, в Дрездене, в коридоре он спросил, не хочет ли она сходить с ним куда-нибудь, сбежать из этой медицинской казармы, и она, придвинувшись к нему еще ближе и снова взяв за рукав, ответила: «Ой, с удовольствием, а то тут одни нацисты и протестанты, не продохнешь». А потом, сразу же отдернув руку: «Господи, может, вы тоже...», на что он только покачал головой, уже сам взял ее за руку и проговорил: «Если вы сумеете вырваться, я буду ужасно рад» — и вздохнул: он уже знал, к чему все идет и как кончится — ему нравились не только ее глаза. «Вырвусь, — заверила она. — А если не отпустят — дезертирую. Ждите меня в приемном покое». Два часа ожидания в вестибюле: перестук машинок, рык подъезжающих грузовиков, раненые, больные, носилки, стоны, крики, какие уж там победители — жалкие, забытые существа, трясутся при виде миски с супом, о чем-то униженно просят, тычут документы; дважды приходила Кэте, рапортовала, как идут дела, у нее дежурство в амбулатории, она подыскивает срочную замену, — наконец вышла: прихорошенная, блузка в цветочек, твидовая юбка, меховая шляпка — и пальто какого-то синюшного цвета, оно совсем не подходило ко всему прочему, и она так откровенно сияла, что любо-дорого было смотреть. Да, она хотела вырваться отсюда, сходить куда-нибудь, все равно куда, может, потанцевать, лишь бы не одной, лишь бы к ней не приставали, не пытались лапать, не нашептывали похабщину. Они пошли в одно из огромных заведений для солдатни, где пахло пивом, похотью, танцульками и безнадегой, они окунулись в это месиво цинизма и грязи, где пахло концом войны и распадом. Позже он признался ей, что сразу решил провести с ней ночь, а она призналась, что, наверно, тоже этого хотела, только думать не отважилась, она немножко его побаивалась из-за истории с молодой графиней, скандала с исповедью, из-за всей этой любовной саги,

которая до сих пор гуляет по окрестным деревням. О Господи! Бойтся? Его? Он даже рассмеялся, нет, он обязательно ее уведет, все равно куда, он хочет быть с нею, смотреть ей в глаза, и не только в глаза, он хочет обладать, владеть ею, и он сказал ей об этом, когда им окончательно стало невмоготу от пивного угара, визгливой музыки и запаха обреченности, от пьяного гомона солдатни и вихлявых потаскух; здесь был даже «брачный рынок»: чтобы получить свадебный отпуск, можно было жениться, выдав «невесте» пару сотен и причитающийся в таких случаях свадебный паек (сахар и маргарин для праздничного торта), а потом развестись — девицы бестрепетно брали на себя роль «виновной стороны». Кэте уже давно от всего этого мутило, ведь она выучилась на переплетчицу, но ее послали на медицинские курсы, потом мобилизовали, младшая медсестра, специализация: анализ крови, мочи, венерические болезни; так она и очутилась здесь, где «кругом одни нацисты и протестанты» и примерно сто тысяч больных и раненых, какой там Цвингер*, какая Эльба, что все резиденции и барокко против унылых полчищ недужных и калек, а когда наконец они вышли и оказались на улице, их волновал только один вопрос: «Куда? Я же хочу пойти с вами, плевать, что вы обо мне подумаете, хочу — но куда?» Только не в госпиталь, где ее беспрерывно лапают и тискают, в любом углу, в коридоре, в туалете, в процедурной и даже в операционной, как она это ненавидит, нет, лучше уж в мебелирашку, она согласна, лишь бы с ним наедине, да, наедине, чтобы только она и он, он и она, одни, прочь от всей этой серой толчеи, от войны, которой все равно конец, — разумеется, он знал, что «такие комнаты» есть, немудрено, когда кругом столько солдатни, и найти «такую комнату» оказалось куда проще, чем он, ударившись в панику, поначалу думал. Были и зазывалы, они работали за скромный процент — калеки, ветераны, туберкулезники; завидев парочку, они подходили и шепотом

* Знаменитый дворцовый ансамбль в стиле барокко в Дрездене, возведен в 1711—1722 гг. при курфюрсте саксонском Фридрихе Августе I (Август II Сильный).

спрашивали: «Гнездышко ищете?» Да, они искали гнездышко, разумеется, цены были разные в зависимости от комфорта и, конечно, от времени: «На час, на два или до утра?» Да, до утра, им досталось гнездышко с оленьими рогами, репродукцией Дефреггера* и портретом Катарины фон Бора**, вполне приличная комната, даже не грязная и даже с умывальным столиком. «Гнездышко» — какое ласковое слово среди всей этой военной мерзости. Он ждал слез, но слез не было, только потом, когда она заговорила о брате Генрихе, который пал смертью храбрых, а он о брате Хансе, который тоже пал, и тоже смертью храбрых. Слезы были потом, сперва был только страх из-за того, что она «такая неопытная», ведь она рассчитывала на его «опыт», а выяснилось, что вовсе он не такой уж «опытный», как о нем болтали во всех окрестных деревнях; как прекрасно было видеть ее наготу, не стесняясь своей наготы, и вовсе она не оказалась неопытной, скорее уж это он от радости был тороплив и неловок, тут было над чем посмеяться, а заодно и поговорить о славе ловеласа, которая иной раз достается вовсе не по заслугам, — можно было посмеяться будущему, посмеяться над ее изумлением тому, что у него действительно есть звание доктора; он не мог насытиться ею, смеялся без конца, не мог насмотреться — о, эти лампочки в двадцать пять ватт, кто их только выдумал, — в ее глаза и никогда не забудет оленьи рога, репродукцию Дефреггера, Катарину фон Бора и прелый запах осенней листвы из окна, распахнутого во двор...

На следующее утро, сдав обходной листок, он попросту увез ее с собой, просто взял и увез, прочь от этих «нацистов и протестантов», и они приехали к ее отцу, которому все же удалось спасти от кредиторов теплицу и при ней две комнатенки, железную печурку и тахту; то-то смеялся старик, увидев, что дочь вернулась «с тем самым Тольмом», это надо же, «с тем самым», да еще объявила, что они помолвлены; крепко

* Франц фон Дефреггер (1835—1921) — австрийский живописец.

** Катарина фон Бора (1499—1552) — жена Мартина Лютера, олицетворение жены протестантского священнослужителя.

зажав трубку своими щербатыми зубами-огрызками, старик смеялся от души, а потом без церемоний, с тем же веселым смехом, принял в подарок табак, который они привезли. В подобных трудных случаях старая графиня была незаменима, у нее был телефон, она знала нужных людей, ей срочно понадобилась работница, ведь она уже на костылях, а ее хозяйство «имело военное значение» — из-за леса, овощей и картошки, которыми был засажен весь парк; словом, графиня вызволила Кэте, наняла ее в работницы и сказала: «Фриц, я всегда надеялась, что ты все-таки стерпишься с моей Герлиндой, но ты нашел себе получше, добрую, умную, красивую, да к тому же и веселую, как поглядишь — прямо душа радуется». Уже в ноябре там же, в Блюкховене, они расписались.

А незадолго до конца войны, когда он еще раз вырвался в отпуск, она ему шепнула, что у них «кто-то будет».

— Тебя — нет, Тольм, тебя они тронуть не посмеют, — она придвинула ему еще один бутерброд с икрой, — это уж и впрямь был бы позор.

— Позор, — проговорил он, — для них это пустой звук, нет у них такого понятия, такой границы. Кстати, а у нас она разве есть? Сейчас, например, когда наш «Листок» благополучно поглотил новую жертву — «Гербсдорфский вестник», разве я сгораю от стыда? Мы растем и разбухаем, мы жрем один «Листок» за другим, а я с прежним удовольствием пью чай и не разлюбил икру, я наслаждаюсь видом на парк, радуюсь, что снова вижу тебя, а тем временем Блюме, не сумевший удержать свой «Вестник», возможно, уже собрался в петлю лезть. А «Листок» все пухнет и пухнет, просто спасу нет — Амплангер ведь уже четыре года назад этого Блюме предупредил, и компьютер все предсказал точно, но Блюме-то от этого не легче: его семья владеет типографией и издательством сто пять лет, либеральные традиции, заслуги в развитии демократической, даже республиканской мысли — и, пожалуйста, все на прокорм «Листку», о котором, пожалуй, сегодня уже не стоит говорить...

— Да, не будем говорить о «Листке», об этом чудище, об этом динозавре, он ведь у нас даже не хищник, мирное травоядное, жрет листок за листком, а ведь каким был крохой, в сорок пятом, когда дядюшка его тебе завещал — вместе со всем, что у него было. Помнишь, как мы перепугались, хотели сразу же сбывать по дешевке, лишь бы отделаться, а себе оставить только Айкельхоф, но ты...

— Да, лучше бы мне стать директором музея, мне самому это куда больше по душе, но не мог я продать, ведь лицензия была на мое имя, а мы даже не знали, что и «Бевенихские новости» тоже наши, их потом откупил другой дядюшка, Берт Розенталь, мы вообще в этом ничего не смыслили, а потом пришел славный английский офицер, принес документы о моей полной реабилитации, да, о безоговорочной реабилитации, и лицензию, самую первую, и бумагу раздобыл, даже журналистов подыскал, эмигранты, очень милые люди, а самый милый из них был коммунист Шрётер, дядя Катарины, он потом перебрался на Восток и исчез, как в воду канул. Здесь ему было нелегко, а там его, наверно, сразу посадили и ухлопали. Он же был человек Мюнценберга*, сам знал, на что идет.

— Неужели для Блюме ничего нельзя сделать?

— А что ты предлагаешь? Пригласить его на кофе и выразить соболезнования: я, мол, искренне сожалею, что вам пришлось еще умолять, чтобы вас проглотили именно мы, а не кто-нибудь похуже? Цуммерлинг, например? Блюме ведь сам хочет, чтобы его проглотили именно мы. Денег ему хватит, даже семейный особняк за ним останется. А вот его работу, славные либеральные традиции — этого я ему вернуть не могу, и никто не сможет. Поверь, нам этот «Вестник» и не нужен вовсе, ни к чему нам дальше разбухать, он сам хочет, чтобы мы его взяли, так ему спокойней, лучше уж мы, чем Цуммерлинг со своей шайкой. Позор, конечно, позор, но спроси

* *Вилли Мюнценберг (1889—1940)* — деятель немецкого и международного рабочего движения. В 1937 г. исключен из КПГ за критику Сталина; погиб при невыясненных обстоятельствах.

обоих Амплангеров, испытывают ли они угрызения совести? И младший тебе ответит: «Если петух склонет зерно, которое ему подбросили, какой тут позор?» Кстати, и выгоды никакой, разве что со временем, много позже, просто борьба за рынок, урвать, пока другой не урвал, это все равно что покупать время, которым даже не знаешь, как распорядиться... Сначала «Вестник» будет «головной газетой», что на самом деле означает «газетой без головы», еще одна голова добровольно ляжет под топор. Разумеется, с Блюме надо поделкатней: не только их в гости пригласить, но и самим как-нибудь к ним выбраться. Он очень ко мне привязан, сам не знаю почему, с какой стати — я ведь ничегошеньки не сделал для спасения его головы, да и не смог бы сделать, при всем желании. Тут действуют свои законы, они непознаваемы и нам неподвластны. В один прекрасный день и моя голова полетит в корзину Цуммерлинга, вот почему он довольно спокойно взирает на наши успехи: по сути, мы своими руками делаем за него его черное дело, а он до поры до времени может позволить себе полиберальничать даже больше, чем «Вестник» под патронатом нашего «Листка»... Нет, графиня была права, когда говорила, что я, конечно, умница, но с ленцой, это верно, я был ленив и даже не потрудился окружить себя деятельными соратниками... И никогда не пытался противопоставить действию непостижимых законов какие-то свои принципы, даже если бы они у меня были...

— Странно, я тоже как раз вспомнила о графине. Вот здесь, наверху, в этой комнате, мы с ней иногда сидели. Она, бывало, позовет меня, достанет один из заветных мешочков с зеленым кофе, бросит горсть зерен на фаянсовую сковородку, пережарит, я сразу должна смолоть, она сварит, разольет, и мы с ней вдыхаем сказочный восточный аромат, любимся парком, всеми этими грядками с овощами и картошкой, черной гудроновой крышей оранжереи, где мы — это была моя идея — разводили шампиньоны, и беседуем обо всех вас... О сыне она всегда говорила чуточку презрительно и о Герлинде тоже не слишком лестно, та где-то в Голландии, по ее вы-

ражению, «ошивалась», а мне она то и дело говорила: «Вы, наверно, когда-нибудь будете здесь жить». Откуда она знала, как вообще до этого додумалась, ведь ты был вообще голь перекатная, старший лейтенантик, считай что нищий, а я — ну что я? — не поймешь кто: работница, переплетчица, секретарша, служанка, экономка, подруга, все вместе? Да, она любила нас, но как она могла знать?

— Просто она этого хотела, может, и предчувствовала что-то, а может, рассчитывала, что мы арендуем у нее землю и будем работать, но что так все получится, она, конечно, знать не могла. К тому же в мое трудолюбие она не верила. И правильно — особым усердием я никогда не отличался. Знаешь, а я вспоминал совсем о другом: об оленьих рогах, Дефрегере и Катарине фон Бора.

— Да, я тоже все время об этом вспоминаю, и всегда с радостью. Но не потому, что ты меня тогда вытащил из этой жуткой толчеи, не только поэтому. Ты меня избавил от страха, страха перед... ну, я была ужасно рада после всего того, что приходилось слышать в госпитале. Ведь никогда не знаешь наперед, как это бывает, когда в первый раз. А у тебя была такая дурная слава по этой части. Но все было хорошо.

— Что было хорошо?

— Хорошо, и все, давай сегодня обойдемся без признаний. Да-да, не бойся, я не жду сегодня признаний. О Хольгере графиня не знала почти ничего, считала его дурачком, хоть он дурачком не был, нет, кем угодно, только не дурачком. Зато о Герлинде она знала гораздо больше, чем я когда-либо знала о Сабине. А ведь все думают, что у Сабинины от меня секретов нет.

— Сабина? — Да, он сразу почувствовал страх в ее голосе, в ее глазах. А ведь она не боялась даже за Рольфа, когда тот начал делать глупости.

— Да, Сабина, — ответила она. — Ребенок, которого она ждет, не от Фишера. Она уже на шестом, а Фишер в ту пору беспрерывно был в отъезде.

Он отодвинул чашку, положил бутерброд, потянулся за ма-лахитовой сигаретницей:

— Думаю, мне вряд ли стоит восклицать: «Нет, нет, только не Сабина, кто угодно, только не она!» — равно как и признаваться, что я давно желал ей любовника, хотя только сейчас осознаю всю фривольность этого пожелания именно потому, что это наша девочка, она всегда была такой серьезной и набожной.

— И прекрасно знаешь, что набожность сама по себе еще ничего не значит. Кошьрёдер тоже, наверно, до сих пор набожный.

— Но от кого — с кем?

— Я не спрашивала, она все равно не скажет. Будем надеяться, что он холост. Я привезла ее, они с Кит в гостевых комнатах. Она больше не хочет, не может жить с Фишером, сейчас смотрит телевизор, это дурной знак, когда она смотрит телевизор просто так, любую дрянь, лишь бы мелькало.

— Может, она хочет к другому, или она?..

— Не знаю, и она не знает. Одно несомненно, и это очень серьезно: с Эрвином покончено. Кстати, эту Эву Кленш мне пришлось переселить, Сабине ведь надо где-то жить. А Блуртмель слишком стеснителен, чтобы приютить Эву у себя на ночь. Кульгреве поселил ее на первом этаже, в комнате Блямпа — ах да, надо Блямпов предупредить, сам знаешь, и вообще мне надо с тобой поговорить, не только о Блямпе.

— Да не шепчи ты, говори нормально. Все равно все прослушивается, так надо. Вдруг в наших тайнах кроются какие-то важные детали, если они действительно хотят нас защитить, им необходимо прослушивать и анализировать каждое слово. Вспомни о Кортшеде и его железном мальчике, который шептал ему ночью: «Меня не расколешь, я крепкий орешек, ты и представить себе не можешь, какой я орешек» — и они даже дали ему улизнуть, потому что Кортшеде за него поручился. А мальчишка и впрямь управляет бандой головорезов, да таких, что тебе и не снилось. Все наше Объединение у них под колпаком, и приходится терпеть, не важно, гомик

ты или нет. Думаешь, во время такого вот съезда мало возникает деликатных проблем? Хотя бы из-за женщин. Раньше некоторые еще приглашали девушек или с собой привозили, и не обязательно потаскушек, и не только секретарш, были и такие, кого принято называть подругами, — жены, правда, редко. Особенно Блямп, тот якобы без женщины вообще уснуть не может; ну ладно, он хоть неразборчив, ему любая хороша, он ее потом всю растрепанную сунет в такси и отправит восвояси. С юношами, из-за которых у Кортшеде столько бед, у нас, правда, пока проблем не было, то есть, может, юноши к нам и просачивались под видом шоферов, секретарей, ассистентов — не знаю, я их никогда не умел различать, даже подле Кортшеде, — но ведь Кортшеде полная противоположность Блямпу: скромный, порядочный, застенчивый, да и трусоват, хотя империя у него побольше, чем у Блямп. Однако теперь, при всех этих мерах повышенной безопасности, обе проблемы отпали сами собой, ни о каких девочках, ни о каких мальчиках и речи быть не может, сама посуди, они просто не в состоянии проверить каждого случайного гостя или гостью, изучить анкету, установить предков до шестого колена, а мало ли кто может заявиться — тут и выходцы из ГДР, и даже шлюхи из разряда эмансипированных интеллектуалок, эти у них считаются самыми опасными, слишком уж любознательны, во все-то вникают, все анализируют, прямо беда. Ну и пошли, как это у Блямп называется, «ночки всухую», вечером все, как бараны, сбредаются в холл, сидят, глазек в телевизор, иногда в картишки перекинутся, музыку послушают или доклад — с магнитофона, разумеется, — тоска смертная, хоть вой, некоторые и вправду начинают подвывать, нацистские песни и прочую дребедень, пока Блямп не сдернется и не заявит: «Лично я отправляюсь в заведение» — и охранники тоже идут с ним в заведение. Хотел бы я знать, что они про нас думают. В любом случае никаких тайн больше нет, все на виду, все на слуху, все прилюдно, а ведь, в конце концов, мы — не я лично, а все в Объединении — не какие-то завязтые бабники, обычные люди, не хуже и не лучше других.

— А Фишеры, старший и младший?

— Э-э, нет, дорогая, тут стоп. О старшем я ничего тебе не скажу — почти все сама по его лицу, по складкам губ, по рукам, а что до Эрвина, так его любовная жизнь расписана во всех журналах, хотя, готов спорить, по меньшей мере наполовину это чистой воды блеф. Перед его шармом не устояли якобы даже русские девушки, а сам он публично высказывается о совершенно особых эротических качествах гражданок ГДР, которые, между прочим, производят больше половины всей продукции для «улья», — и надо же, чтобы именно его выбрала Сабина, его, и все тут, потому что он, видите ли, при всех прочих своих несравненных качествах, еще и католик. Вот она его и заполучила — слава богу, он ее не заполучил.

— Ты, похоже, даже рад, а бедная девочка вся извелась.

— И тем не менее я рад. Этот подонок не поленился послать заявление в полицию, где на полном серьезе предлагает включать в список особо подозрительных лиц всякого, кто после ноября семьдесят четвертого назвал своего ребенка Хольгером. Слава богу, даже самые рьяные ищейки сочли, что это уж чересчур, все-таки Хольгер — древнее, исконно германское имя, то ли шведского, то ли исландского происхождения, и означает, если не ошибаюсь, «островитянин с копьем».

— Ты, я смотрю, неплохо осведомлен.

— Как-никак у меня оба внука — Хольгеры. А если у Сабини будет мальчик — что ж, Хольгер красивое имя.

— Ох, Фриц, тут не до смеха, для нее это очень серьезно, посмотрел бы ты на нее, я-то вижу, как она убивается. Ты пойми, она жить не может без этого человека.

— Охотно верю и вовсе не склонен по этому поводу шутить. Не забывай, остается еще проблема Кит, Фишер двинет против нас целые полчища адвокатов, а Цуммерлинг даром предоставит ему броские заголовки на первых полосах. А уж «ребенком года» ее теперь вряд ли выберут...

— О господи, дался вам этот Цуммерлинг, вы что, ни о чем другом вообще думать не можете? А по-моему, он очень даже милый, я два раза сидела с ним рядом на банкете, он был про-

сто душка. И Блямп вовсе не так плох, в нем гораздо больше обаяния, чем он полагает, и сыновья у него очаровательные, мы их, правда, почти не видим, к сожалению.

— Цуммерлинг тоже очаровательный, милейший человек, но, не моргнув глазом, одним махом оттяпает у меня все «листки», всю мою листовную рощу. Мы живем, Кэте, в эпоху милых чудовищ и сами из их числа. Все они милые, все обаятельные, и Вероника очень мила, и Беверло тоже был очень милый, сплошное обаяние, просто бомба обаяния...

— А ведь Сабина чуть не вышла за него замуж. Как подумая, жуть берет, представляешь: ведь она, при ее-то верности, пошла бы за ним хоть на край света.

— Ну, насчет верности ты, по-моему, несколько преувеличиваешь, особенно сейчас.

— Разумеется, она верна, и Вероника тоже верна. Это в них самое страшное, от этого все их беды. Не могут они бросать, не умеют. Если бы Сабина была только неверна Фишеру, она бы сейчас так не страдала, пошла бы к исповеди, покаялась, и дело с концом, но она верна, если хочешь, верна самой себе, так уж она устроена, и потому теперь верна другому — господи, знать бы, кто он! Знаешь, она говорит, что будет работать, поселится где-нибудь инкогнито и будет работать.

— Инкогнито — это пока что утопия. Об этом Фишер позаботился, ведь он всюду пропечатал ее фотографии, в каждой вонючей газетенке, и в каталоге «Пчелиного улья», и в журнале «Спорт и жизнь», и даже в экономических разделах — всюду она красуется. Нужен по меньшей мере год, чтобы о ней забыли.

— А ты не можешь пристроить ее где-нибудь в «Листке»? Она будет делать то, чему всегда противились твои сыновья: работать в «Листке» на благо «Листка».

— А что, это мысль. Можно послать ее в Париж помощницей к Шнайдерплину. Французский у нее отличный, освоится, войдет в курс дела, станет со временем корреспонденткой. Но с двумя детьми... Придется оплачивать ей служанку.

— О Фишере она говорит: «Никогда! Ни за что на свете!» А о том, другом, ни слова. Любопытно все-таки, кто он, но что толку гадать...

— Мне тоже любопытно. В одном я уверен — он не из фишеровской клики, не из этой порно-поп-гоп-компании. Думаю, она нашла себе серьезного старомодного любовника, вместе с которым и впала в старомодный грех прелюбодеяния. Может, она тоскует по добрым старым грехам, как другие тоскуют по добрым старым временам...

— По которым мы с тобой никогда не тосковали...

— Мы — нет. Доброе старое время — для нее это Айкельхоф. А для меня Айкелькох, Тольмсховен, родительский дом, дом твоих родителей — какие же это старые времена? Я слишком радовался доброму новому времени, а оно вдруг кончилось. Да, Кэте, наше доброе новое время становится старым, и мы будем по нему тосковать. А наступает другое, совсем новое время, которое никто вспоминать не будет.

— Время Рольфа?

— Нет, не Рольфа. Время Рольфа, может быть, настанет потом, время Герберта, Сабины, время Кортшеде. А сейчас, сейчас будет время Беверло и время Амплангера. Как подумаю, что Беверло где-то сидит и считает, считает, считает: когда опустится шлагбаум, когда выедет машина кондитера, где и как ее надо попридержать, чтобы у переезда подменить настоящий торт на торт «с начинкой»... Сидит, и считает, и улыбается, все время улыбается, между делом погладит по головке Хольгера, чмокнет Веронику и улыбается — той же улыбкой, что и Амплангер. Как подумаю об этом — внутри все стынет от холода, будто меня бросили одного во льдах. Да, Кэте, доброе новое время незаметно состарилось, а сейчас наступает время Беверло и Амплангера, ну и, конечно, время Блямпа — он ведь в некотором смысле вечен. Сабине придется несладко, если этот человек женат, ох как несладко, — ведь все эти исповеди, без которых она жить не может, еще не разрушили ее совесть. И конечно же, она во что бы то ни стало захочет рожать, хотя даже сами попы исхитряются гре-

шить, не опасаясь последствий, — если бы у них хватило ума, им давно следовало бы основать монастыри прелюбодеяния, где женщины находили бы себе любовников, в конце концов внебрачные дети — тоже дети. А теперь, дорогая, давай выберемся отсюда, я хочу прогуляться, хоть ненадолго, пусть под конвоем, все равно.

— У тебя сегодня больше нет дел — заседаний, встреч?

— Только послезавтра, вступаю во владение новым кабинетом. И в «Листке» надо показаться, будут решать насчет «Гербсдорфского вестника», придется быть.

— Похоже, ты этого боишься?

— Этого — да, боюсь. За всеми своими «листками» я давно уже не вижу леса, того лиственного леса, владельцем и хозяином которого будто бы являюсь. Боюсь громадного кабинета, этих восьмидесяти квадратных метров, где я только сижу, что-то подписываю и пью чай. Боюсь Амплангера-старшего, не потому, что он меня обманывает, ему даже обманывать не нужно, он развесил на стене в моем кабинете целую коллекцию газетных названий, увеличил и развесил, все газеты, которые мы прибрали к рукам с сорок пятого года, целый гербарий «листочков». Он зовет меня газетным Наполеоном без армии — послезавтра надо мной торжественно прикнопят «Гербсдорфский вестник», еще одну покоренную территорию: графство, провинцию или город...

— Вот что способен натворить маленький английский майор одним клочком бумаги, который, как потом выяснится, называется лицензией. Кстати, куда он потом делся, ты не узнавал?

— За две недели до пенсии погиб на Кипре. Подполковника ему присвоили уже посмертно, чтобы увеличить пенсию вдове. Фамилия его Уэллер, сухарь был, педант и, разумеется, лейборист. Я частенько о нем думаю, когда часами просиживаю в своем гигантском кабинете, ничего не делаю, только одобряю стратегию Амплангера, приходится одобрять, все равно я не могу остановить этот прирост, мы пухнем и пухнем, тут я бессилён, я обречен на роль пожирателя листочков.

Вот так, одной лицензией и закладываются империи, которые потом растут сами собой, — лицензия, клочок бумаги и несколько надежных сотрудников; недостает только наследного принца, чтобы достойно продолжить отцовский гербарий.

— Наследный принц предпочел швыряться камнями и поджигать автомашины. Я часто думаю: неужто он вправду намерен всю жизнь предаваться своим огородным радостям — выращивать помидоры, собирать яблоки, и так до конца дней? Блямп недавно сказал: он мог бы стать одним из самых динамичных наших финансистов, если бы не... И опыт, говорит, у него есть, и организаторские способности, экономическое и политическое мышление. И все это, знаешь, чуть ли не с завистью. Мол, ясная голова, точный расчет, интеллигентность...

— Что ж, очень может быть. Своих сыновей он любит, действительно любит, но Рольфом всегда восторгался. Он бы и Беверло сделал своей правой рукой, если бы познакомился с ним пораньше и если бы не этот внезапный заскок... Если бы да кабы... А теперь вон как все повернулось. Родного сына я не могу пристроить в «Листок» даже ночным сторожем, даже дворником, и рад бы, да не могу. А ведь ему сам бог велел работать в редакции экономики экспертом по реальным прибылям, он как-то раз при мне подсчитал, что одна акция Немецкого банка с сорок девятого по шестьдесят девятый год принесла пятнадцать тысяч процентов прибыли, пятнадцать тысяч за двадцать лет, думаю, эта цифра могла бы заинтересовать рядовых вкладчиков.

— Но почему-то не интересуется. Да и верна ли цифра?

— Верна, хоть их это и не интересуется. Почти все расчеты Рольфа верны, прикинь сама, сколько стоил «Листок», когда он нам достался, и сколько он стоит, мог бы стоить сейчас, — ты получишь примерно те же цифры.

— Да, я помню его выкладки по Айкельхофу. А Тольмсховен — сколько мы выручим за Тольмсховен?

— С чего ты взяла? При чем тут Тольмсховен?

— Я же вижу экскаваторы на горизонте и знаю, что их не остановить, ты сам говоришь — ничего остановить нельзя,

я слышу шуточки и пересуды, слышу намеки зятя, и я вижу Тольмсховен, уже не деревню, только наш замок — островком посреди гигантской ямы, вертолетное сообщение с большой землей, вокруг транспортеры, грохот, насосы, экскаваторы, затхлый пруд без проточной воды, болото, а не пруд, утки гибнут, твоих внуков доставляют сюда по воздушному мосту покормить последних уток. Одно, правда, нам будет обеспечено, Фриц, обеспечено с гарантией и сполна: безопасность — если, конечно, какой-нибудь инженер или рабочий там, внизу, возле своих экскаваторов и насосов, не вздумает учудить, — да и то, как он до нас доберется, как одолеет отвесный обрыв высотой в добрых триста-четырееста метров! Да, мы будем в полной безопасности, если, конечно, на нас не свалится вертолет, на котором мы по вечерам будем летать в гости — к нашим детям, к нашим внукам, — и если не подкачает фундамент, я имею в виду фундамент нашего замка, ведь он будет стоять на довольно шаткой основе, галька, глина, песок, но ничего, они подведут под наш островок бетонную подушку, огромный бетонный айсберг, а лет через пятьдесят или через сто, когда они выкопают все, что им нужно, Тольмсховен будет гордо красоваться посреди водохранилища и твои правнуки будут закидывать удочки прямо из окон, — верно, Тольм, ведь так все и будет?

— Нет, Кэте, все будет не так. Они все снесут и раскопают, а мы будем жить в другом месте, если вообще будем живы.

— Если будем живы... Одна надежда, что весь этот энергетический бум не успеет до нас добраться и мы сможем умереть здесь — в безопасности или от безопасности, кто знает? Не надо меня шадить, Фриц, лучше бы мне узнать все это от тебя, чем выведывать из пересудов и дурацких остроумий. А может, прямо сейчас и переехать? Забрали бы Сабину с новорожденным и Кит, забрали бы Рольфа, Катарину, и Хольгера, и Герберта тоже, если его уговорить. Ладно уж, выкури одну, я никому не скажу.

Она придвинула ему малахитовую сигаретницу.

— Сабина, — произнес он, затянувшись. — У меня весь день из-за нее душа болела, сам не знаю почему.. Плохо ей

будет, она так привязалась к этой деревушке, да и Кит здесь поиграть не с кем. К счастью, Фишер завтра снова отправляется в очередное турне — мне Поттзикер за обедом сказал, — Тунис, Румыния, какие-то лагеря беженцев на Востоке, они там устанавливают свои вязальные машины. Так или иначе, на две недели мы от него избавлены, есть время все спокойно обдумать, может, Сабине стоит на это время вернуться в Блорр?

— Она не вернется, это точно. Сейчас я ее приведу, поговоришь с ней сам, а я пока побуду с Кит.

Выйдя ей навстречу, он ждал в дверях, кивнул молодому Тёргашу, который слонялся по коридору. Стояла тишина, только из комнаты Блуртмеля непривычно было слышать приглушенные голоса, видимо Кленш уже приехала. Ему не давало покоя видение Кэте: замок на островке, посреди гигантского карьера, вертолетное сообщение, заболоченный пруд и ров, а вокруг ни домов, ни церкви, ни деревьев, потрепавшиеся стены, даже птиц — и тех нет, разве что вороны...

Сабина приникла к его груди, нет, не кающаяся грешница, скорее просто растерянная молодая женщина, затрясла головой, когда он попытался увлечь ее в комнату, подняла на него глаза, без слез:

— Ах, папа, я так рада, что оттуда уехала. Я больше там не могу, но ты не беспокойся, я поживу пока что у Рольфа. У них сад, стена высоченная, Кит с Хольгером прекрасно ладят, а дальше видно будет. С Рольфом я уже договорилась.

— Но у него очень тесно, не знаю, право...

— Катарина найдет мне комнату по соседству, а днем я буду у них, буду помогать Катарине, я ведь умею с детьми.

— А Хольцпукке ты известила? Ему ведь нужно сообщить...

— Да, он поворчал немножко, сказал, дескать, в Блорре все так хорошо было отработано, ну, а Хубрайхен, что ж, он знает тамошнюю обстановку и условия. И не сердись, что я сразу же от вас сбегая, ладно? Я уже и с Эрвином поговорила, он ведь опять уезжает, так что серьезный разговор будет потом, позже.

Господин Тёргаш отвезет нас в Хубрайхен и останется там на ночь, я попросила Хольцпукке, понимаешь, Кит его больше всех любит. Мне уже гораздо, гораздо лучше, а о серьезном я пока что не думала, это потом, ведь Эрвина три недели не будет.

Да, она похожа на Кэте, и на его мать, да и на него, но и еще на кого-то, вот только на кого? В глазах ни тени отчаяния, только серьезность, а теперь еще и радость, эта радость в ее глазах как-то сразу расположила его к тому человеку, от которого у нее будет ребенок. Да, этот человек, несомненно, был с ней очень ласков. Он подумал о Беверло, в которого она была так сильно влюблена, о Фишере, который с неодолимым юношеским напором вломился в ее «досужие мечтания» и, можно сказать, взял ее штурмом: энергичный, многообещающий предприниматель, католик, к тому же и остроумный иногда — но ни разу, ни разу за эти пять лет он не видел у Сабини такого лица: дивная соразмерность черт, снискавшая ей славу красавицы, высвечена радостью и вместе с тем какой-то необычной строгостью, даже решимостью.

— Ну, хорошо, хорошо, больше не будешь смотреть телевизор просто так?

— Нет. Это я только сперва, от растерянности.

— А больше ничего?

— Ты о чем?

— Ну, я имею в виду религию, веру, принципы и все такое. Я хотел сказать: если ты чувствуешь за собой вину и хочешь поговорить, мы могли бы сегодня вечером, у Рольфа, мы к вам заедем.

— Да, конечно, приезжайте, очень хорошо, нет-нет, папа, пусть господин Тёргаш все слышит, — она оглянулась, — хотя, я вижу, он из деликатности удалился. Да, я чувствую за собой вину, но не перед Фишером и не перед вами, только перед его женой. Мы еще поговорим об этом. Ну, а как ты — в новой роли, на самом верху?

— Буду произносить речи и давать интервью. И ничего больше не боюсь, только за вас немножко. Мы вечером заедем.

Кит, это было очевидно и слегка его задело, радовалась новому переезду: в Хубрайхене ей явно нравится больше, чем здесь. Еще бы — там она будет жарить каштаны на костре в саду, играть с Хольгером, гулять, ходить за молоком, помогать Рольфу сортировать яблоки для продажи. Он никогда не поймет, как можно было назвать ребенка таким чудным именем, сколько бы его ни уверяли, что это, как и Кэте, производное от Катарины, все равно как-то неблагозвучно. Стоя рядом с Кэте, он смотрел, как они спускаются по лестнице: Кит со своими орехами и каштанами в мешочке, Сабина с чемоданчиком и молодой полицейский с двумя куклами, которых он нес, словно кур, за ноги — кукольные платица задрались, все на виду — трусики, комбинашки.

— Я сейчас у нее была, ее как подменили, — сказала Кэте. — Что-то произошло, она прямо сияет от счастья, и такая вдруг решимость...

— Тот, от кого у нее ребенок, видимо, очень симпатичный малый. Может, она ему позвонила. Как бы там ни было — он в ней.

— Ради бога, что ты такое несешь, да еще и ухмыляешься.

— Просто я рад за нее. Но он женат, она сама сказала. И жена у него, наверно, тоже симпатичная. Это осложняет дело. А когда Фишер вернется, будет не до шуток.

— Знаешь, наверно, лучше сегодня им не мешать, пусть побудут с Рольфом и Катариной. А я попробую дозвониться до Герберта. Кстати, кто бы он ни был, я-то надеюсь, что она ему отсюда не звонила. Иначе Хольцпуке уже знает то, чего не знаем мы, — кто он. Впрочем, он, вероятно, уже и так знает, если хоть одной живой душе об этом известно, значит, служба безопасности тоже в курсе. Сам посуди, при ее-то охране, ведь они должны были где-то встречаться, и, наверно, не один раз.

— Верно. Хольцпуке просто обязан знать. Она же с ним встречалась, он назначал ей свидания и вообще...

— Может, спросить его?

— Нет. Да он и не скажет, не имеет права, ему запрещено разглашать информацию интимного свойства, хотя она неиз-

бежно стекается к нему со всех сторон. Единственная его задача: обеспечить проверку всех, так сказать, действующих лиц в плане безопасности. Будем надеяться, что этот человек догадывается, под какой колпак угодил. Если ее охраняли строго по инструкции — а я думаю, так оно и есть, — тогда только служба безопасности и знает, кто отец нашего будущего внука. Либо имя этого человека уже зафиксировал магнитофон, либо вся их охрана ни к черту не годится.

— Так позвонить Герберту?

— Спроси, может, он все-таки выберется к нам? В виде исключения. Ты же знаешь, когда мы едем к Герберту в этот его небоскреб, Хольцпуке надо извещать загодя. Он тогда вызывает чуть ли не роту охранников, и правильно, меньше там никак нельзя, кругом полно всяких подозрительных личностей, группами и поодиночке, не только студенты и коммунисты, но даже и студенты-коммунисты, не говоря уже об анархистах, маоистах и всех прочих, а сколько входов-выходов надо перекрыть, вероятно, и вертолет нужен для контроля с воздуха, — и все только ради того, чтобы мы посидели часок у сына, который, хоть умри, не хочет переезжать из этого проклятого небоскреба, потому что, видите ли, он построен отцовским акционерным обществом, пусть, мол, предок полюбуется, в каком муравейнике живут люди по его милости. Вот они и торчат с автоматами наперевес — на балконах, у каждой двери, на лестничных площадках, а как иначе? К Рольфу съездить, казалось бы, куда проще, только двух-трех человек вокруг дома расставить, и все дела, но соседям в Хубрайхене это нравится ничуть не больше, чем крестьянам в Блорре или жильцам небоскреба. Их это раздражает, пугает, наконец, и их можно понять, ведь все нервничают, все на пределе, а сорваться может не только Кортшеде, но и любой охранник, сама посуди, какая это работенка, вечное напряжение и скука смертная, скука — потому что ничего не происходит, напряжение — что что-то вот-вот произойдет. Да тут при малейшей неожиданности рука сама дернется — собака в кустах прошмыгнет, пацан деревенский на стену полезет, да еще из

игрушечного пугача бабахнет, и все, пиши пропало. Так что лучше уж смириться с мыслью, что мы пленники — пленники собственной безопасности, которая рано или поздно нас доконает.

— Значит, сидеть взаперти или ездить только к тем, кого охраняют не хуже нас, — к старикам Фишерам, от которых меня просто мутит. Помешаны на «красной угрозе» и скучны до безумия, а если, не дай бог, оборот составит двадцать девять миллионов вместо обычных тридцати пяти, они в панике, будто уже пухнут от голода. С пеной у рта защищают среднее сословие от «социалистической опасности», можно подумать, будто сами они тоже из «средних», хотя ведь прекрасно знают, что куда большая опасность для среднего сословия — они сами с их концентрацией капитала. Я тут недавно прочла, что еще большая опасность для среднего сословия, оказывается, государственные банки: упаси бог, если где-нибудь хоть одного коммуниста выберут мэром города, — все, Германии конец. Правда, если очень повезет, можно встретить у Фишеров какого-нибудь епископа, тихонького старичка, который беспрерывно кивает, что бы ему ни говорили. И все на одно лицо, у всех та же повадка, та же улыбка, что и у Амплангера, при виде которого я всегда представляю себе тех, от кого нас охраняют, особенно если подумать, что Рольф чуть было не стал директором банка, а Беверло наверняка бы им стал, таким щеголем с чемоданчиком-дипломатом, теннисными ракетками и еще, быть может, болонкой под мышкой, — но нет, стоит им услышать одну сомнительную фразу по радио, пол сомнительной фразы по телевизору — караул, спасайся кто может, они пухнут от голода, революция на пороге! Ну скажи ты мне, Фриц, дорогой мой Тольм, почему все они такие невообразимо скучные?

— Не все. Кортшеде и Поттзикер, да и Амплангер-старший не скучные, ну и еще кое-кто. Блямп не скучный, что-то, а скучным его не назовешь.

— И все-таки ты предпочитаешь ходить в гости к собственным детям и, хочешь не хочешь, обязан подвергать себя

этой пытке, этим мерам безопасности, в которые ни капельки не веришь и которые терпишь только из вежливости!

— Да, эти-то уж минуют все посты и кордоны, они сыщут лазейку; бомба голубиной почтой, сова с начинкой, стая диких гусей во тьме или, еще того лучше, пошлют на мою голову родного внука Хольгера, явится этакий милый подросток, годков двенадцати, а может и пятнадцати, закаленный, натренированный, всему на свете обученный, от карате до снайперской стрельбы, безоружный, пройдет через все кордоны — а что, родной внук приехал навестить дедушку, — и запросто меня удушит, ему и нож не понадобится; а если к тому времени они додумаются впускать ко мне посетителей, пусть даже и внуков, не только безоружными, но и со связанными руками, он пришибет меня головой, его натаскают получше всякого барана, и он будет бодать меня в грудь, прямо в сердце, снова и снова, благо после нескольких инфарктов долго я не выдержу..

— Что же, если тебе пришлют этого барана, то бишь Хольгера, когда ему будет лет двенадцать, если не все пятнадцать, тогда тебе еще осталось лет пять, а то и восемь.

Он засмеялся, снова потянулся к малахитовой сигаретнице.

— Столько мне, пожалуй, не протянуть. Да и президентом я пробуду всего два года. А в безопасность я давно не верю, ни во внешнюю, ни во внутреннюю, не говоря уж о душевном покое.

— Значит, я больше не застаю тебя в ванной перед зеркалом, не услышу, как ты шепчешь: «Больше не хочу»? Значит, ты еще хочешь?

— Да, хочу, вместе с тобой, но они-то, наверно, уже отрабатывают удушающие приемы, экспериментируют с гипнозом и наркотиками — приучат к наркотикам какого-нибудь охранника, и он сделает со мной все, что прикажут. Это будет вполне милый, отлично тренированный молодой полицейский, проверенный и просвеченный сотню раз, и тем не менее в один прекрасный день он на меня бросится, якобы прикрывая меня своим телом,

а когда встанет — мне уже будет каюк. Вся их безопасность — чистый миф, есть ведь компьютеры и ракеты, даже, наверно, ракеты под видом искусственных птиц, есть гипноз, телепатия, так что смирился с одиночеством, с нашей роскошной, комфортабельной, перворазрядной тюрьмой. Вспомни, как я однажды решил тряхнуть стариной — на велосипеде прокатиться. Вспомни, в какое позорище это вылилось: две полицейские машины впереди, одна сзади, да еще вертолет сверху — смех, да и только, я думал, умру со стыда! А сколько лет мы уже не собирались на торжественные семейные обеды, когда каждый отвечал за свое: ты — за суп и салаты, я — за мясо, Рольф — за картошку, Катарина — за подливу, Герберт и Сабина — за десерт, а за кофе — снова я, но прежде чем подать кофе, все вместе убрали со стола, мыли посуду, чтобы и в кухне и в столовой все было в ажуре, — и даже Эрвин бывал очень мил, помнишь, как он нас ошарашил своим сюрпризом, блинчики испек, да какие вкусные, пока не появился этот малыш, дитя раздоров, которого тоже нарекли Хольгером. До этого Эрвин еще как-то крепился, еще заставлял себя сесть за один стол с «этим поджигателем машин» Рольфом, с «этой коммунисткой» Катариной, но второй Хольгер в семье, нет, это было уже выше его сил. Ведь до чего дошло: Сабина встречалась с Рольфом и Катариной тайком, без Кит, разумеется, малышка могла проболтаться, — мало им полицейской охраны и слежки, они еще между собой шпиономанию развели, и все из-за того, что ребенка Хольгером назвали! Слушай, а давай никуда не поедем, останемся тут, пригласим на ужин Блуртмеля и его Эву, если, конечно, у них нет других планов и если он согласится хоть на время позабыть роль слуги и позволит хозяевам за собой поухаживать. Пожалуй, не стоит сегодня мешать Сабине, пусть побудет с Катариной и Рольфом, а мы устроим тихий семейный ужин.

— Надо бы и родителей Катарины позвать, мы давно собирались.

— Конечно, они ведь теперь наши родственники, а Луизу я с детства знаю, к счастью, она уже не была ученицей моего папаши, так что, по крайней мере, от этой темы мы, наверно,

избавлены. Может, поговоришь с Блуртмелем, мне не терпится взглянуть на его Эву.

— Мне тоже. По-моему, они никуда не собираются. В таком случае я тебя ненадолго покину: надо позвонить, а заодно и проверить наши припасы.

Иногда он наведывался в Хубрайхен к Рольфу, без звонка, незванным гостем, просил Хольцпуке по возможности сократить эскорт, Блуртмелю приказывал поставить машину в пустом школьном дворе, метрах в ста от дома священника, шел пешком, заходил в сад и направлялся к сторожке, где жили дети, — ее почему-то на французский манер называли *dependance**. Он торопился, поспешал как мог, стараясь обогнать молву о своем приезде, но телохранители поспешали быстрее, они уже были в саду, тихо и деловито занимали посты вдоль стены. Прячась в кустах орешника, он заглядывал в окно, видел сына Рольфа, наблюдал, как тот играет с Хольгером: деревянные кубики, камушки, деревянные игрушечные автомобильчики, все самодельное (он даже в мыслях запрещал себе модное слово «смастерили», они воспринимали его как оскорбление, настаивали на более скромном «самоделка», «сами сделали»). Рольф сидел на корточках рядом с сынишкой, счастливый, безмятежный молодой отец, что-то подсказывал, подбадривал, судя по движениям рук и губ, иногда что-то потихоньку напевал, а то и разрисовывал камушки или обклеивал деревянные кубики цветной бумагой. А однажды он подсмотрел, как Рольф под внимательным взглядом сына ножом вырезал фонарь из брюквы — в виде рожицы: нос, рот, глаза, бородка и отверстие для свечи. Оба такие довольные, спокойные, счастливые — ему тут же вспомнился Айкельхоф, как он иногда, плюнув на «Листок», оставался дома и играл с детьми. А как-то раз, когда он вот так стоял под окнами, его застукала Катарина, она возвращалась с покупками, воскликнула: «Господи, папа! — Да, она назвала его папой! — Что же ты тут стоишь как неприкаянный, заходи, ты не мешаешь, ты

* Пристройка, подсобное помещение (фр.).

же не чужой!» И у него в тот хмурый туманный ноябрьский вечер чуть слезы не навернулись на глаза, так сердечно она это сказала, да еще и папой назвала, так заботливо взяла под руку и повела в дом. Он был поражен искренней радостью в глазах Рольфа, а на лавке, которую из окна было не видно, обнаружил целую выставку фонарей из брюквы и других, в форме лампионов, из черного картона и цветной бумаги, — изделия Рольфа для детского сада Катарины, тут же он узнал, что Рольф удостоен роли св. Мартина* и в костюме римского legionera, в серебряных боевых доспехах и красном плаще, проедет на коне через всю деревню в сопровождении свиты факельщиков. Его напоили чаем с коврижками, предложили закурить, усадили возле печки, позволили подбрасывать в огонь дрова, которые Рольф собственноручно — и, разумеется, с разрешения общины — заготавливал в окрестных лесах из сухостоя, сам колол, сам распиливал, тут же рядом стояли корзины сосновых шишек и корзины щепы; Рольф ходил и по дворам, собирал бросовую древесину, которая — при повсеместной (и чрезмерной, как считал Рольф) мании модернизации — валялась повсюду в изобилии, доски, бревна, стропила, старую мебель, ее он тоже собирал и либо пускал на дрова, либо, отремонтировав, продавал по дешевке через студенческие магазины. В тот вечер Рольф даже не терзал его душу анализом биржевых новостей, только объяснил на конкретных примерах, как можно оценивать общество «по характеру его отбросов». Именно тогда он впервые — и с болью в голосе — причислил к отбросам Айкельхоф, да и энергию, добытую за счет Айкельхофа, тоже назвал выброшенной, выброшенной на воздух.

Неужто только так — подкараулив, застигнув врасплох — ему суждено изведать радушие и сердечность своих детей, понять, чем они живут? В другой раз он так же вот внезапно, на подходе к дому священника, завидел вдали Катарину с Хольгером, они возвращались из магазина, Катарина с кем-

* Праздник св. Мартина, особенно радостный для детей, отмечается 11 ноября.

то приветливо здоровалась, ей приветливо отвечали, она шла, чуть склонившись вправо к Хольгеру, который тащил за собой на веревочке какую-то игрушку и сосал леденец на палочке, в левой руке у нее была сумка, по-видимому очень тяжелая, — милая молодая женщина, каких тысячи, в красных гольфах, с распущенными волосами, — а когда она его заметила, ее лицо озарилось улыбкой, настолько искренней, настолько непроизвольно радостной, что у него опять чуть не навернулись слезы. Он поспешил, почти побежал ей навстречу, взял у нее сумку, она его поцеловала, он поцеловал Хольгера, а после, уже на кухне, смотрел, как она разбирает покупки, раскладывая их по шкафчикам и самодельным полкам, а Хольгер тем временем носился вокруг со своей деревянной таксой. Ему дали чаю, бутерброд, а когда он потянулся за сигаретами, Катарина, покачав головой, отняла у него пачку, но потом, пожав плечами, вернула. Все — и эта внезапная светлая улыбка на улице, и бутерброд с ливерной колбасой, и чай, и сценка с сигаретами — все говорило о том, что она искренне его любит, эта милая молодая женщина, которая вполне могла бы считаться красавицей, если бы не суровый след горечи на ее лице. Совсем нетрудно было вообразить ее монахиней — эта умная, чуткая, интеллигентная женщина добровольно обрекла себя на прозябание в деревенской глуши. Видя ее, он неизменно вспоминал ее дядю, Ханса Шрётера, коммуниста и соратника Мюнценберга, которого в свое время прислал ему майор Уэллер, самого симпатичного из всех журналистов, с кем ему довелось работать в «Листке»; когда-то он даже предложил Шрётеру перейти на «ты», но неожиданно получил твердый, хотя и вполне вежливый, отказ — а ведь ни одному из сегодняшних интервьюеров и в голову не пришло спросить: «Вы были на «ты» с коммунистами?»

А вот у Сабины приятных неожиданностей ему испытать так и не довелось, ее, впрочем, и охраняли строже, отчасти и из-за Кит. Он отправлялся туда без звонка, на машине, Блуртмель за рулем, шестнадцать километров до Блорра

(по счастью, никто, даже Кэте, не знает, что Блорр неоднократно упомянут в его диссертации), всякий раз с неприязнью глядя на коттеджи, понастроенные на окраине деревушки, которая когда-то благодаря своим буковым и каштановым рощам слыла «лесным раем». Он и здесь поспешал как мог, но в лучшем случае вызывал легкую сумятицу, когда вместе со своей охраной натыкался на охрану Сабины, и его всякий раз сызнова неприятно поражал вкус Фишера, запечатлевшийся в мраморе и латуни. Сабину он всегда заставлял какой-то задерганной, нервной. Конечно, ему и здесь были рады, Кит сияла, немедленно тасила его гулять, она обожает гулять с ним «за ручку», заходить во дворы к крестьянам, которые помнят его еще студентом, когда он колесил тут на велосипеде, выпрашивал, срисовывал, фотографировал, делал замеры, выяснял, когда что построено, что и как переделано. Особенно старик Херманс любил «поворошить прошлое». Но теперь все приобрело оттенок убийственной искусственности из-за вечно плетущихся за ним, якобы случайно околачивающихся вокруг конвоиров, у которых, судя по всему, было строжайшее предписание неизменно держать его «в кольце». Иногда Сабина ревела и не могла объяснить почему, просто ревела, и все, на чай приходила соседка, пухленькая, немножко вульгарная, но очень миловидная, в ее банальности было что-то успокаивающее. А тихая, серьезная Сабина, его любимица (знает ли она, как он ее любит, только вот сказать не решается), совсем изнервничалась: на улице дверцу машины захлопнут или Кит в соседней комнате игрушку уронит — она вздрагивает, — неужто быть просто под надзором, как Рольф, все-таки лучше, чем под такой охраной? Не слишком ли дорогой ценой куплена эта, все равно мнимая, безопасность? Верхом Сабина уже давно не ездит. С беспечными верховыми прогулками давно покончено, а после истории с тортом Плифгера проверка с помощью специального зонда всех покупок, всех доставленных по заказу пакетов с продуктами и тем более готовых блюд (когда устраивался какой-нибудь прием) действительно стала необходимостью, ведь всякое уже бывало, всякое, уже

и сигареты приходится брать только из распечатанной пачки с тех пор, как у Плутатти в Италии пачка сигарет взорвалась в руках, изуродовав ему лицо, искалечив запястья, а уж о бутылках с завинчивающимися крышками и говорить нечего, их содержимое проверялось неукоснительно, ведь под видом «шерри» ничего не стоит подsunуть горючую смесь, знаменитый «коктейль Молотова».

Нет, в доме у Сабины он не находил покоя, которым еще можно насладиться у Рольфа и Катарины, но это и неудивительно, как-никак Сабина не только его дочь, она еще и замужем за «Пчелиным ульем». От виллы под Малагой тоже толку чуть, и лыжные прогулки Сабине уже не в радость, его дочурка, прежде такая непоседа, обожавшая танцы и верховую езду, его веселая Сабина окончательно впадала в хандру. Не исключено, впрочем, что при нем она нервничала больше обычного, ведь с его приездом число охранников вокруг дома автоматически удваивалось.

Меньше всего он любит ездить к Герберту, хотя именно с этим своим сыном он с удовольствием побеседовал бы с глазу на глаз. У этого тоже совсем другие друзья и подружки, и почти всегда полон дом. В чем-то, пожалуй, они гораздо душевнее, чем друзья Рольфа и Катарины, не говоря уж о приятелях и знакомых Сабины. Как и сам Герберт, они, конечно, тоже ярые противники «системы», парни почти все длинноволосые, девицы в платьях-балахонах, с холщовыми сумками, сами пекут себе хлеб, поедают горы овощей и салата, изредка в виде исключения и, как они говорят, «из солидарности» устраивают походы в «эти травилочки» — так у них называются кафе, рестораны и закусовые. При его появлении они ничуть не робели, всю потешались над многочисленностью конвоя (в этот проклятый небоскреб с ним меньше роты не посылали), но не над самими полицейскими, только над «всем этим балаганом сопровождения», приглашали охранников за стол, посидеть, побеседовать — слова «дискуссия» они старательно избегали, — говорили с ним о «безопасности,

которой нет», и о «смерти, которой, хоть она и наступает, тоже нет», брэнчали на гитарах, пели, запросто рассуждали об Иисусе Христе, ничуть не смущались, наоборот, высказывались напрямик: пусть, мол, не воображает, будто он со своим замком, со своим «Листком», со своим огромным кабинетом, в котором его так любят фотографировать для журналов, словом, «со всеми этими щупальцами и присосками правящего меньшинства» так уж им симпатичен, нет, им это вовсе не по душе, просто им отчасти импонирует «обаяние его немощи», немощи перед разбухающим «Листком», перед жадными щупальцами и присосками, в которые он теперь сам же и угодил. Его, мол, самого должна пугать если не «система в целом», то уж по крайней мере судьба «Листка», ведь сейчас «Листок» — просто перевод бумаги, особенно с тех пор, как вышел из моды обычай, который прежде хотя бы отчасти оправдывал существование газет: разрезать или рвать их на клочки соответствующего размера и, наколов на гвоздик, употреблять в качестве туалетной бумаги, что практиковалось почти во всех слоях населения и даже обеспечивало газетной продукции вполне разумный и целесообразный безотходный цикл. Они приводили подсчеты: сколько гектаров леса, сколько деревьев без всякой нужды расходуется сейчас на обе цели, на газеты и туалетную бумагу, а все этот проклятый гигиенический террор, и пусть он сам прикинет, сколько бумаги переводится на ненужную, абсолютно бессмысленную и бесполезную галиматью, которую печатают в правительственной, окружной, районной прессе, в изданиях бундестага, в программах радио и телевидения, в партийных газетах и партийных журналах, не говоря уж о совершенно ненужных, вопиюще бессмысленных рекламных брошюрах, обо всем этом хламе, который прямо из типографии можно отправлять на помойку, — пусть он подумает, сколько лесов «пало жертвой» этого печатного безумия и сколько индейцев могло бы преспокойно жить в этих ежедневно, да-да, ежедневно изничтожаемых лесах (знать бы им, как муторно у него на душе, и если бы только из-за лесов и индейцев, но нет, им невдомек, оттого-то, наверно, они

и разговаривают с ним чуточку свысока, больно много о себе понимают). И разумеется, ну конечно же, они против атомной энергии и против «самоубийственного» строительства дорог, хотя они вовсе не враги прогресса и даже не радикалы, во всяком случае не поддаются под этот идиотский указ*, а что до него лично, то нет, он им вот нисколечко не импонирует и даже не вызывает у них сочувствия, хотя они понимают, конечно, что он угодил в порочный круг несвободы, что он сам себе не хозяин, — и дело тут вовсе не в мерах безопасности, которые они считают просто смехотворными (как будто назначенный судьбой миг смерти можно предотвратить! Это же полный абсурд!). Нет, они имеют в виду пресловутую гангрену роста, эту чудовищную раковую опухоль, которая — он и сам прекрасно знает — сожрет его вторую или третью, словом, его нынешнюю обитель, его замок, так что он во второй (или в который там по счету?) раз попадет в категорию «перемещенных лиц». Неужто он совсем не понимает, неужто так никогда и не поймет, что грозный недуг гнездится в самой системе и ею, системой, порожден?

Почему-то друзья Герберта нравились ему меньше, чем друзья Рольфа. Слишком уж серьезные, совсем без юмора, а если и проскользнет в их речах сарказм, то скорее произвольно, неосознанно. Да и какие-то неуважительные — напроць не желают признавать, что «Листок» выполнил — а отчасти и сегодня еще выполняет — важную миссию, что была у него своя роль в возрождении демократических свобод, в созидании того нового уклада, необходимость которого после стольких лет нацистского запустения и нигилизма всем очевидна.

Пожалуй, друзья Герберта не такие отрешенные интеллигенты, как друзья Рольфа, которых ему доводилось встречать в Хубрайхене. В этих-то вовсе не чувствовалось ни враждеб-

* Имеется в виду постановление о радикальных элементах (1972), согласно которому человек может быть уволен с государственной службы за свои убеждения, если они противоречат Конституции ФРГ.

ности, ни зазнайства, просто он был для них совсем чужак; в его присутствии они не кипятились и не робели ничуть — смотрели на него как на пришельца с другой планеты, втайне, по-видимому, изумляясь, что он, оказывается, «совсем как человек», тоже пьет чай и ест хлеб, — между тем как ему они вовсе не казались такими уж чужими. В конце концов, он живет с ними под одним небом, даже в одной стране и говорит на том же наречии, но стоило ему, поборов застенчивость, спросить: «А вы, извините, кто по профессии?» — как он слышал в ответ: учитель, но без права педагогической деятельности: запрет на профессию. Рабочий-металлист, но в черном списке, и у профсоюзов тоже. Или: служащий социального обеспечения, даже не особенно левый (кто бы ему объяснил, что значит «даже не особенно левый?»), в черном списке. Или еще: «Раньше работал (служил) там-то и там-то, пока этот дерьмовый указ не вышел». Они никогда не выступали против отдельных лиц, только против системы в целом: их не возмущал домовладелец, повысивший квартирную плату, — его вынудила к этому система, вынудила посредством террора, они рассказывали ему, какому давлению, какой травле подвергают иных домовладельцев — бьют стекла, гадят в подъездах, переворачивают мусорные бачки — только за то, что те не повышают квартирную плату; при этом они признавали, что сами «живут не так уж плохо», потому что и они, и они тоже, отчасти пользуются преимуществами системы, той системы, которая «где-то там» — это «где-то там» неизменно находилось очень далеко — выколачивает такие баснословные прибыли, что и им кое-что перепадает, они, мол, сами прекрасно это сознают, а значит, тоже живут в зависимости от «этой системы», которая «что у нас, что у них» — под этим «у них» они подразумевали Советский Союз — ежедневно порождает на планете все новые армии больных, бесправных и угнетенных; в них не было ни агрессивности, ни зазнайства, только холодная отрешенность и скорбь, да, холодная скорбь, хотя, — а быть может, именно потому, что «те» преследуют, похищают, убивают не систему в целом, а отдельных лиц, — именно «те» и оказыва-

ются преступниками, не только в моральном, не только в политическом, но и, если угодно, в философско-теоретическом и даже теологическом смысле, ибо они подбрасывают системе то, что ее только усиливает и что ей ни в коем случае «нельзя поставлять»: мучеников и жертв. Поставляют мучеников и жертв на потребу прессе, радио, телевидению, на потребу пресловутым «средствам массовой информации», против которых все они, друзья Рольфа, что собирались у него за столом, сидели, курили, потягивали дешевое красное вино, ничего не могут — и не смогут, никогда им не пробить эту стену, куда им, тут они со своими листовками и транспарантами если не совсем, то почти бессильны. А жертвы и мученики только усиливали власть прессы, телевидения, радио, была в этом какая-то магия, какая-то иррациональная чертовщина — тут поневоле руки опустятся; они, друзья Рольфа, в этом отношении были отнюдь не столь беспощадны, «Листок» вовсе не упоминали, хотя ведь он тоже средство массовой информации, да еще какое. Разумеется, и им хотелось жить, как все люди: вместе с женами и детьми, вместе с подругами выезжать за город, устраивать пикники, жарить мясо на костре, танцевать, петь, но «гашиш и покрепче», «порно и похлеще» — все это они не признавали, тут и друзья Герберта, и друзья Рольфа были единодушны, ибо «гашиш и покрепче», «порно и похлеще», пьянка и прочее — все это были атрибуты системы, к которой они, пожалуй, даже не питали ненависти, только презрение, но такое презрение, что, на его взгляд, уж лучше бы ненависть. Система — это было для них ничто, «благоустроенное ничтожество», отбросами которого можно было, приходилось существовать... И ему вспомнились другие молодые люди, которых он иногда встречал у Сабины, вернее сказать, прежде встречал — меры безопасности постепенно их всех распугали. Да, в их среде это считалось модным, тут потихоньку баловались «гашишем и покрепче», в открытую забавлялись порно, а уж скольких — особенно у этих омерзительных Фишеров, которые, можно сказать, прямо-таки культивируют нечто вроде порнокатолицизма или католической порнографии, —

скольких надравшихся в стельку гостей, в том числе нередко и из разряда самых «высокопоставленных», шоферы под шумок деликатно оттаскивали в машины, и все это неизменно под идиотским лозунгом: барокко. «Что поделаешь, такие уж мы барочные люди», — это была любимая присказка старика Фишера, который начинал скромным лавочником и оказался для Блямпа идеальным поручителем при денацификации: нацистом он действительно не был, чего нет, того нет, даже помогал преследуемым священникам, прятал их, этим «абсолютно неопровержимым» историям не было конца, он рассказывал их снова и снова, во всех подробностях расписывая, как он носил в «укрытия» суп и хлеб, как в холода «обеспечивал отопление», а «иной раз и молился вместе с несчастными»; имелись даже соответствующие фотографии, вовсе не «липа», в «липе» не было нужды, на фотографиях — исхудалая монашка в каком-то погребке, рядом — кастрюлька с супом, рядом с кастрюлькой — Фишер, у обоих четки в руках; тут же и фотографии Эрвина, четырех-пятилетний мальчуган, которого благословляет спрятанный папашей священник, — нет, тут не подкопаешься, давний альянс Блямп — Фишер, о котором, хоть он никогда и не провозглашался в открытую, известно всем и каждому, этот альянс несокрушим, тем более что Цуммерлинг приобрел право на публикацию этих «уникальных фотодокументов» и готов обнародовать их в любую секунду.

А ведь есть еще где-то (только где? где? где?) и четвертая группа «тех» — назвать их преступниками было бы слишком мягко, да и неточно, даже неловко, — был еще тот космический, инопланетный мир, из которого иногда, пугающе близко, вдруг раздается по телефону голос Вероники; к этому миру, да и к миру Рольфа, совсем не подходит слово «коммунисты», оно не подходит даже к Катарине, которую все до сих пор числят коммунисткой, хотя она — вежливо, но энергично — это опровергает:

«Разумеется, я коммунистка и останусь ею, но что общего у меня с большинством коммунистов? Да почти ничего:

столько же, сколько у священника при отряде латиноамериканских партизан с папой римским или княгиней Монако — та ведь тоже католичка. И ты совершенно напрасно видишь во мне чуть ли не коммунистку двадцатых годов, это ложное, да и слегка романтическое представление: я не оттуда, не из тех времен и не из тех коммунистов, которых ты знал, даже не из таких, как дядя Ханс, — не из тех, о которых ты мечтаешь, по которым иногда тоскуешь. Сейчас не те времена, многое изменилось, сравни хотя бы с другими догмами: мне еще нет и тридцати и каких-нибудь десять-двенадцать лет назад, почти до восемнадцати, я была свято убеждена, что буду проклята на веки вечные, если приму причастие не натошак. Так что перестань грезить о коммунистах, которых ты знал, не впутывай меня в эти грезы двадцатых годов и поверь: «тех» я понимаю не больше, чем ты, а, пожалуй, ты понимаешь их даже лучше меня, хотя нет, тут мы, наверно, с тобой сойдемся: мы оба их не понимаем, но одно знаем точно — они так же несвободны, как и все мы».

Это ли не повод поразмышлять о собственной несвободе, которая все неумолимей сковывает его по рукам и ногам? Тут уж не обойтись без ностальгических картинок прошлого, которые начинаются словечком «раньше». Раньше, когда он еще был довольно солидным, самостоятельным боссом — и ведь не так давно, каких-нибудь шесть лет назад, — он мог, никого не предупреждая, удалиться из своего кабинета, выйти на улицу (вот так запросто взять и выйти), купить в киоске газету, направиться в кафе Геццлозера, где его любезно и даже радушно обслуживали, заказать завтрак, спокойно поесть, не ощущая на себе бдительных и неотступных взглядов, потом из будки автомата позвонить Кэте или просто заглянуть в цветочный магазин, купить букет для Кэте, Сабины, Эдит, иногда для Вероники, — он и в ювелирные заходил, это теперь ювелирам приходится тащить свои шкатулки к нему домой, на службу или в гостиницу, со всеми предосторожностями, под охраной. И давно уже забыты антиквариаты, куда он хаживал охотиться за гравюрами — рейнские города, рейн-

ские пейзажи, не то чтобы что-то определенное, просто рылся, ну и, случалось, находил гравюры и картины тоже. Рейн до эпохи туристического бума, как на его любимой гравюре с видом Бонна: миниатюрная, чуть побольше пачки сигарет, автор неизвестен, но какая изысканная, тонкая работа, какие сдержанные краски — Рейн, деревья на берегу, крыло замка, баржа и бастион старой таможни... И еще одно — теперь это тоже невозможно, то есть вообще-то возможно, но совершенно немыслимо — история с Эдит, и ведь даже не особенно молодая была, тридцать пять уже, кладовщица универмага, незамужняя сестра их экономиста Шойблера, умер, бедняга, а он пришел выразить ей соболезнование... Чуть до скандала не дошло — нет, он никогда не поймет, как это другие ищутся улаживать свои амурные дела под конвоем: стоит вообразить, что думают о тебе полицейские, это ж всякую охоту отобьет.

IV

Страх возвращался снова и снова, рос, страх за него, а потом и страх перед ним; теперь и не поймешь, какой страх больше, какой хуже, кого или за кого она боится, когда он — «устал, устал, устал» — возвращается с работы, вечно недовольный, бурчит что-то о квартире, о беспорядке, злой, угрюмый, иной раз прямо как буйвол, чего прежде никогда, никогда с ним не бывало. Ворчит на тесноту в домике, на участок, который слишком мал, выскивает сорняки на грядке, с остервенением набрасываясь на каждую травинку, испытующе, с легкой, едва заметной неприязнью оглядывает ее прическу, которая, конечно же, не всегда, что называется, в ажуре, особенно если она целый день возилась на кухне, в подвале, в саду или даже просто вместе с Бернхардом только что играла с собакой. Конечно, тут будут и бисеринки на лбу, а может, даже и легкие бороздки от пота, особенно под глазами и вокруг носа, и на ботинках у Бернхарда иной раз глина налипнет, да и на бетонированной дорожке в саду и возле ворот не всякую травинку успеешь подобрать; а еще он стал привередни-

чать в еде, чего раньше никогда, никогда не случалось — суп ему то слишком горячий, то, наоборот, остыл, в салате уксуса слишком много или, наоборот, мало, хотя она все кладет точь-в-точь как раньше, по его вкусу; гуляш, видите ли, жестковат, хотя он прекрасно знает, почему нынче мясо и что перед праздником первого причастия приходится экономить. Да и вообще, они опять поистратились: новая машина, выплаты за дом по ипотеке, которую они поторопились взять, а им поторопились всучить, в итоге же все оказалось совсем не так дешево, как им сулили; а кроме того, с тех пор как он на этой новой работе, все время в штатском, форму давно уже не носит, на одну одежду сколько денег уходит, она и так на одежду накидывает, но ведь он такой чистюля; на Бернхарда стал бурчать, нет, не орет, но бурчит, мальчик, видите ли, — и слово-то какое нашел! — недостаточно «грациозен», неуклюжий какой-то, целыми днями только и гоняет по саду колесико на железке, надо с ним гимнастикой заниматься, а уж когда уроки у Бернхарда проверяет, только головой трясет: совсем, мол, безнадега.

Таким он никогда раньше не был, серьезным — да, иной раз и строгим, на ее взгляд, даже чересчур, особенно когда отнимал у мальчика журналы, рвал у него на глазах эту, как он говорил, «порнографическую мерзость», хотя никакой такой особой мерзости она лично там не обнаружила, особенно в сравнении с тем, что любой ребенок может преспокойно разглядывать в витрине любого киоска. Там такое выставлено — куда похлеще этих распаленных блондинок с несусветными начесами, у которых, по крайности, срам прикрыт, а грудь если и видна, так только в вырезе. Какой тут вред для восьмилетнего мальчика, если он может пойти на пляж и увидеть куда больше, да и на пляж ходить необязательно, достаточно за забор глянуть, на их соседку, Ильзу Миттелькамп, когда она загорает или стрижет газон; там он куда больше может увидеть, гораздо больше, чем в этих поганных журнальчиках с блондинками, у которых грудь из корсета вываливается и про которых даже не поймешь, сколько им: семь, двадцать

семь или семнадцать. Конечно, они премерзкие, эти твари, помесь девочки и потаскухи, то с подленькой, притворно невинной ухмылочкой, то с кокетливой, губки бантиком, обидой на лице, то с циничным оскалом проститутки; «шлюхи вприглядку», «вампиры потребления» — все верно, такие они и есть, на уме только шикарная жизнь, путешествия, шампанское, танцульки, «бассейные нимфы», — все верно, все так, но ведь не пустишь мальчика в жизнь с завязанными глазами! Конечно, это непотребство, кругом хаос, тлен и разложение, и среди всей этой грязи мальчика надо готовить к первому причастию, целомудрие и все такое, когда сами церковники, если верить хоть сотой доле того, что про них говорят, давно ничего не соблюдают, а ее мальчик, наверно, до сих пор и понятия не имеет, что целомудренно, а что нет. Ведь Бернхард наверняка — она-то уверена, это Хуберт сомневается, они из-за этого спорят до хрипоты, даже чуть не поссорились — еще не знает, что такое сексуальное возбуждение. Но Хуберт побеседовал на службе с Кирнтером, полицейским психологом, раздобыл всякую литературу о детской сексуальности, хотя мог бы просто в глаза мальчику посмотреть, когда из-за журналов расписывался: там только страх и недоумение, он не понимает, с какой стати отец рассвирепел, у него и мыслей-то таких нет, и нечего их за него придумывать. Ну и, ясное дело, они очень много выплачивают по кредитам, каждый месяц, вот и приходится жаться, а рубашки, которые он себе покупает, слишком дороги, им это правда не по карману, ведь он — даже Моника недавно сказала — «просто помешался на хороших рубашках». И не такая уж тяжелая у него служба, чтобы каждый день вот так «устал, устал, устал»; ну, караулит шикарные виллы, расхаживает вокруг замка, следит за входами-выходами — и все время бдительность, все время смотри в оба, она понимает. Просто он очень серьезно к этому относится, он ко всему очень серьезно относится, даже слишком, и, конечно, ответственность большая, она понимает, но не до такой же степени, чтобы все время вот так — неласково, с раздражением.

Он никогда не говорит о службе, и раньше, когда в училище был и потом на сборах, тоже ничего не рассказывал. Она знает, что все они регулярно проходят психологическое обследование и тесты всякие, ведь стресс-то у него наверняка, это уж точно. Она другого боится: слишком уж тщательно, прямо-таки болезненно стал он следить за порядком и чистотой, это уже не прежний его педантизм, а мания какая-то: по часу под душем стоит, на свежееутюженных брюках что-то выискивает, носки — это уж прямо оскорбление — нюхает, прежде чем надеть, а если найдет складочку на одной из своих дорогих рубашек, такое лицо состроит, будто его смертельно обидели.

А ведь еще недавно как она радовалась, когда он приходил: вместе обедали, пили кофе, потом вместе проверяли у Бернхарда уроки, вместе помогали сыну, и пива, бывало, выпьют на террасе, и с соседями через забор успеют поболтать — о недоделках в доме, о кредитах и выплатах, о детях и вообще о жизни. Иногда соседям требовалась от Хуберта консультация, все больше по части машин и правил движения, где разрешена стоянка, где нет, где запрещено останавливаться, а где можно, скорость и все такое, их уже и в гости приглашали, Хёльстеры, которые справа, и Миттелькампы, эти слева; и они тоже успели по разочку их пригласить, одних на пиво и «солененькое», других на кофе и «сладкое». Но все как-то неловко получалось, не то чтобы враждебно, но прохладно, и каждый раз все прохладнее, потому что Хуберт слишком чувствительно реагирует на шпильки госпожи Хёльстер, которые та, и весьма ехидно, умеет вставлять в беседу. Уже было обронено словцо «легавый», как бы невзначай, как бы позабыв, что Хуберт как раз «легавый» и есть, и никто не спохватился, не попытался загладить неловкость, что не помешало им вскоре начать выспрашивать про его работу: что, мол, за служба такая, куда надо ездить таким щеголем и обязательно на новой машине. Хуберт только каменел.

Миттелькампы — те поглубей, попроще, хотя не сказать, чтобы приятней, — когда Хуберт проходил стажировку в полиции нравов, непременно хотели, чтобы он рассказал «все

подробности», у них это называлось «про панель и про постель», приставали с расспросами: «А ваша новая работа вообще, наверно, просто блеск, вы теперь в группе охранения, ведь так?» — на это нельзя ответить ни да, ни нет, а молчание, видимо, воспринималось как знак согласия. Миттелькампы еще молоденькие, лет двадцать пять, от силы тридцать, он управляющий на складе, она кассирша в супермаркете, детей нет, денег хватает. Хёльстеры — те старше, под пятьдесят, он служит в налоговом управлении, она — после того, как дочка выучилась, — опять «пошла в контору», но ненадолго, снова оказалась безработной и иногда шепчет через забор, что у нее «просто сил нет глядеть на этот бардак, просто нет сил, вот я иной раз и не сдержусь, вы уж, Хельга, не обижайтесь». Это она о дочери, взрослой уже девице — лет двадцать пять, все время расфуфыренная, шикарные машины, дорогие прически, но приветливая, ничего не скажешь, — которая вела весьма странный, во всяком случае нерегулярный, образ жизни. То она часами на машинке стучит, то куда-то на несколько дней уедет, то спит допоздна, а потом устраивает себе роскошный завтрак на балконе, а то целый день, пока все порядочные люди работают, в саду с книжкой прохлаждается — в конце концов на прямой вопрос Миттелькампа она ответила, что работает нештатно, секретаршей, сопровождает различных боссов в командировки, записывает под диктовку или готовит стенограммы конференций, совещаний, переговоров, а потом дома все это перепечатывает набело, да, работа нерегулярная, но вполне законная.

Она милая девушка, эта Клаудиа, и похоже, мать зря на нее наговаривает, и Хуберт тоже, наверно, был несправедлив, когда назвал ее «шлюхой дорожной». Он, впрочем, и ее сестру Монику тоже раньше шлюхой называл, но в ту пору к этому, возможно, и были кой-какие основания. Однако теперь Моника — она, кстати, предпочитает, чтобы ее называли Монкой, так, дескать, модней, — действительно начала новую жизнь; собственно, шлюхой она и не была никогда, просто какое-то время вращалась в таких компаниях, где подобную

репутацию очень даже легко приобрести. Сейчас она устроилась при магазинчике модного платья, иногда стоит и за прилавком, но больше на дому шьет, вяжет, придумывает новые модели, живет с Карлом, он еще студент, но подрабатывает где и чем можно. У этого Карла весьма свободные взгляды, и он открыто их высказывает, но без малейшей развязности, как это иногда все еще проскальзывает у Монки. А вообще — и сожителство без брака, просто так, и госпожа Хельстер, и Миттелькампы — ей все это так дико, хотя ведь и самой только двадцать девять, и потом, эта отвратительная манера якобы — а может, и в самом деле? — научно рассуждать о сексе, лучше уж грубые заигрывания Миттелькампа, который однажды — его жена была на работе, Бернхард в школу ушел — довольно беззастенчиво приглашал ее «малость порезвиться», расскажи она об этом Хуберту, тот убил бы его на месте. А так вот запросто говорить о некоторых вещах — про себя она все еще называет это свершением, — обозначая их соответствующими научными терминами, или вот, как Хуберт недавно, пускаться в рассуждения, бывают у ее сынишки, у ее маленького Бернхарда, эрекции или не бывают, слово-то какое жуткое — эрекции...

В иной день хочется бросить все и уехать в Хетциграт к маме, которая наконец-то живет в собственном домике с садом, но все еще тоскует по своей Силезии, которой давно нет*, а пожалуй, и не было никогда; послушать ее, так там не жизнь была, а рай земной, только мед и яблоки, льняные скатерти и католичество, ладан и Пресвятая Дева, ни забот, ни хлопот, никакой войны, вечный мир и благодать. А потом, конечно, это ужасное бегство, переселение, и сразу тебе ни яблок, ни меда, ни ладана, ни Пресвятой Девы, и всему виной, конечно, русские, кто же еще. Сказка, ну и пусть, она бы уж потерпела, послушала бы эту бесконечную силезскую сказку, если бы не Бернхард, если бы не школа. Наконец-то у мальчика появился хороший учитель, Плоцкелер, такой милый, энергичный,

* По решению Потсдамской конференции 1945 г. территории Верхней и Нижней Силезии отошли к Польше.

Карл его еще по университету помнит, и к Бернхарду очень внимателен. Нет, школу менять сейчас никак нельзя.

А с Хубертом день ото дня все трудней, но было и еще кое-что, при одной мысли об этом она сразу краснеет, а уж поговорить об этом и вовсе нельзя, да и не с кем, даже с Монкой и то не поговоришь, еще, чего доброго, поднимет на смех. И к исповеди с этим не пойдешь, потому что это не вина, да и про самих исповедников такое иной раз услышишь, что всякая охота пропадет обращаться за утешением и советом. Может, с Карлом стоило бы поговорить, но он мужчина — он, конечно, никому не проболтается и отнесется с пониманием, но потом наговорит кучу всяких ученых слов, и все. Свершение — нет, не супружеский долг, а именно свершение — вот чего ей недостает; да, она не бесполое существо, она женщина и не стыдится этого, наоборот, рада, и Хуберту всегда была рада, а он ей, она же помнит. Он всегда был с ней ласков, по-своему, тихо так, серьезно, но очень нежно, а груб — никогда, порой даже эта вечная серьезность с него слетала и он бывал почти весел, а груб — никогда, ни до свадьбы, ни после, она извела свершение с ним и любила дарить свершение ему, а сейчас ей так этого хочется, что даже стыдно. Она уже не раз ловила себя на том, что ищет в журналах соответствующие разделы и колонки интимных советов, стыдилась собственных ухищрений, сама себе казалась распущенной, когда норовила при нем раздеться, а вечером, уложив Бернхарда, нарочно оставить открытой дверь ванной, когда принимала душ, да, ей противны эти уловки, и тем не менее она прибегала к ним: оденется во что-нибудь «манящее», надушится слегка и глазами что-то вроде «вызова» изобразит — а он только поцелует ее в плечо или в щеку, но в губы или в грудь ни за что, а потом вдруг у нее же на плече заплачет, даже бурчать и придираться перестал, даже не рассердился на Бернхарда, когда тот банку с краской для забора прямо у ворот на дорожку опрокинул.

Тихий стал какой-то, сидит перед телевизором, смотрит всякую ерунду, и так часами, без разбора, даже полную чушь,

даже то, что сам раньше называл «галиматьей для ротозеев», все эти вымученные шуточки, сценки и номера, все эти «ужимки для богатых». И спорт — абсолютно все, все подряд смотрит, но не глядя. Иногда, управившись на кухне, она подсаживается рядом и видит, что он, подперев голову руками, а то и закрыв лицо ладонями, даже на экран не смотрит, хотя там как раз показывают то, что прежде его всегда интересовало: о розыске преступников, о проблемах безопасности, репортажи с места событий, полицейских на вертолетах, с автоматами, может, даже его товарищей, может, он сам там на экране, а он и не глядит. В церковном хоре пел — бросил, с сослуживцами в кафе регулярно ходил — тоже перестал, она уж думала, не позвонить ли Кирнтеру, их психологу, а может, Хольцпуке, Люлеру или Цурмаку, ведь они все время с ним вместе. И все-таки, когда он такой вот, совсем как пришибленный, ей легче, чем прежде, когда он злоющий бывал, а временами и просто подлый.

Да, она боится — уже не его, за него. Что-то его гложет, и только в одном она твердо уверена — это не из-за женщины. Нет, такое исключено. Это все от работы, как-то со службой связано, и тут она вспомнила, как Цурмак на последнем их совместном застолье, тоже уже месяц назад, подвыпив, пустился в откровенности, пока Хуберт его не остановил. Как он с женой Блямпа — «это у него четвертая, наш брат себе такого позволить не может» — туфли ходил покупать. «Их тоже понять можно, сидят в своих кабинетах как сычи, да и в поездках, в командировках — кого они там видят? А секретарши, те в курсе, те знают, где у шефа «жмет» и что ему надо, вот так все и получается, она тоже, наверно, у него секретаршей была, и следующая сначала секретаршей будет, их можно понять». Как она сидела, а ей подносили туфли, сорок, нет, пятьдесят, нет, шестьдесят пар, и она все примерила, сидит, покуривает сигаретки, журнальчики листает, и кофе ей подали, а туфли все подносят и подносят, и каждую коробку Цурмак обязан проверить — мало ли что: ведь коробки эти и из подвала, и со

складов несут, это все на заднем дворе, там полным-полно ходов-выходов. Так что «начинить» картонку с обувью, как вот недавно торт Плифгера, — плевое дело. Там этих укромных закоулков и лазеек столько, что любой или любая из «этих» запросто может забраться и силой всучить продавщице «гостинчик», а то и просто втихую подменить коробку, — словом, ему пришлось не только охранять отдельную примерочную, но и открывать и проверять каждую картонку, «а туфли, скажу я вам, такие только в кино увидишь, честное слово, просто такие секспомпончики, только выбирай, тут тебе и цвета, и фасоны, ну, и не дешевые, конечно», — и он рассказал, он подробно описал, как побелели от злости продавщицы, когда эта «задрыга», повертевшись несколько часов перед зеркалом — «и ох, и ах, и золотые туфельки, и лиловые, и туфельки, которые уж и обувью назвать стыдно», — преспокойно ушла, не купив ни пары; рассказал и о том, как был с ней в модном салоне Греслицера, все эти штучки-дрючки, шпильки-булавочки, и перешептывания, «и похотливые смешки за занавеской», тут складочка, там оборочка, тьфу ты, «и притом ведь даже не особенно смазливенькая и уж никак не красotka», а девчонкам-продавщицам, что в обувном, что у Греслицера, еще и нагоняй: почему ничего не продали, «ничего этой задрыге не всучили». Тут и Люлер вступил, поведал о том, что ему приходилось видеть на некоторых, с позволения сказать, приемах, когда «не успеешь на пост заступить, а на тебя уже плывет этакая краля и сверху на ней почти ничего, но ты не могли даже глазом моргнуть, даже вида не подай, что ты тоже нормальный мужчина и способен оценить ее прелести», и уже начал было рассказывать «об одной такой, которую сопровождал, обязан был сопровождать, в походах по барам, она не просыхала», но Хуберт его решительно оборвал и пресек разглашение служебных тайн.

Господи, да не нужно особого воображения, чтобы представить себе, как все это бывает, когда неделями торчишь на посту около бассейна в саду или на дверях во время приемов, когда все видишь и слышишь, а на тебя ноль внимания, буд-

то ты канделябр на ножке или восковая фигура, и все время смотри в оба, а на этих приемах иной раз бог весть что творится: и жрут, и пьют, и пляшут, и обжимаются, если не еще что похлеще, — и, наверно, тут, где-то тут надо искать причину, отчего Хуберт так переменялся. Некоторые — даже мама, Монка, да и Карл, пожалуй, — считали, что он уж слишком серьезный, не в меру строгий, а если он вдруг бывал мил, остроумен, обаятелен, их это даже как будто удивляло; а ведь как задорно он танцевал с Монкой, не то чтобы «ухлестывал», нет, но очень галантно ухаживал, все были поражены, каким он, оказывается, бывает милым, а злым никогда не был и сердился редко, разве что когда они, скорее по обязанности, встречались с его родителями и братом Хансом, которые до сих пор не могут смириться, что он стал «всего лишь полицейским». Да, папаша его «юрист», хотя, как позже выяснилось, не бог весть какая шишка, подумаешь, допросы протоколирует, брат — доцент философии, и они все время его подкалывают, а ему это, понятно, не по душе, отца он однажды круто осадил, напомнив, что между полицией и юстицией не так уж мало общего, да и брату очень даже ловко доказал, что у того каша в голове, — но хуже всего бывало, если кто-нибудь в его присутствии, не важно в какой связи, произносил слово «легавый»: однажды Бернхарда кто-то обозвал «щенком легавым», мальчик домой прибежал весь в слезах, а в другой раз, летом было дело, Миттелькампы в саду гостей принимали, и кто-то через забор крикнул: «Эй вы, легавая парочка, приходите потанцевать», он весь аж побелел от ярости, тогда чуть до драки не дошло; да, он ранимый, очень ранимый, но каким нежным раньше был, ласковым. А сейчас тихий какой-то, вечно усталый и грустный, уставится в телик, а сам и не смотрит, даже про спорт и полицию ему неинтересно. Даже перестал поминать «тех», которые во всем виноваты, которые «заварили всю эту кашу». Куда подевалось воодушевление — иногда, на ее взгляд, даже чуть показное, — с которым он прежде ходил в церковь, эта его упрямая, но и радостная, праздничная приверженность всему, что связано с мессой

и что он называл своим «исконным правом», и какая-то особая, веселая гордость, с которой он сносил подтрунивания, а то и насмешки соседей и сослуживцев, словечки вроде «ходячий молитвенник», а когда однажды у них в гостях один из сослуживцев сказал: «Бог ты мой, Хуберт, в наши дни от попов мало что зависит, так что зря стараешься», он в ответ яростно и безуспешно пытался их убедить, что к карьере это не имеет ни малейшего отношения, а просто «глубокая внутренняя потребность». И это правда, карьера тут совершенно ни при чем, да и приспособленцем его никак не назовешь. Он и в полицию пошел не из-за денег и вовсе не ради выгоды взвалил на себя все эти специальные сборы и немилосердные тренировки, а потому, что порядок любит, хочет, чтобы был порядок, и готов его защитить. Да, он хочет быть блюстителем порядка, строгим, но не жестокосердным, она же знает, он уже несколько человек отпустил, мужчин и женщин, магазинные кражи, и у него были крупные неприятности, но он ей так и сказал: «Эти люди не виноваты, их просто соблазнили»; и даже с проститутками, когда был в полиции нравов, обращался по-человечески, да, он строгий, но не жестокий и с ней никогда не был жесток — вот разве что в первые дни, когда он так переменялся и беспрерывно ворчал.

Все-таки, наверно, надо позвонить Кирнтеру, а то и самому Хольцпуке или хотя бы Цурмаку, все-таки он старше, да и симпатичный. Не идут у нее из головы эти сцены — в обувном магазине, в модном салоне или возле бассейна, когда ты либо стоишь, либо прохаживаешься, но все время смотри в оба, а вокруг тебя слоняются эти полуодетые, полуголые дивы с изящными бокалами в руках — прямо как в кино; ну и, наверно, да нет, наверняка, она даже что-то слышала, наверняка они ходят иногда в эти, ну да, в публичные дома, и приходится ходить и охранять, снаружи и внутри. А почему нет? То есть она-то, конечно, против этих заведений, она их не одобряет, тем более что он, когда стажировался в полиции нравов, кое-что ей рассказывал, не в деталях, разумеется, а так, в самых общих чертах, — но если другие мужчины туда

ходят, как же быть тем, кто обязан этих других охранять? Так что и они тоже туда ходят, от подопечных ни на шаг, и должны прикидываться мертвыми, но они же не мертвые. К тому же те, другие, наверняка сорят там деньгами, икра, шампанское и все такое, а когда сам ты при этом едва-едва концы с концами сводишь — вычеты за амортизацию, новая машина, грабительские проценты за кредит, — тут волей-неволей начнешь считать и задумываться. А он и так обо всем размышляет, и очень серьезно, может, даже слишком, особенно о вере. Хотя ведь сам настаивал, чтобы свершение у них было еще до свадьбы, ради нее, ради себя, и не видел тут никакого противоречия, объяснял ей — мол, ведь как в Писании сказано: «Не желай жены ближнего своего», а он и не возжелал, потому что какая же она «жена ближнего», если она ему, только ему, предназначена, что же до «жены ближнего», то это действительно нехорошо. Так уж он устроен — до всего своим умом дойти надо.

Счастье еще, что он к Бернхарду опять подобрел, перестал смотреть на мальчика с убийственным презрением, не заводит этих кошмарных разговоров о «грациозности», только молча грустит о чем-то, а иной раз погладит сынишку по голове — но до того печально, что у нее прямо сердце щемит, будто он прощается. Неужели полицейский психолог ни о чем не догадывается? Может, лучше его куда-нибудь в деревню перевести, там хоть работа понятная, да и попроще: пьяный за рулем, кража, какое-нибудь дорожное происшествие или драка, пивную вовремя не закроют или еще что, — только бы не эта гнетущая неопределенность, когда не знаешь, откуда чего ждать и всякое может случиться, но случается так редко, что они почти рады, если вдруг удастся кого-нибудь сцапать, как вот этого Шублера, про которого она читала в газете, у него ведь и правда пистолет в квартире нашли, так что ему ничего не стоило застрелить Сабину Фишер из соседнего-то дома, где он с чужой женой — тоже, видать, хороша — развлекался. Нет, он и в самом деле подозрительный тип, этот Шублер, и не очень-то верится в его «большую любовь»,

скорее уж той женщине поверишь, если она и вправду такая наивная. Ей-то, конечно, не позавидуешь, но для полиции после стольких месяцев бесплодного ожидания это была удача. А он и словом не обмолвился, вообще ни звука. Она даже попыталась было расспросить, осторожно, конечно, но он, как всегда, невозмутимо, спокойно так отделался отговорками. А она ведь прекрасно знает, что он тогда как раз в Блорре Фишеров охранял и ему наверняка все известно; ну, а этот Шублер на допросах потом все-таки окончательно запутался и признал, что он левак или, по крайней мере, раньше был леваком.

Одно, по крайней мере, ей известно, хоть он никогда об этом не говорит: он охраняет эту Фишер с ребенком, дочь Тольмов. Вот уж кто действительно настоящая красавица, волосы тяжелые и золотистые, как мед, это от матери, которая и сейчас отлично выглядит для своих лет, правда, у нее-то в волосах серебра уже побольше, чем золота, — да, красавица и притом — вот, наверно, откуда «грациозность»-то взялась! — действительно грациозная, хотя вовсе не тощая; нет, она не просто элегантная, тут что-то другое, о чем и портниха не сможет рассказать, тут как бы сама красота во плоти: и фигура, и губы, и глаза, и брови — все при ней, а еще не то чтобы нервозность, но какая-то трепетность, которая, наверно, так будоражит мужчин, — она вдруг покраснела, ей показалось странным, противоестественным думать вот так о женской красоте и даже ощущать ее вожденность, оставаясь при этом женщиной, вовсе не ставя себя на место мужчины. Да, такую стоит любить, в такую грех не влюбиться; мало того, что красавица, она еще и славная, по лицу видно. Ведь она ее сколько раз видела — по телевизору и в журналах, но и так — то верхом на лошади, то на прогулке, даже в церкви, где она вместе со своей милой дочуркой стояла на коленях перед образом Богоматери. Ее мужа, ну, этого Фишера, который «Пчелиный улей», тоже частенько видит, красивый мужчина, как говорится, не придерешься, но почему-то ее к нему не тянет, сколько ни смотрела — и так, и по телевизору, там он на

всех торжественных приемах непременно со стаканом апельсинового сока. Она снова покраснела, поймав себя на мысли, что боится подойти к зеркалу: увы, до Сабины Фишер ей далеко, нечего даже и сравнивать. То есть вообще-то стыдиться нечего, уродкой ее, слава богу, не назовешь, чего нет, того нет, и дефектов вроде никаких, и лицо, и волосы — вот разве что нет в них того блеска — и грудь, и ноги, и вообще походка, она же знает, да и чувствует, как мужчины на нее смотрят, а все равно: Сабина Фишер, дочь Тольмов, это просто другая категория, это, как говорится, «порода». Хотя, если разобраться, откуда эта «порода» пошла? Из семьи бедного учителя, из еще более бедной семьи садовника, в журналах ведь все пропечатано — и об одном сыне, «явно неудачном», и о другом, который «не без странностей», хотя «явно неудачный» нравится ей гораздо больше и вообще очень симпатичный парень. И про невестку и внуков тоже все известно. И про замок в Тольмсовене, и про «хижину» в Блорре, да и вообще про все.

Когда видишь такое, тут, конечно, участок в двенадцать соток уже не в радость, и стандартный домик, сто два метра полезной площади (включая прихожую), тоже тесноват, и собственная жена вроде уже не так хороша, тут, конечно, и на другую заглядываться начнешь, особенно если она такая ослепительная красавица, но чтобы у него с ней «что-то было» — нет, невозможно, немислимо, исключено. Неделями, а может, и целый месяц, она не знает точно, он был при ней, изо дня в день, а тут еще эти сплетни, что между ней и Фишером не все ладно. Слишком много ездит, слишком много амурных историй в этих поездках, в журналах то и дело фотографии, все время он там с какими-то девицами, то на танцах, то возле бассейна где-нибудь в тропиках. И снова и снова шепотком ползут слухи, что она то ли уже переехала, то ли вот-вот переедет обратно к родителям — и это несмотря на то, что «ее ожидают радости материнства, причем в скором времени». Что ж, приятным этого Фишера никак назвать нельзя, хоть он и очень старается, вон, все время рот до ушей,

Карл про такую манеру улыбаться говорит: «У акулы в пасти зубы, а у этих в пасти нож»*, — нет, она лично никогда бы на Фишера не польстилась, а вот Хуберт на его жену, — наверно, так оно и есть, и его можно понять: он в нее втрескался, а может, заодно и в эту их роскошь, в запахи, дорогие ткани, в огромные комнаты, а если она переехала к родителям — слух, правда, пока вроде бы не подтвердился, — то и в замок, где он, Хуберт, вот уже несколько недель несет свою службу. Значит, он снова будет с ней рядом. Но чтобы Сабина Фишер — с полицейским, нет, невозможно поверить. Странно, она совсем не чувствует ревности, только страх, потому что, если это правда, тогда ему очень, очень тяжело. Он не из тех, кто легко переживет такую влюбленность, тут есть о чем тревожиться. И вполне вероятно, что именно поэтому он утратил способность — на этот случай тоже уже изобрели какое-то мерзкое ученое слово, к тому же иностранное, — дарить свершение себе и ей; и если даже она сейчас чувствует, что ей этого свершения недостает, то каково же приходится ему: каждый день видеть ту и молчать; а потом всхлипывать у нее на плече.

Но ревности все равно не было, только страх и сочувствие, а еще желание, которому она сама удивилась: может, та, ну, дочка Тольмов, все-таки услышит его мольбу — хотя невозможно даже вообразить себе, как он сумеет ей объясниться, — и захочет даровать ему свершение. Мысль безумная, вдвойне нелепая: получается, что она, жена, желает своему мужу изведать свершение с другой, да не с кем-нибудь, а со сказочной принцессой, — и тут было еще одно, отчего она снова покраснела: если даже вдруг, то где, как, он же все время на службе, при исполнении, вот и сейчас, когда он в замке. Может, она извращенка? Или тоже вконец свихнулась от всей этой порнографии и сама не заметила?

* Намек на знаменитую балладу о Мекки-Ноже из «Трехгрошевой оперы» Б. Брехта.

В конце концов она все-таки поехала к Монке, надо же с кем-то поговорить, а больше вроде не с кем. Пусть Монка поднимет ее на смех, но она не проболтается, даже Карлу ни словечка не скажет. Она ведь тоже, пока Карл не объявился, была у Монки чем-то вроде поверенной, та все ей рассказывала, и об интимных вещах, да притом иной раз такое, что она краснела, — к счастью, в темной спальне не видно было. И она тоже никому не проболталась, даже Хуберту, хотя от рассказов Монки у нее порой ох как тошно было на душе, лесбиянки в училище, педики в школе, истории с мальчиками, истории с мужчинами, ведь Монка, по ее собственным словам, в первую волну порнографии «нырнула с головой», а «иной раз и поглубже», покуда Карл весьма энергично ее не вытащил, прибегнув к аргументам, которые Монка называла «левыми», в то время, как «консервативные аргументы других спасателей» никогда, мол, ее «не понимали». Монка была, по ее собственному выражению, «очень даже недалеко от панели», но это уже давно, года четыре или пять назад, пока Карл не вытащил ее «за космы», а теперь она вполне здоровомыслящая молодая женщина, ну, может, иногда чуточку слишком разбитная и языкастая — «только бы наша мамочка, соловушка наш силезский, никогда не узнала, через что я прошла», — ей двадцать семь, она кроит и шьет модничие блузки, юбки и сорочки, трусики и ночные рубашки, курит, правда, многовато, да и пьет больше чем нужно, и выглядит порой старше своих лет, годков этак на тридцать, а то и на все тридцать пять. Любит своего Карла, тот на первый взгляд вроде замухрышка, но это не так, оказалось, что этот хлипкий очкарик с цыплячьей грудью даже спортсмен, стайер, хотя по нему этого никак не скажешь, у него временами, по словам Хуберта, такой вид, «будто он уксуса напился». Поначалу с ними трудно было, они с пол-оборота заводились, Хуберт не выносил «левацкую трепотню, господи, вы же видите, к чему это ведет», и с порога отметал все обстоятельные и, пожалуй, иногда слишком мудреные возражения Карла, который пытался ему объяснить, «к чему ведет другое», но потом стали

играть в бадминтон, вместе кататься на велосипеде, по очереди сажая Бернхарда на багажник, и спорили все реже, разве что иногда, да и то в шутку, друг друга подначивали, Хуберт называл Карла «левым крайним», а Карл Хуберта «правым полусредним». Окончательно они поладили, как ни странно, во время спора, которого она очень боялась: спор вышел из-за молодого Тольма, которого в газетах именовали «поджигателем машин», Карл, очевидно, был с ним раньше знаком, признался, что и сам в свое время «чуть не стал машины жечь, но я гораздо моложе был, чем он, да и духу не хватило». Он втолковывал Хуберту, что этот Тольм сознательно отринул все привилегии, в тюрьме сидел, и уж кем-кем, а оппортунистом никогда не был, это уж точно, — ну, и, кроме того, во всех этих спорах ни разу не было обронено словечко «легавый», Хуберт как-то раз сказал ей: он, мол, совершенно уверен, что у Карла этого словечка и в мыслях нет, наоборот, он тоже за порядок, даже не против полиции, и, в конце концов, ведь это он вытащил Монку «из трясины»; Карл соглашался, что да, людей, мол, охранять надо, а вот банки — ни в коем разе! «Сам подумай, просто так дать себя уколошить за какие-то бабки, за вонючие бабки, которые без всякой пользы там валяются, — и жизнь положить?»

В чем-то они даже похожи. Не внешне, разумеется. Хуберт — тот рослый блондин, строгий, статный, а Карл хлипкий брюнетик, с поредевшими, жидкими волосами; и вообще, если вдуматься, даже отбросив все личное, даже позабыв, что он ей муж, а просто, так сказать, посмотреть на дело с объективной стороны, она бы никогда не променяла Хуберта на этого Фишера, ни в жизнь; ведь, глядя на него, сразу ясно, что он за человек — расчетливый, беспощадный, да и пустозвон, немудрено, что у такого семейная жизнь не клеится, а если предположить, что Хуберт и вправду влюбился в эту Сабину Фишер, то, пожалуй, как ни больно об этом думать, вполне можно понять, отчего ее собственная семейная жизнь разладилась. А Карл милый, очень милый парень, с ним и танцевать приятно, по крайней мере, никаких мурашек по коже,

как с Миттелькампом или Хёльстером. У Монки — у той вообще никаких мурашек, ни с Миттелькампом, ни со стариком Хёльстером, просто она ничего такого не допустит, от чего мурашки по коже, если, конечно, ее кожа вообще еще способна на мурашки; в крайнем случае — впрочем, дважды она при сем присутствовала, один раз у них дома схлопотал Хёльстер, другой — еще кто-то, на квартире у Монки была вечеринка их ателье — она вlepпляла партнеру оплеуху, «чтобы поостыл малость». Монка — она всякого повидала, ей в таких делах опыта не занимать. А Карл только смеялся и подбадривал: «Так его, девочка, только так! Дашь отпор буржуазному рукоблудию!»

Монка никому не расскажет, даже Карлу, хотя того, наверно, и не очень-то такие вещи интересуют. Бернхард очень любит бывать в гостях у Монки, там какао с пирожными, лимонад, там большущие куклы-манекены, повсюду разбросаны ножницы, лоскуты, иголки с нитками и вообще «не обязательно, чтобы был такой уж порядок», а в соседней комнате Карл мастерит свои макеты, и там Бернхарду непременно что-нибудь дарят — мелочь на мороженое, билет в кино или в зоопарк, и только однажды он отказался от подарка, когда Монка предложила сшить ему костюм к первому причастию: «Хочешь, сделаем из тебя маленького лорда или мини-ковбоя, поверь, младенцу Христу это понравится куда больше, чем все эти скучные синие костюмы», — но Бернхард хотел именно синий, как у всех, однако Монка, слегка обиженная, стандартный костюм шить не пожелала.

Монка так искренне ей обрадовалась, что от одного этого на душе сразу стало легче, много легче, а стоило только мигнуть, и Карл уже понял, что ему надо заняться Бернхардом — вместе приготовить какао, сбегать на угол за мороженым или журнал в киоске купить, да и в комнате Карла всегда найдется что посмотреть, а то и к чему руки приложить: макеты домов и целых кварталов, чертежи, эскизы, фанера, клей, гипс, краски, шпаклевка и огромный стол, за которым Карл сооружает

макеты по заказам архитектурных мастерских, — может, и для школы полезно, пропорции, масштаб, вычисления... Как бы там ни было, Бернхарда она на время спланировала и теперь, за кофе с пирожными, могла все рассказать Монке — запинаясь, даже заикаясь, с трудом подбирая слова, стыдясь заговорить о свершении, все только вокруг да около, выдавила: «Ну, ты понимаешь, о чем я» — и Монка кивнула, закурила, а потом, доев пирожное, снова взялась за работу. В трудных местах, когда она запинаясь или недоговаривала, Монка говорила: «Понятно, дальше» — и ни разу не засмеялась, похоже, даже и не думала смеяться, ни разу не подавила смешок, только один раз перебила ее вопросом: «И давно?» — и, кажется, испытала облегчение, услышав в ответ, что только пять месяцев. Она кивала, иногда качала головой, не смеялась, а выслушав, сказала:

— Господи, девочка, сестричка моя, да ты живешь в сексуальной Силезии! То есть я вовсе не хочу сказать, что по части секса силезцы чем-то хуже других, да ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду: сексуальную сказку, которая напомнила мне силезскую сказку нашей мамочки. — Она сказала это очень серьезно, снова покачала головой, потом добавила: — Но с Хубертом тебе поговорить надо.

— Нет, это невозможно, не могу же я...

— Не можешь — что? Разве, к примеру, нельзя его спросить, вправду ли ты за девять лет супружеской жизни так ему опостылела? Только, знаешь, брось эти журнальные трюки, они не для тебя, да и не для него, вообще не для вас, мне даже думать об этом больно... Брось, брось это, Хельга, это не для тебя, это даже не для меня, ну, может, раньше, а вы оба такие хорошие, серьезные, нет, просто больно подумать...

— Тебе — больно?

— Да, и очень, а ты как думала? Думаешь, я и впрямь такая толстокожая, какой прикидываюсь, вернее, вынуждена прикидываться? Черт возьми, да где, в каком таком силезском раю вы живете? Ты хоть представляешь, что творится иной раз хотя бы в нашем магазине? Лесбиянки так и липнут, мужики

просто прохода не дают, особенно коммерческие агенты, эти вообще наглые, оглянуться не успеешь, он уже под юбку лезет, решил, видите ли, что ему, а тем более мне только этого и недоставало для полного счастья. Тут поневоле задубеешь, иной раз и врежешь как следует, а когда совсем не вмогучу и мне одной не справиться, Карл выручает, это для них большой сюрприз, они обычно этак свысока его «Карлушей» зовут, а тут у него разговор короткий, уж он-то знает, куда и как бить. Ведь они все на этой почве свихнулись, волна поднялась, их и понесло, может, и твоего беднягу Хуберта волной если не с головой накрыло, то шибануло малость или, скажем так, подмочило чуток, и тут, сколько ты ни изображай, что ты, мол, на той же волне, делу этим не поможешь, так что лучше ты эти свои журнальные уловки брось. Вот оно что, значит, и Хуберта задело — но кто и как? Думаешь, это и правда Сабина Фишер? Что-то не верится.

— А кто еще? Других женщин он почти не видит, а там пробыл все лето.

— Ну да, и она вот от своего фрайера сбежала — все равно не верю, не представляю, хотя вполне могу представить, что мужчина... да, это я могу понять, а она скромница, даже тихоня, и, по-моему, совсем не в восторге от общества, в котором ей приходится вращаться.

— Так ты ее знаешь?

— Я все про нее читала, да и знаю немножко, ее мать иногда к нам заходит, то купит что-нибудь, то закажет — для внуков, для дочери, для невестки, да и для себя. А для Сабинины я, помню, как-то пляжный ансамбль шила, посмотрела б ты на нее в примерочной — просто богиня, но она не из таких, она серьезная, милая, но очень серьезная, никаких там тебе разрезиков и финтифлюшек, нет, она не из таких, это уж точно, хотя...

— Что?

— Да я все думаю про ее мужа — понимаешь, по-моему, нет ничего страшней, чем эти мужики, обязанные везде и всюду выставлять на обозрение свою мужественность и красоту, это

же манекены, а смеются так, что, кажется, лучше бы уж зубами орехи колол, чем так смеяться, — знаю я этот смех со скрежетом зубовным, наслушалась, еще когда в «Колибри» была. А потом уткнется в тебя, как в подушку, и в слезы. Конечно, бывают среди них и ничего, симпатичные, младший Цуммерлинг, к примеру, тот и правда славный, и смеется совсем не страшно, даже заразительно, балбес, но очень милый, у него только одно на уме — поразвлечься, чем он и занимается, да, бывают, конечно, и такие, но вот эти, с манекенской улыбочкой, или, как Карл скажет, с ножом в пасти, — их жены подчас такие фортели выкидывают, я-то знаю, просто рассказывать неохота — да это и профессиональная тайна, как в полиции, — но уж ты мне поверь, жены от них иногда пускаются во все тяжкие...

— Так ты его тоже знаешь — ну, Фишера?

— Нет, его — нет, только по журналам и по телевизору; знала бы ты, какие жалкие гроши он платит на своих фабриках — и на востоке, и даже в социалистических странах, нет, они там у себя в «Пчелином улье» по части меда не дураки, нет... И вот этот Фишер колесит по всему свету, улыбается во весь рот перед камерами в обнимку с пышногрудыми бабенками, как говорится, на всех широтах, а твой Хуберт тем временем караулит его жену и дочурку, глаз с них не спускает, и так все лето, и у бассейна тоже, Господи, как представляю, что я мужчина и вижу ее, когда на ней еще меньше надето, чем у нас в примерочной, — нет, даже подумать страшно. А может, это вовсе и не Хуберт, а она сама — а что, коли твой ненаглядный месяцами где-то по свету колесит, выискивая страны подешевле, и вечно эти гаитянки, таитянки и как их там еще — ой, Хельга, боюсь, дело дрянь, боюсь, все очень серьезно, и никакой полицейский психолог тут не поможет, тут одно остается: молиться и ждать.

— Что? Монка, родная, не надо над этим смеяться.

— Я и не смеюсь. А что тут такого — я часто молюсь, мне помогает.

— Ты? Из-за Карла, что ли?

— И из-за него тоже, думаешь, он железный? Нет, вовсе не железный, верный — это да, но не железный, у него, как он выражается, «обостренное чувство прекрасного», эстет, понимаешь ли, может и увлечься, я же говорю: верный, но не железный. Но я не только из-за Карла, иногда и просто так ей молюсь, ей, Царице Небесной. Я ведь грешную жизнь вела, даже тебе всего не рассказывала, и Карл всего не знает, вот и найдет иной раз, я тогда молюсь и плачу. Только не подумай, будто я это из-за Карла так мучаюсь. Он милый, и я его люблю, меня к нему тянет, не могу без него, да и он без меня — просто мне вообще это нужно. С Иисусом я как-то не того, не очень, да и раньше тоже, видно, чего-то недопонимаю, не разбираюсь, а вот она помогает, и тебе должна помочь — только, пожалуйста, Хельга, я тебя прошу, забудь все эти уловки, не строй из себя потаскушку, терпеть этого не могу, понять могу, а терпеть — нет, так что лучше брось. То есть, конечно, содержи себя в чистоте, следи за собой, чтобы не опускаться, и все такое, но с этим у тебя и так все в порядке. А со старушкой Тольм, с матерью ее, я поговорю, она придет, если я позвоню.

— Бога ради, ведь это только домыслы, как бы хуже не было! Обещай мне: никому ни слова, слышишь! Обещай!

— Ладно, обещаю, и ты знаешь, я слово держу. Но поговорить надо, Хуберту с тобой, тебе с Хубертом, тебе с этой Фишер или ей с тобой, — кстати, она беременна. Об этом уже везде пропечатали.

— Беременна — и от мужа уходит?

— Бывает, нервный срыв при беременности, где-то я об этом читала. Тут написано — уже на шестом месяце. Уж не думаешь ли ты?..

— Сама не верю, не могу поверить. Но — что же еще? Что-бы я ему сразу настолько опротивела? Вроде нет, я же чувствую. Только, пожалуйста, ни с кем, ни с кем не говори.

— Я же обещала. А сам-то он где? Все еще при ней?

— Нет, насколько я знаю, он сейчас в замке.

— Так и она там же. К папочке с мамочкой перебралась. А этот снова укатил на поиски дешевой рабочей силы. Меня,

кстати, «Пчелиный улей» тоже грабит будь здоров. Не исключено, что, пока мы тут сидим, какая-нибудь китаяночка выстрачивает сорочки по моему фасону, очень даже может быть. Я сама по радио слышала, что он снова в отъезде.

Вот, пожалуй, все и сказано, но при одной мысли, что такое вообще возможно, у нее перехватило дыхание, не потому, что в это совсем поверить нельзя, и не потому даже, что Хуберт, так сказать, мог столь вероломно обойтись с ней и с этой Фишер, — нет, но последствия, невероятность которых вдруг сразу прибавила в вероять: на шестом месяце, как раз пять месяцев назад. Хуберт с этой Фишер, беременность, нет, тут, пожалуй, Пресвятая Дева уже не поможет.

Не поможет ни Пресвятая Дева, ни порноволна, ни сексуальная революция, ни государство, ни церковь: для кого это всерьез, тот пропал, значит, остается только ждать, может, поговорить, заговорить с ним, облегчить его душу, погладить по голове и заглянуть в глаза, глубоко, ни в коем случае не строго, просто вопросительно и немножечко грустно.

— Слушай, — спросила она Монку, — а ты не могла бы разузнать, где он — ну, этот Фишер — был пять месяцев назад? Понимаешь, ведь если она и правда на шестом...

— Хельга... Да, это я могу разузнать. А ты, оказывается, смышленная...

И тут, ощутив тепло сестринской ладони, лепеча слова благодарности, она наконец расплакалась, ей стало легче, ей помог этот душещипательный, душеспасительный разговор, его обманчивая легкость. И что не было смешков, ни вслух, ни про себя, да и кто сказал, что плакать плохо, нет, ей надо было выплакаться. Значит, у него все-таки что-то с ней было, а теперь у нее от него ребенок, и если это так, если она не ошибается, что ж, ребенок — это не беда, вот только одно для него плохо, что он, наверно, был при исполнении. Но пока никто, конечно, ни о чем таком не догадывается. Никто ничего не знает, все только домыслы, не более того. Значит, Хуберт не болен, — или как там у них это называется? — он просто запутался, вконец запутался. Что ж, надо утереть слезы, взять сынишку за руку и ехать домой.

В автобусе она думала об этой женщине. Ей, наверно, тоже тяжело, если она и вправду такая скромная и серьезная, у нее ведь уже есть ребенок от другого, прелестная малютка, такая очаровательная в жокейском костюмчике. Да, ей тоже нелегко, и она совсем не легкомысленная. Просто они забылись, а остановиться уже не могли, вот их и затянуло, все оказалось куда сильнее, чем они, наверно, сначала думали, и затягивало все глубже и глубже, такое уж это дело, хоть о нем все и говорят этак снисходительно, как бы между прочим («ах, боже мой, было, конечно, разок, сами знаете, как это бывает»), — а теперь вот, оказывается, затронуты, втянуты шестеро, и еще один, маленький, будущий человечек, которому уже шестой месяц...

V

В этом он давно исповедался, еще тогда, в самом начале, поехал в субботу за город в первую попавшуюся церковь, где в исповедальне даже оказался священник, молоденький, от него пахло лавандовым мылом, бедняга аж подскочил, когда он без долгих слов перешел к делу, делу, которое ощущает в себе как грех — нарушение служебного долга и супружеской верности, прелюбодеяние, и ему сразу полегчало, потому что священник вроде бы тоже воспринял все всерьез. Наверно, потому что голос у него был исповедальный, нешуточный; надо было изложить все обстоятельства, он изложил, рассказал о Хельге и Сабине, насколько все это для обеих серьезно, а будет еще серьезней. Совет был дан однозначный: просить о переводе, немедленно. Да, он раскаивается, но уже там, в исповедальне, стоя на коленях, потом сидя, он знал, что о переводе не попросит. Это было давно, задолго до того, как выяснилось, что Сабина беременна, и он вынужден был обвинить самого себя «в нелюбви к жене и сыну». Он не в состоянии объяснить, почему вдруг подобрел к Хельге и Бернхарду, когда узнал, что Сабина ждет ребенка. А теперь, если удастся выкроить в субботу час-другой, он снова едет в ту церковь, даже заходит, но не в исповедальню. Церковь ему не нравится, некрасивая какая-то: послевоенной постройки, бедная,

сложенная из чего придется, почти нищая и уже вся побитая, хоть и стоит лет двадцать пять, не больше, — внутри сумрачно, неугасимой лампы почти не видно, перед образом Богородицы одна, от силы две свечки, да и то если повезет; вокруг исповедальни никакой толчеи, как в дни его юности, лет в пятнадцать-шестнадцать, — несколько исповедален, к каждой очередь, запах ладана от предыдущей службы и потом странная, почти физически ощутимая сладость покаяния, когда, встав на колени, все они замаливали свои грехи, — словом, толкучка. А теперь, лет двенадцать-тринадцать спустя, — никого, редко женщину встретишь или стайку детишек, по которым сразу видно, что их к исповеди пригнали, вот они и хихикают. И все равно он привязался к этой церквухе с ее жалким, отполированным святым Иосифом в нише, который, видимо, считается покровителем храма, да, он привязался к ней, как-никак он нашел тут священника, который еще способен выслушать кого-то всерьез, — Монка рассказывала ему про совсем других исповедников, те вообще слышать не хотят слово «грех», вот почему он так тревожится за Бернхарда, сыну ведь скоро к первой исповеди идти, а Хельга молчит. Ему больно думать о ней, больно и горько, как и о Сабине, которая однажды шепнула ему: никогда, никогда больше она не пойдет к исповеди.

Кругом хаос, разложение, и сам он погряз в этом по уши, и не по чьей-нибудь, а только по своей вине, в крайнем случае — это опасная мысль, но Сабина не боится ее высказывать, — по вине «тех». Ее слова — «этим мы обязаны им» — не идут у него из головы. Он одно знает: надо поговорить с Хельгой, все ей сказать, это нужно и ради Сабины, которая тоже связана его молчанием. А ведь и ей необходимо объяснить — с мужем, с родителями.

Пивная напротив церкви, судя по всему, особым успехом не пользуется, за пять месяцев в ней третий раз сменился хозяин, два-три пенсионера да столько же иностранных рабочих — вот и вся публика, ростбиф и котлеты в стеклянной витрине смахивают скорее на окаменелости, но пиво хоро-

шее, и музыка, слава богу, не верещит, музыкальный автомат сломан, молодежи он здесь вообще не видывал, хозяин был явно не в духе и так демонстративно скучал, что, подав ему вторую кружку, начал клевать носом.

Получить перевод, конечно, проще простого: нервы, переутомление, один и тот же круг охраняемых лиц, притупившееся восприятие. Кирнтер санкционировал бы перевод без колебаний, но перевести их можно только всей группой, разбивать их никак нельзя, они «сработались», к тому же «адаптировались к среде», у Блямпа уже были, на вечеринках и солидных приемах тоже; он мог бы вообще попроситься на другую работу, даже в другой город. Его бы поняли, у них серьезно относятся к подобным вещам — срывы, раздражительность, даже личная антипатия, — все бывает, и все это принято открыто обсуждать; к Блямпу так и так больше не пошлют, после того как Цурмак сказал: «Туда — ни за что, к этой — никогда, лучше уж всю жизнь проторчать в любой дыре, драть штрафы за неправильную стоянку и превышение скорости!» Это Цурмак о том, что Кирнтер называет «моментами легкой непристойности, которые затрудняют работу». Но ведь речь не о спичках, о живых людях, об их нервной системе; на беседах с Кирнтером обсуждались и не такие вещи, тут можно, нужно было говорить обо всем, что накопело, Люлер, например, то и дело поминал «этих шлюхастых дамочек, которые специально подставляются, а попробуй тронь!» Действительно, был такой случай, на вечеринке в саду, на вилле одного весьма важного деятеля, они и так нервничали изрядно, видимости почти никакой, только бумажные фонарики, работать трудно. Около трех, когда нравы стали раскованней, а самого деятеля, пьяного в дым, на их глазах буквально волоком оттащили в машину, Люлер и пал жертвой одной такой дамочки, про которую было известно, что она совсем не прочь, так сказать, выдать стриптиз и в частном порядке, вот Люлер «и хватанул разок, коли сама напрашивается», за что тут же получил по рукам, да еще был обруган «легавым». «Сейчас же избавьте меня от приставаний этого легавого!» Черт возьми,

конечно, все они были на стороне Люлера, обсудили этот инцидент и возможность других подобных инцидентов, которые Кирнтер и Хольцпуке отнесли к категории «потенциальных опасностей». Больше, конечно, такое не повторится, но если бы Люлера от них деревели или, тем паче, наложили на него взыскание, они бы тут же собрали манатки; но их просто перестали посылать на вечеринки, где дамочки выходят из себя, а всякие важные деятели напиваются до такой степени, что их, будто мокрый тюфяк, надо в машину волочить, ну и, конечно, Цурмака никогда больше не отправят сопровождающим в обувной магазин.

Кирнтер просил с пониманием отнестись «и к другой стороне»: «вы учтите, такая неусыпная охрана убивает у людей всякую личную жизнь — тут есть от чего свихнуться, им это можно, нам нельзя». За себя-то он спокоен, на дамочек, которые сами предлагаются, ноль внимания, они для него хуже потаскух, у тех, по крайности, это хотя бы профессия, пусть и сомнительная. Кирнтер говорил в таких случаях о «зыбких границах между промискуитетом и проституцией». И только одного, выходит, никто из них не учел: что дело может принять серьезный оборот, что найдется такая, которая не закричит, не позовет на помощь, не обругает «легалым», не станет бить по рукам, и притом совсем не шлюха; такая, для которой все настолько серьезно, что она еще будет чуть ли не благодарна «тем» — чтоб им пусто было — за свое счастье. И обрадуется ребенку, а про пилюли и про аборт и не подумает. А ведь такое бывает между мужчиной и женщиной, бывает и у миллионеров с секретаршами и продавщицами, и вот у жен миллионеров с полицейскими, выходит, тоже.

И он не стал просить о переводе, вообще никому ничего не сказал, даже Кирнтеру, который, разумеется, сохранил бы, так сказать, тайну исповеди и подыскал благовидный предлог, чтобы его перевести. С наигранной тоской, втайне прекрасно осознавая, что это сладкий самообман, он мечтал о тихом местечке в деревне: драки по праздникам, пьяный за рулем, мелкие кражи, но и — это он тоже знал — гашиш и героин,

и безнадежное рысканье, беготня, расспросы, толпы скучающих юнцов с шоферских курсов в кафе или на автостанции. Хаос, тлен, разложение, он никогда не хотел в эту грязь, а вот влип по уши, и никому он не желал беды, ни Хельге, ни сынишке, и рад, что Сабина вовсе не выглядит несчастной, только, как и он, тревожится за Хельгу и Бернхарда. Но как быть с ее ребенком и с еще одним, которого она ждет, как быть с ее мужем? Как-никак он ей все еще муж, их свадебные фотографии до сих пор печатают, ведь не так уж много лет прошло: эта баснословно дорогая «простота», с которой они были одеты, оба молодые, сияющие и оба ужасно «скромные» в своих баснословно «скромных» нарядах. Он не стал просить о переводе, не ходил больше к исповеди, только иной раз часами просиживал в захудалой церквухе и в грязной пивнушке напротив, размышляя о субботнем запустении, о серьезности священника, думал о его единственно правильном совете: перевод, и немедленно. И снова и снова вспоминал слова Сабрины — «этим мы обязаны им» — и еще этого Беверло, с которым она так любила потанцевать. Ревность? Да, ревность, и опять-таки не к Фишеру. Не может он последовать умному совету, не хочет никуда уезжать, расставаться с Хельгой и Бернхардом, хотя знает ведь: втроем — да нет, вшестером, даже всемером, — нет, не получится, не бывает так.

И вот он торчит в замке, бродит вокруг замка и не может ни позвонить, ни написать, а в мыслях только одно: неужели ей так трудно родителей навестить? Она редко приезжала, и он пытался представить, о чем она беседует со стариками: может, о ребенке, которого ждет, о его ребенке. «Мой» — как-то это в голове не укладывалось, да и прежде, когда Хельга ждала Бернхарда, он чувствовал то же самое: мой, твой, его — все это пришло потом, когда Бернхард уже родился: это был его ребенок...

Лучше не думать о том, что будет, если все «откроется» прежде, чем Хельга сама об этом расскажет; охранник с подпечной, скандал, хотя что тут такого особенно скандального: мужчина и женщина, он женат, она замужем... Мир от

этого не перевернется. Мир и не такое видывал, вон сколько их, грешников, в земле лежат, сколько могил травой поросло, и вовсе он не думает, что он Сабине «жизнь порушил», не такая уж пропащая у нее будет жизнь. А думает он все время почему-то о «тех», о том, сколько они всего натворили, сколько незримых ниточек дернули, сколько мелочей сдвинули с привычных мест: начиная от обувных коробок, которые проверял Цурмак, бледных от ненависти продавщиц, шлюхастой дамочки, что перед Люлером выставлялась, и кончая Сабиной, а еще эта чертова история с соседкой Сабины и ее любовником, вот тем-то, похоже, и вправду «жизнь порушили», хотя — как уведомили общественность — «не без оснований», так и написали: не «по заслугам», а именно «не без оснований», потому что у Шублера и вправду обнаружили пистолет, некую подозрительную литературу, но ни малейшего намека на конспиративные связи, а тем паче на какие-либо списки или планы; да и литература была довольно старая, примерно десятилетней давности, а уж пистолет — допотопный револьвер, скорее на детский «пугач» смахивает, правда с патронами.

И еще одно не дает ему покоя, злит, мучит, выводит из себя: отчего так получается, что в шашнях Шублера с Бройер он видит только мерзость, вероломство, грязь, а все, что у них с Сабиной, кажется ему возвышенным и чистым, это «совсем другое», между тем разницы-то никакой! Сидя в пустынной забегаловке, в еще более пустынной церкви, он все пытался выправить злосчастное «это не одно и то же», хотя ведь ясно как дважды два, что сам он нисколечко, ни на йоту не лучше, но почему-то мнит о себе бог весть что. В свое время, когда он в нравах стажировался, отлавливая парочки в парадных и по кустам, в закоулках, за деревьями и вообще где только можно, он считал, что это мерзость, скотство — вот так, «в любом углу», — а оказалось, он, полицейский, такой корректный и добропорядочный, способен делать то же самое, а она, Сабина, обнаружила такую изощренную сноровку в заметании следов, что его это даже пугало: вдруг где-то там, в той, давно

прошедшей, давно позабытой жизни, она все это уже проделывала — тоже украдкой и тоже в любом углу.

И вот он торчал в замке, бродил вокруг замка, обследовал лестницы и коридоры, пытался угадать ее черты в лице матери, отца, угадывал и узнавал в обоих, обмениваясь с ними парой слов, на ходу, но всегда любезно, радовался малейшим приметам сходства: в уголках губ, очертаниях лба — и мучился, ужасался от одной мысли, что ему придется ее оставить. Но еще чаще думал о Хельге и о том, что вынуждает Хельгу его «соблазнять», а ему от этого только хуже. Может, прежде чем объясниться с Хельгой, стоит посоветоваться с кем-нибудь еще, не с Кирнтером, но, может, с Карлом, ведь он и вправду, тут уж ничего не скажешь, вон сколько приложил ума, любви, долготерпения — не исключено, что и системный анализ помог, — чтобы вытащить Монку из трясины. Кругом хаос, разложение, тлен, вот он и влип. С родителями не поговоришь, тут надежды никакой. Его профессия настолько оскорбляет их «сословную честь», что «полицейский» звучит в их устах куда презрительней, чем у иных «легалый». Никак, никак они не поймут, что и на этой стезе вполне можно снискать почет и уважение. Кичатся профессией «юрист», хотя в самом этом слове уже есть что-то жуликоватое. Расскажи он им о Сабине, и, как знать, они еще, чего доброго, удумают, что Сабина «подходит» ему куда больше, чем Хельга, ведь Хельга всего-навсего дочь силезского беженца, который хоть и утверждает, что работал фабричным мастером и что у него был собственный домик, но даже фотографию этого домика так ни разу и не сподобился показать. И с братом Хансом тоже не поговоришь, тот сразу начнет гнусаить что-то научное, все больше в социально-историческом аспекте, на словах-то он все растолкует, все по полочкам разложит, только где они в жизни, полочки эти самые; Ханс пустился бы в отвлеченные материи, во всем обвинил бы пороки моногамии, может, в этом что-то и есть, он и сам задумывался, почему ему и Сабину нужно удерживать, и Хельгу отпускать не хочется, причем с Хельгой его связывает что-то одно, и этого не объяснишь,

а с Сабиной что-то совсем иное, и этого тоже не объяснишь, но с обеими — накрепко, до боли, а выглядит все до ужаса банально, в любой газете каждый день про такое пишут, — и тут уже не поможет ни исповедальня, ни лаванда, и раскаяние не поможет, да и перевод вряд ли; да, он искал ее черты в лице матери, в лице отца, и все же он испугался, когда она сама, живьем и во плоти, приехала в замок.

Приехала с матерью, с дочкой, с очень скромным багажом — но насовсем, это было видно и по всему чувствовалось. Он как раз заканчивал обход парка, осмотрел оранжерею и приостановился в углу во внутреннем дворике, чтобы не столкнуться с ними нос к носу, но все же достаточно близко, чтобы вежливый поклон выглядел уместным: девчушка в ответ вскинула руки — «свинская яма!» И в осанке Сабины, в развороте плеч, в ее лице он прочел окончательность переезда и сразу подумал о Фишере: что там у них стряслось? Было во всем этом что-то от фильмов, где немой кадр предвещает беду, хотя никто не виноват, только судьба, трагедия, — и он испугался, но не за Сабину, не служебных неприятностей и уж тем более не Фишера, он испугался только за Хельгу и за мальчика, который всего этого еще не поймет. Испугался камня на своей шее. Кому, кому такое объяснишь?

VI

Вечером, после трудов праведных, ритуал, на котором Хольгер настаивает, за молоком к Гермесу, в любую погоду, от семи до полвосьмого, хочешь не хочешь, все равно иди, по правую руку Хольгер, в левой — бидон, а Катарина тем временем готовит ужин: чаще всего суп, хлеб, сладкое, а потом, перед тем как уложить сына спать, чай возле печки. В теплые вечера ужин на воздухе, в саду между домом священника и стеной, и неизменный костер, этого требует сынишка, утверждая, что «огонь так интересно рассказывает...» И священник иной раз на огонь приходит, Ройклер, молодой, сосредоточенный, но какой-то дерганный, нервный, ни минуты спокойно не посидит, сам же заговаривает о серьезных вещах,

а потом отмалчивается, курит сигару, улыбается, ни словом не намекнул, что охрана ему в тягость, успокаивается только когда немного выпьет, и каким-то особенным, печальным взглядом смотрит на женщин — на Катарину и на жен их друзей. Иногда приводит и экономку, пожилую женщину, которая, по всей видимости, приходится ему теткой, та смотрит на них со смесью недоверия и страха, никак не возьмет в толк, что они за люди, и впадает в окончательное смятение, когда к ним наведываются отец или мама и весь сад заполоняют охранники с рациями. Она решительно отказывается понимать, «что творится в этом мире», и, вероятно, по-своему права: кто и когда понимал, что в нем творится? А тут перед ней собственной персоной не кто-нибудь, а сам старик Тольм, сидит как ни в чем не бывало и безропотно принимает печенье и чай из рук этой особы, которая, если разобраться, его сыну даже и не жена. С этой особой, да и с другими можно, оказывается, про вязанье поговорить, про стирку и про заготовки на зиму — а при этом они... так кто же они на самом деле? Коммунисты — это уж точно, если не хуже, если не вообще бог весть что, словом, «подозрительные элементы»; попытки объяснить ей разницу между охраной и надзором оставались тщетными, конкретный системный анализ тут совершенно бессилён. Ее, очевидно, удивляло — она даже вскользь высказывалась на эту тему, — что у них «все так чинно», то есть, вероятно, в том смысле, что никаких сексуальных оргий, вообще никаких непристойностей. От нее поступали самые достоверные и оперативные донесения, когда затевалась очередная «модернизация»: в деревне то и дело кто-нибудь надумывал сменить старые оконные рамы и двери, обновить перекрытия, содрать старую обшивку, сломать стеной шкаф и был только рад избавиться «от этого хлама». Ему оставалось погрузить все на тачку, привезти домой, распилить, расколоть — годные вещи он складывал в сарае, ремонтировал и потом продавал, — во всяком случае, в дровах недостатка не было, так что выпечка хлеба стала если не доходным, то, по крайней мере, и не накладным делом, какая-никакая, а экономия, к тому же

друзья регулярно берут у них хлеб, и из деревенских кое-кто иногда покупает, а священник и вовсе другого хлеба теперь не ест. Печурка для хлеба, которую он в свое время выломал у Клюверов и пристроил в сарае, начинает себя оправдывать; за разговором о домашних «закрутках» ему вспомнилось, как Генрих еще давно, лет десять назад, еще в Айкельхофе, с цифрами в руках доказывал матери, что домашние «закрутки», вопреки утверждениям рекламы, обходятся куда дешевле консервов, моду на консервы и полуфабрикаты он обозвал «псевдопролетарщиной», еще тогда, и восхвалял мещанские добродетели: картошку и овощи в погребке, соленья, варенья, компоты, маринады, и обувь покупать он еще тогда их учил, и, в конце концов, он печет хлеб не только забавы ради, домашний хлеб просто-напросто вкусней, вот и Катарина уже стала прикидывать, не основать ли «собственную колбасную фабрику», заключив с крестьянами договор на поставки мяса, — пара, мол, обосновываться «всерьез и надолго».

Почему-то словечко «надолго» его беспокоит. В глазах священника он все чаще угадывает, что никакого «надолго» тот гарантировать не может, поэтому и размеренный ритуал, в который превратилась их здешняя жизнь, постепенно теряет свою идилическую прелесть: с утра работа в саду или за верстаком, сбор урожая, сортировка, обработка — это для себя, то на продажу. Катарина тем временем с детьми, либо на прогулке, либо в зальце при доме священника, его то и дело зовут помочь с ремонтом или на огороде, щедро расплачиваются натурой; морока с дровами — заласти, распилить, наколоть, сложить, — дел хватает. Эту свою страсть заготавливать как можно больше дров сам он истолковывает в том смысле, что, значит, его тянет к теплу, уюту, безопасности, хотя сам же — и не только в глубине души — ничуть всему этому не верит; а ведь, казалось бы, живи — не хочу: еда, жилье, одежда — все почти даром, и лишь изредка, совсем изредка, отголоски, скорее даже тени воспоминаний о первых трудностях, о первых невзгодах их здешнего житья-бытья, когда многие, очень многие не только относились к ним с открытой вра-

ждебностью, не только выкрикивали ругательства им вслед, но и вполне целеустремленно норовили выжить их из деревни. Это было отвратительно, да и тягостно, и только благодаря Катарине, которая не спасовала, не хныкала, наоборот, снова и снова «ставила себя на место этих людей», — чем постепенно сумела убедить и его, — только благодаря ей они и обрели этот спасительный покой.

Последний ритуал дня, ежевечерняя прогулка за молоком, был и единственной, не считая случайных приработков, прочной ниточкой, связывавшей его с жителями деревни; когда он с Хольгером заходил к Гермесам в их молочную кухню и протягивал бидон, их чаще всего встречала бабушка, сгорбленная старуха с живыми светлыми глазами из-под кустистых бровей, такая же немногословная, как и он сам. Долгие месяцы каждый из них считал молчаливость другого признаком недружелюбия: он безмолвно протягивал бидон, она безмолвно наливала полтора литра молока, он все так же безмолвно протягивал ей заранее отсчитанные деньги, пока однажды уже дома не обнаружил, что в бидоне не полтора литра, а добрых два, если не больше, ведь она всегда наливала ему, как деревенские говорят, «с походом», — с течением лет он научился по весу бидона определять, какова сегодня добавка; поскольку же бидон вмещал только два с половиной литра, а им иногда — для теста или молочного супа — требовалось на литр больше обычного, места для добавки, а уж тем паче для совершенно обязательного и в этом случае «похода» не оставалось, так что, видимо, все-таки имеет смысл купить бидон литра на три-четыре, ибо и добавка, и даже «поход», которого, по словам Катарини, как-никак вполне хватает, чтобы забелить кофе, составляли для них немалую экономию, а им приходится экономить; кроме того, Катарина хоть и не крестьянская дочь, но все же выросла на крестьянском дворе у своего дяди Коммерца и совершенно не понимала, с какой стати они должны отказываться от добавки и «похода». Лишь позже он разглядел любопытство в глазах бабушки Гермес, слегка насмешливое любопытство, которое ему опять-таки

объяснила Катарина: «Господи, ты же этих людей очень интересуешь, как ты не поймешь — машины жег, в тюрьме сидел, и это при отце, которого все знают и считают за своего». Еще некоторое время спустя старуха поделилась соображениями о погоде, он ей ответил, а вскоре стал находить эту метеорологическую литанию*, в которой были свои строго обязательные зачины, присказки и прибаутки, даже забавной; еще через какое-то время она показала им электродоилку и погреб, как бы невзначай сунула Хольгеру яблоко, поведала о продвижении внуков по стезе образования, которое происходило с переменным успехом. Много позже, почти через год, она робко спросила о своей дочери, «Бройер, может, знаете, она ведь соседка вашей сестры», и он вынужден был сознаться, что еще ни разу, честное слово, ни разу не был в гостях у сестры, поэтому с госпожой Бройер не знаком, и, подумав, добавил: «Видите ли, у меня с шурином нелады». Что его до сих пор поражает: никаких сплетен, и от других крестьян тоже, то есть они иной раз позволяли себе при нем кое-какие замечания, но сплетен — никогда, у Катарины и на этот счет было свое объяснение: между собой и друг про дружку они, конечно, сплетничают, но чтобы при нем, чужаке, который не варится с ними, деревенскими, в общем котле, — ни за что!

И вот еще что поразительно: мужчины оказались куда болтливей и жадней до сплетен, чем женщины, вечно они шептались, шушукались даже о священнике, «который что-то уж больно часто в Кёльн ездит», и снова Катарине, которая знала все это еще по Тольмسخовену, пришлось его просветить: «поехать в Кёльн» — это двусмысленный, а точнее даже многозначный намек, который означает — исповедь или бордель, для женщин, разумеется, исповедь или магазины, ну, а поскольку священник вряд ли станет шастать по магазинам, да и бордель в его, Ройклера, случае тоже довольно сомнителен — все-таки молодой еще и «из себя видный», — оставалось предположить одно из двух: либо женщина, либо ис-

* Вид католической молитвы, при которой священнослужитель и прихожане обмениваются словами в строгом порядке рефренов.

поведь, или то и другое вместе; в прежние времена, вероятно, не исключили бы и кинотеатр — может ведь человек в кино съездить, ничего плохого тут нет, — но сейчас, когда в каждом доме телевизор, это было бы странно.

Для младшего Гермеса, тоже крестьянина, его приход, безусловно, всегда был событием, источником любопытной информации; про свою сестру он осведомился только однажды, зато напрямик расспрашивал об «этих самых» прежних его «акциях», интересовался Вьетнамом, ужасно удивился, услышав, что это все крестьяне, как и он, — изувеченная земля, выжженные леса, загубленная скотина, — он, оказывается, хорошо помнил, как в здешних местах выглядели лес и пашня после войны. Война — она всегда против крестьян, — словом, у него они тоже получали и добавку и «поход», впрочем, ни на то, ни на другое ни в коей мере не скупилась его пугливая жена — та, правда, очень нервничала, случалось, даже проливала молоко, видимо, от страха перед ним и из жалости к Хольгеру, которого она изредка гладила по головке, как бы желая сказать: бедный мальчик, он-то чем провинился? — и Катарину, вероятно, тоже считала своего рода «заблудшей овечкой», посылала ей «гостинцы» — то яйцо, то горстку орехов. Все же и с ней, несмотря на затаенный страх в ее глазах, можно было поговорить про огород, посоветоваться и даже дать совет, например, насчет салатной свеклы и особенно насчет китайской капусты, которую он, так сказать, ввел в здешний обиход, хотя само название сорта — китайская — многих настораживало, и до сих пор он все еще гораздо больше, чем Катарина, боится, когда они, правда редко, выбираются вечером в деревенский трактир. Ведь и уют собственного дома иной раз может осточертеть, или, по выражению Катарины, «обрыднуть», ну, а поскольку Катарина говорит на *ихнем* диалекте, это как-никак располагает, создает предпосылки к общению, но, когда кто-нибудь подсаживался к ним за столик или пристраивался рядышком за стойкой, на политические вопросы, даже заданные без провокационных целей, они не поддавались; объясняли, если их об этом спрашивали, про

деньги, процентные ставки, погашение долга, денежное обращение, пытались даже растолковать, почему проценты в сберкассе почти всегда соответствуют уровню инфляции. Погашение долга, хитрости налогообложения, вклады — тут они его внимательно слушали, знали, что в этом деле он дока, а он старался объяснять спокойно, без полемического нажима, полагаясь на то, что сущность системы откроется им сама и сама все про себя скажет: как нарочно снижают проценты, чтобы выманывать у них деньги, они ведь даже не догадывались, что политики отговаривают их копить деньги, и он как умел старался объяснить, почему политики поступают так и не могут иначе, чтобы они разглядели кое-что конкретное за извечной мужицкой присказкой «нашего брата все одно надуют», и тогда в их глазах вспыхивал страх — страх потерять «горбом нажитое добро»: дом, участок, шкафы, что ломятся от барахла, счета в сберкассе, которые у них норвят «пощипать», так подло, «по нахалке», снижая их кровные проценты; никаких, ни малейших оснований для страха у них не было, но они все равно боялись, и постепенно он начал их понимать — с помощью Катарины, которой было легче, потому что она говорит на «ихнем» диалекте, и каждый знает, что она всего-навсего коммунистка, а никакой там не «подрывной элемент», и отца ее все тут знали, и дядю, и мать, «набожную Луизу», все помнили, — впрочем, с похвалой вспоминали и его отца, и его маму: «Господи, Тольмы — это же наша гордость, он и Кэте Шмиц», — и спрашивали его, правда ли, что и Хубрайхен «вроде бы тоже», и делали жест, как бритвой по горлу, на что он качал головой: ничего такого он не знает; и все равно, когда они потом шли домой, ему снова было страшно. Это был уже не тот вполне конкретный страх, как в первое время: что им побьют стекла, подпалят хижину, силой выгонят из деревни, несмотря на заступничество священника, а совсем иной страх, страх тишины и еще чистоты, эти чистые улицы, на которых даже в пору урожая не увидишь ни соломинки, ни клочка сена, ни листка свекольной ботвы, не говоря уже о коровьей лепешке. Он ничего не имеет против

чистоты, чистота — хорошее дело, приятное, и против аккуратных палисадничков перед каждым домом с клумбами из старых, но непременно покрашенных тележных колес, с обязательной тачкой, разрисованной цветами, — если бы только не веяло от этой тишины и чистоты среди глухих стен крестьянских подворий каким-то холодом, каким-то могильным покоем. Все вылизано и ухожено, как могилы на кладбище, да, могильный покой, и среди этого покоя сын крестьянина Шмергена вдруг вешается в хлеву, без всякой видимой причины, сколько потом ни ломали голову — ни роковой любви, ни неприятностей с армией, ничего, милый, тихий парень, все его любили, а какой был танцор, — ни намека на повод, и тем не менее однажды в воскресенье, после обеда, в самый что ни на есть тихий час, он вешается в хлеву у себя за домом, среди могильного покоя, ни с того ни с сего. Или вдруг крестьянин Хальстер убивает свою жену — богатырь, кося сажень в плечах, и хозяин отменный, у такого все справно, и под образком Богоматери на столбике возле длинной, просто бесконечной стены всегда свежие цветы и лампадка горит, — все у него было: и почет, и достаток, и уважение, у этого молчуна, который своих работников содержал так, что об этом легенды ходили. Они уже больше трехсот лет на этом подворье сидят, Хальстеры, а уж сколько пасторов и юристов, учителей и чиновников вышло из их семьи и разбрелось по свету от Кёльна до Австралии — всех и не счесть, и не было такой войны, на которой один-другой Хальстер не погиб, вплоть до наполеоновской и даже раньше — древний, разветвленный, могучий род, почти династия. Да и она — статная, ладная, темноволосая, почти красавица, слышавшая к тому же «тихоней», — и вот однажды, между утренней мессой и обедом, он стреляет в нее из ружья. Поговаривали, правда, что она якобы «порченая», ничего толком не объясняя, намекали только на ее бездетность, — но все «почему?», «за что?» так и остались без ответа; трагедия, жуть, сенсация; а Хальстер сразу, пока соседи не проведали, поехал в Блюкховен и явился

с повинной в полицию; и все это в тихой, чистенькой деревне, где на улицах ни соломинки, в красивой деревне, с чинными прихожанами, традиционными утренними сходками мужчин по воскресеньям, стрелковыми и церковными праздниками, с неизменной пол-литровой «добавкой» и еще «походом» вечерами у Гермесов. Страшно помыслить, страшно загадывать на пять, а то и десять лет вперед; боязно расставаться с этим «надолго», но не расставаться, пожалуй, еще страшней: грядки, лук, морковь, дрова, одно и то же, одно и то же, годы, десятилетия — в сорок, в пятьдесят лет все еще в Хубрайхене, жуткая мысль...

Хольгер сегодня мерз, попеременно совал то одну, то другую ручонку в карман отцовской куртки — «скоро будем доставать варежки из шкафа», — ему тоже пришлось менять руку с бидоном, а кроме того, пообещать пожарить каштаны, жареные каштаны согревают руки лучше всего, и, конечно же, печеные яблоки с ванильным соусом, а вечером еще и поиграть, построить домик, — отчего это дети так любят строить домики, сидеть с родителями у теплой печки, слушать сказки, песни, стишки? Молоком сегодня распоряжался Гермес-младший, был приветлив, любопытен, плеснул особенно щедрый «поход», почти как мать, а потом заговорил о своих детях, из которых ни один не желал унаследовать отцовское хозяйство, Рольф его утешил:

— Все переменится, погодите, они и подрасти не успеют, а все уже будет по-другому. Они еще переругаются из-за дома.

Тот в ответ только рассмеялся:

— Хорошо бы, коли по-вашему вышло.

— А вот увидите.

— Ежели б знать, что вы и тогда у нас жить будете, я бы с вами поспорил: три месяца молоко даром, если по-вашему выйдет.

— Вашему Конраду восемнадцать через пять лет будет, нет, к тому времени меня, наверно, здесь уже не будет.

— Оставались бы... — Это было сказано настолько от души, что оба смутились.

А Хольгер сжал его руку, словно просил: давай останемся.

— Это ведь не только от меня зависит, — ответил Рольф.

— Может, от нас? Я имею в виду — от всей деревни?

— У меня ведь профессия, — пояснил Рольф. — По образованию я финансист, даже с практическим навыком, но, боюсь, здешний филиал банка мне вряд ли доверят.

Тут они оба снова рассмеялись, и Гермес сказал:

— Может, сестра дом возьмет. А что, сестра, она может.

Рольф поблагодарил, забрал молоко, но, прежде чем уйти, пожал Гермесу руку. Черт возьми, в кого он тут постепенно превратился — в либерального интеллигентушку или, чего доброго, в оппортуниста? У здешних, разумеется, тоже есть сынки и дочки, которые учатся в университетах и приезжают на выходные погостить в дешевых «студенческих» автомобильчиках, одетые по молодежной моде, в церковь ни ногой, левацкая бравада, сексуальная революция и прочее, иногда заходили и к ним, пробовали «выступать», разглагольствовали о Мао, к нему относились с известным почтением, все-таки в каталажке сидел, но ему их подбострастие не нравилось, ничего почетного, а тем более приятного он лично в каталажке не находит, а Катарина своим чистым сердцем коммунистки сразу учуяла фальшь, слишком уж откровенно и скорее напоказ, чем всерьез, рассуждали они о сексе, слишком явно, да и грубо норовили «втереться», а потом вдруг сгнули, все разом, может, струхнули, все-таки «опасное знакомство», ведь уже год-два как общение с ними считается предосудительным, и в итоге остался только один паренек, сын крестьянина Шмергена, которого самоубийство брата сначала потрясло, а потом навело на размышления; этот приходил, говорил о Кубе, хотел выучить испанский, и они нашли ему чилийку, Долорес, которая с ним занимается; он и теперь иногда заходит, этот Генрих Шмерген, сидит тихонько у печки, курит сигареты-самокрутки, улыбается, молчит, но не уходит, даже

когда появляются их старые друзья, верные, испытанные друзья, ожесточенные, безработные и подзапретные, и вспыхивает дискуссия о различиях между надзором и охраной, и бывает до смерти обидно слышать в их голосах, пусть тихо, пусть полутонно, легкую снисходительность: вопреки всему, несмотря на каталажку и надзор, его по-прежнему числят в «привилегированных». Для него это — прямо нож острый, лучше бы уж били стекла, ведь в конечном счете дело не только в его происхождении, это касалось еще и Вероники и Беверло, которых они всецело и с негодованием осуждали, но все равно каким-то боком причисляли к аристократии, а он как-никак бывший муж Вероники, бывший друг Беверло, вот и слышны в их голосах, почти неуловимо, но слышны, нотки сомнения, словно они принимают его не совсем всерьез. Нечто в этом роде чувствуется и у Хольцпуке, «руководителя мероприятий», который надеется почерпнуть у него гораздо больше, чем он способен дать. Недоуменно покачивая головой, тот ищет мотивы — и не находит, расспрашивает его о предполагаемых мотивах, все еще уповаает на психологию, и все без толку, все впустую: никто и никогда не ущемлял Генриха Беверло, ни одна душа не делала и не причинила ему зла, напротив, его всячески поощряли и хвалили, с ним все носились, еще бы, «такой даровитый, такой невероятно способный юноша из народа», можно считать, сын рабочего, отец ведь начинал простым почтовиком, вручную на тележке развозил по домам посылки, так что, конечно, рабочий, кто же еще, это потом тяжкими и упорными трудами он выбился в служащие и чиновником ушел на пенсию. Но в ту пору Генриха еще можно было, не особенно даже кривя душой, «подавать» как «рабочего паренька»: одаренный, почти с проблесками гениальности, к тому же и с чувством юмора, симпатичный, христианское воспитание, гуманитарное образование — словом, еще бы чуть-чуть (видимо, этому чуть-чуть помешала лишь наивная убежденность Сабины, что в брак нужно вступать непременно девственницей), и он бы стал его шурином, а на месте

Вероники сейчас была бы Сабина и точно так же сидела бы с ним где-нибудь (где же? где?) в глуши, храня ему верность, проклятую верность до гроба и до безумия, о, эта убийственная, непостижимая логика мифа, которую он тщетно снова и снова пытается объяснить себе и Хольцпуке, когда они об этом беседуют. Он вспоминал Нью-Йорк, их нью-йоркские разговоры и тот дурман, дурман ужаса, который обуял Генриха, когда он открыл для себя «международный континент денег», эти моря, которые никому не дано пересечь, эти горные твердыни, которые никому не дано покорить, эту безмерность, — да, где-то там брезжил в жизни Генриха поворотный миг, когда он узрел своего врага и, как копье, нацелил на него свой разум. То была не зависть, вовсе нет, с тем же успехом можно считать, что святой Георгий Победоносец или Зигфрид бились с драконом из зависти. Да, если уж искать мотивы, то, пожалуй, стоит поразмышлять о нибелунгах, это куда ближе к истине, чем разглагольствования о зависти, злобе, ненависти и дурацкая болтовня об обидах. Став банкиром или биржевым дельцом, Генрих наверняка заработал бы денег куда больше, чем могло ему понадобиться, и, наверное, в этом-то все и дело: он узрел эту пузырячатую и пупыричатую, бухнувшую как на дрожжах безмерность, которая никому не нужна, существует вне всякой пользы, только из себя и ради себя, сама себя покрывает и плодит в мерзком кровосмесительном самозачатии, он узрел многоглавую гидру и пошел отсекал головы, он и отца, конечно, не пощадит, так что вы уж его поберегите, понимаете, словом «капитализм» это уже не исчерпывается, это нечто большее, это — миф. И тут не помогут воспоминания о юношеских чувствах, благодарность, совместные прогулки, танцы, споры, игры, веселые праздники в саду; а после отца, если уж он, Хольцпуке, хочет знать, наиболее вероятная жертва — Сабина. Ибо она и есть та прекрасная царевна, которую он, Беверло, должен вырвать из когтей дракона. Самому Фишеру, как он полагает, ничего не грозит, его они, по всей вероятности, держат просто за «деше-

вого пижона» и не удостоят ни покушения, ни похищения. Но ребенка, Кит, они, конечно, тоже прихватят, однако только с одной целью: чтобы не причинить боль Сабине.

— Да-да, вы не ослышались: чтобы не причинить ей боль. Они ведь ее любят, и он, и Вероника, моя бывшая жена. Разумеется, я не вправе давать вам советы, да и не могу поручиться, что все мои советы и прогнозы верны, я просто пытаюсь нащупать мотивы, не более того. Я, кстати, почти уверен, что, сняв наблюдение с моих друзей, вы только избавите себя от ненужных хлопот.

— А с вас?

— Объективно говоря, учитывая, что у нас есть телефон и, следовательно, возможен контакт, я бы не снимал, я продолжил бы наблюдение, за мной во всяком случае, но не за Катариной, моя жена никогда, понимаете — никогда, не пустится в такую авантюру, она не поедет, нет.

— А вы?

— По всей вероятности — причем вероятность граничит с полной уверенностью, — тоже нет. Но заметьте: я сказал — граничит с уверенностью, может, эта граница — всего лишь тонюсенькая линия, но все равно что-то остается, какая-то мелочь, которая не позволяет мне за себя поручиться.

Хольцпуке вздохнул, потом сказал:

— Жаль, что вас нельзя залучить к нам на работу. Впрочем, — он усмехнулся, — вас, наверно, и не допустят, а?

— Если ваше вопросительное «а?» относится к возможности залучить меня в полицию, то ответом будет «нет». А допустят меня или не допустят, это уж не мне судить. Скорее всего нет, ведь полиция защищает не только то, что действительно нуждается в защите, — она защищает и дракона, которого я пытался вам живописать. Так что лучше уж продолжайте за мной следить, так даже проще, но, если возможно, избавьте от этого мою жену.

— Мы обязаны держать под наблюдением, или, если угодно, охранять, вашу жену. Она объект потенциальных контак-

тов, да вы и сами знаете. И вашего сына мы обязаны охранять. Любопытно, вы говорите «деньги», а не «капитализм»...

— Я-то говорю «капитализм», а вот они — да, «деньги».

— А ваша первая жена?

— Она социалистка. Думаю, она бы с радостью хоть сейчас все это бросила, но у нее есть одно ужасное свойство, как, впрочем, и у моей сестры, госпожи Фишер: верность.

— Верность до гроба?

— Возможно...

— Только вот до чьего гроба?

На это он не знал, что ответить, замялся, потом сказал:

— У нее ведь ребенок, и ей грозит пожизненное.

— Еще одно: вам обязательно было нужно и второго сына называть Хольгером?

— Хольгер — красивое, древнее, благородное нордическое имя. Моего первого сына зовут Хольгер Толм, второго — Хольгер Шрётер. А что — разве законом запрещено иметь двух сыновей по имени Хольгер?

— Нет-нет, вот разве что ссылка на происхождение имени — я, кстати, тоже считаю его красивым, — ну, как бы это сказать, немножко не на уровне нашего разговора. Нет, законом не запрещено давать сыновьям одно имя, особенно если у них разные фамилии. Люблю с вами поболтать, с вашей помощью я каждый раз хоть немножечко приближаюсь к сути этого проклятого дела, которое, я знаю, вы проклинаете не меньше меня. Только вот хотелось бы узнать — я не собираюсь ловить вас на слове, — вы действительно готовы поручиться и за ваших друзей, за их жен, подруг? Я имею в виду тех, к кому ходите, которые ходят к вам?

— Я готов поручиться, что их теоретические воззрения и практические поступки ни на йоту не приблизят вас к тем, кого вы ищете и преследуете. Я готов поручиться, что ни один из них, даже мысленно, ни разу не обозвал полицейского «легавым». Но вообще поручиться? Вот вы за кого-нибудь поручитесь «вообще»? Хотя бы за любого из ваших подчинен-

ных — что он не свихнется, не выйдет из себя, ведь при их работе это вполне простительно? И потом, не забывайте: мои друзья, их жены и подруги, да и сам я, и моя жена — мы бы с удовольствием работали, учителями, слесарями, я вот банковское дело хорошо знаю, нет, правда, а наша подруга Клара замечательная учительница, таких поискать.

— Я не из ведомства по охране конституции и не из министерства по делам культов.

— Да знаю я, и вы прекрасно знаете, что я не собираюсь вас упрекать, но сами подумайте, во что превращается человек, которому запрещено заниматься своим делом. Мы же не можем вечно помидоры выращивать!

— Может, у вас есть какие-нибудь просьбы, которые я в состоянии выполнить?

— Мой сын, Хольгер-старший, — вам хоть что-нибудь о нем известно?

— Не больше того, что ваша бывшая жена иногда сообщает по телефону вашей сестре.

— А если бы вы узнали больше?

— Я бы вам не сказал — не могу, не имею права, и вы прекрасно знаете, что не скажу. Не только по вполне понятным служебным соображениям, но и просто ради вашего сына, да и ради вас. Мы надеемся на телефон — как и вы. Позвольте мне еще один вопрос, сугубо абстрактный, теоретический, если угодно — даже логистический: будь вы на их месте, сообразуясь, так сказать, с их логистикой — какое транспортное средство вы бы избрали, если б надумали пожаловать в наши края?

— Что ж... Самолет, машину, поезд я бы сразу отбросил. Остается одно — велосипед. Само напрашивается, да и логично.

— Но медленно. А почему не мотоцикл?

— Слишком много мороки. Ну, а медленно — что из того? Это ведь вопрос планирования, подготовки, если угодно — только вопрос начала операции. Вы, конечно, спросите:

почему тогда не пешком. Отвечу: чтобы не бросаться в глаза. Одиноким пешеход слишком заметен, на него обращают внимание, водители думают, что он будет голосовать, в общем — рискованно. А на велосипеде — и модно, и ни от кого не зависишь. Словом, я выбираю велосипед. И позвольте вам еще кое-что напомнить: считать Беверло научился в банке, баллистику изучал в армии, он ведь в артиллерии служил.

— Как и вы.

— Да, мы были вместе, и в армии тоже. Это Герберт, мой брат, уклонился.

Иногда он ездил к Цельгерам помочь матери Вероники с огородом. Полон сорняки, кусты обрезал, помогал собирать урожай — яблоки, груши, сливы, малину и смородину, картошку копал; и когда они вместе работали в дальнем углу сада, жгли картофельную ботву или еще что-нибудь делали, она подходила к нему вплотную и шепотом спрашивала: «Ну что, ничего не слыхать?» И он рассказывал все, что слышал от матери, Сабины, от Герберта: «Мария, Царица Небесная...» — и все остальное, и что с Хольгером все в порядке. Она совсем сдала, милая Паула Цельгер, которую он по привычке зовет мамой, стала тихой, робкой, трясется, выглядит много старше своих лет. А ведь ей пятьдесят пять, не больше, но Вероника у нее единственная дочь. Несколько раз она попала на удочку газетчиков и телевизионщиков, наговорила что-то о преступности банков и трусости церкви; с тех пор больше почти никого на порог не пускает. Цельгер оставил свою практику, какие-то гады побили камнями его эмалированную табличку, а новую он заказывать не стал. Как-никак он тридцать лет честно проработал врачом здесь, в Хетциграте, пора бы им было его узнать и сообразить, что он не позволит бить камнями свою вывеску и писать на стенах всякие политические пакости.

Ковыляя, он выходил в сад, с тростью, с трубкой в зубах, бурчал:

— Кто будет есть все твои варенья, Паула? Кто будет есть всю твою картошку? Беженцев нет, кому ты это раздашь? Зна-

ешь, Рольф, если бы она знала, где Вероника, обязательно бы послала ей малинового варенья. Послала бы, всем послала бы варенья.

— И послала бы! И мальчику, и даже этому Генриху тоже послала бы. В тюрьмах вон и то кормят, и варенье дают, даже убийцам дают варенье. Послала бы, всем послала варенья.

Потом был кофе с тортом, а если он приезжал с Хольгером, тому давали мелочь на мороженое; старик Цельгер посасывал свою трубку, бурчал что-то под нос, не хотел и слышать о том, что «время неприязни давно позади», что никто в Хетциграте больше на него «не сердится», ну уж нет:

— Теперь сержусь я и не перестану до конца дней. Плевал я на ихнее сострадание и на ихние обиды, на ихнее доверие или там недоверие! Среди ночи вставал, не спрашивал, что там — болячка или роды, все равно шел, никому не отказывал, и так тридцать лет, даже сразу после войны, когда ночью на улицу выходить было опасно, — и вот за все за это тебе на старости лет бьют стекла, сшибают вывеску, пакостят стены, и никто, ни один не зашел, не извинился, слова доброго не сказал. А священник, он здесь живет ровно столько же, сколько я, когда встречал меня на улице, не здоровался, а этак деликатно отворачивался — просто отворачивался и шел в другую сторону, у-у, боров трусливый. И нечего пугаться, Паула, да, я назвал священника трусливым боровом, он и есть боров. Нет, детки, нет — и за что? Только за то, что дочь от рук отбилась и по кривой дорожке пошла, а у самих-то свои уголовники, вон их сколько в этой мерзкой, вонючей католической дыре: и воры, и убийцы, и насильники, а уж про аборт, мошенничество и всякий блуд говорить нечего — сколько их над своими же дочерьми да невестками надругались, сколько отцов я по справке от каталажки, скольких детей от колонии спас?! Сколько? Иной раз, Рольф, мне самому хочется террористом заделаться, честное слово, особенно когда этого подлюгу священника вижу — даже не поздоровался, представляешь, а ведь первый, самый первый должен был к нам прийти.

Он достал фотоальбом и показал фотографию Вероники после первого причастия, милая, прелестная девчушка, вся в белом, со свечкой в руке и цветком в волосах. Рядом с ней за кофейным столиком священник тянет ложку к вазе со сливками.

— Вон он, видишь, лыбится, сливки твои хлебает! Ну, что за люди? Что у нас — чума? Да если бы даже и чума! Не-е-т, теперь пусть у него прямая кишка хоть до земли вывалится, он и таблетки у меня не получит. Знаешь, Рольф, если бы не твоя мать, мы ведь подошли бы с голоду. На черный день я никогда не откладывал, у меня вот только и есть что дом да закладные на него, не-е-т, ей, если б мог, я бы ей не только варенье посылал. Если дочка по кривой дорожке пошла — что ж, выходит, мы неприкасаемые? Ну да ладно... А скольким из них я после войны их эсэсовские наколки вырезал? Если бы не твоя мать, да, от нее все приму. И от твоего отца приму, не побрезгую.

На обратном пути он, случалось, заворачивал к старику Беверло: тот открывал недоверчиво, без слов, молча поднимался вместе с ним в мансарду крошечного домика — в комнату, которая когда-то служила Генриху и кабинетом и спальней. Они называли ее «карцером»: девять квадратных метров, скошенные стены, два окна-люка на крышу; старик с издевательской ухмылкой обводил взглядом книжные полки: Томас Мор, Томас Аквинас*, Томас Манн, «сколько ни есть Томасов, все тут», — чертежные линейки, папки, бумага, ручки, карандаши, все в безупречном порядке на складном столе-пюпитре, что привинчен к спинке кровати в изножье; даже ластик на прежнем месте, а в прозрачной пластмассовой точилке для карандашей еще остались шелушистые стружки; початая пачка сигарет, окурок в пепельнице, на стене университетский диплом в рамочке, распятие, Мадонна Рафаэля — жутковатый набор реликвий, в котором нашлось место даже для лейтенантских погон.

* *Томас Аквинас* (Thomas Aquinas; *лат.*) — Св. Фома Аквинский (1225 или 1226—1274).

— Он ведь в артиллерии кой-чего добился, Генрих-то, он у них по баллистике лучшим был, его в генеральный штаб хотели брать. — Он даже позволил себе помочь, когда они спустились по лестнице, этот желчный, высохший старик, а на прощанье, уже в дверях, добавил: — Он всегда говорил: мир еще обо мне услышит. Вот и услышал.

Ну, а поскольку это было почти совсем по пути, рукой подать, он в таких случаях заезжал в Тольмсховен, вместе с сыном, минуя охрану, поднимался к родителям, которые всякий раз чуть с ума не сходили, чуть не плакали от радости, дед сразу хватал внука за руку, тащил гулять по коридорам или на балкон; он обожает водить детей за руку, его старик. Рольф помнит свою детскую ручонку в руке отца, когда они бродили по полям вокруг Иффенховена, тот неизменно вел двух детей за ручку, был наверху блаженства, заставлял их меняться, вел по очереди — его и Герберта, Герберта и Сабину, а позже и Веронику, — вот только он не помнит, сколько лет было Генриху Беверло, когда тот появился у них в доме, был ли он еще в том возрасте, когда детей водят за ручку. Наверно, отцу ничего больше и не нужно от жизни, только детские руки и история искусств, не нужен ему этот его «Листок» и уж тем более замок. Замок вообще «не про его честь», слишком все шикарно и с чужого плеча, даже не выйдешь просто так, взяв внука за ручку, побродить по лесам и полям и не выбросишь из головы злосчастный «Листок»; и Кэте в замке не по себе, не постряпаешь, не закатаешь на зиму компоты и соленья, вроде как неудобно, и вообще все, что в Айкельхофе было естественно и просто, тут как-то не получается, — да, с замком своей мечты отец, похоже, дал маху.

Было что-то бесконечно трогательное в суматошной радости, с какой его всякий раз встречали старики, в том, как Кэте тотчас же убегала в свою крохотную кухоньку готовить один из своих непревзойденных супов и печь пончики для внука, и все это с какой-то лихорадочной ревностью к «большой» кухне внизу, которую они оба называли «пленарной кухней».

Отец радостно колготился рядом, то и дело вытаскивая из кармана сигареты и тут же засовывая их обратно; какое счастье, что он никогда не рассказывает о войне, ни слова об этом, даже в связи со своей всем известной «табачной травмой», не заводит разговоров про «наше время», про свою бедную юность и голодные студенческие годы, только всякий раз боязливо спрашивает, не пригласить ли все-таки в гости родителей Катарины, они ведь рядом живут, здесь же, в деревне; слишком они оба застенчивые, отец и Кэте, и вовсе им не по душе жить, как Кэте выражается, «в этих хоробах», но вот ведь живут. А Луизу Коммерц, мать Катарины, отец с детства знает, помнит маленькой девочкой, с которой они играли на дворе у Коммерцев — мяч, салки и все такое.

А вот Хольгер любит бывать в замке — тут и страшный подвал со старинными ржавыми доспехами, и башня с бойницами, и беседки в саду, а в траве каменные ядра и тяжеленные стволы древних пушек.

И все чаще слезы, подозрительная влага в глазах отца, когда приходит время прощаться — а ведь до Хубрайхена восемнадцать километров, до Кёльна, где Герберт, двадцать, и семнадцать до Блорра, где Сабина. И у Кэте тоже глаза на мокром месте.

Ну а коли уж он добирался до Тольмсховена, просто грех не навестить родителей Катарины, ведь о его приезде мгновенно узнавала вся деревня, как же, Рольф приехал, тот самый Рольф, которого все помнили «таким славным, таким скромным мальчиком», который своим умом, без отцовской помощи, в люди вышел и чуть было не стал директором банка, если бы, да, если бы не удумал поджигать машины и камнями в полицейских швыряться. Из всех домов сбегались друзья детства, те, с кем он когда-то играл в футбол и прислуживал в церкви, хлопали по спине, ошупывали его, изображая полицейский шмон, сверху донизу, притворно изумлялись: «Куда ж ты подевал динамит и гранаты?» — все наперебой тискали и тормозили Хольгера, через раз дружно объявляя его то

«вылитым Тольмом», то «вылитым Шрётером»; сверстницы Катарини, с которыми она пела в церковном хоре, сердобольно покачивая головами, совали ему леденцы и просили передать привет маме; ну и конечно, потом Хольгеру непременно надо было пошвыряться камушками в ручей. Цепные псы на дворе у Коммерцев презлющие, Хольгер всегда проходил мимо них с опаской. И снова «О Господи!», и слезы, теперь уже задолго до прощанья, и снова кофе, и печенье из жестяных банок, которое так и тает во рту, и, разумеется, Хольгер тащил его в дедушкину мастерскую, где столько всего интересного. Там восседал старик Шрётер, на чем свет стоит клял коммунистов, которые укокошили его брата, но еще пуше Аденауэра*, который все, все подчистую «предал и продал — и за что? За чечевичную похлебку. Ну и как тебе ихняя похлебка? Видать, не больно по вкусу, иначе ты бы не стал... Ну да ладно, что было, то прошло, хоть и не забыто». Хольгеру он показывал все — муфты и втулки, плашки и метчики, колдовал над каким-то устрашающим сооружением, свинченным из старых оружейных деталей, и было немного жутковато слышать, как он снова и снова объясняет внуку, что «в этот вот оптический прицел, слышь ты, я точнехонько, прямо тютельница в тютельница, беру на мушку окна другого твоего деда, ну просто в аккурат, слышь ты, особенно которое в ванной». Что-что, а уютно у Шрётеров не было, Луиза слишком набожна, почти до плаксивости, да и сам Шрётер с его вечной старой песней про «левый центр»**, — под конец, когда все родственные повинности были исполнены, его прямо-таки одолевала тоска по Хубрайхену, по тенистому саду за высокой стеной, по красной эмали молочного бидона, по огороду, яблоням, сливам и грушам, по играм у печки, по Катарине, которая, не отрицая известного неююта в родительском доме, пыталась подыскать этому объяснение: «Как ты не можешь понять — это ожесточение ле-

* *Конрад Аденауэр (1876—1967)* — первый федеральный канцлер ФРГ (1949—1963 гг.), под руководством которого в 1955 г. ФРГ присоединилась к НАТО.

** Лозунг немецких социал-демократов в 20-е годы.

вых католиков при виде победного марша правых католиков? Этих левых — их же вечно оттирали, вечно они плелись в хвосте, усталые, желчные, злые, да и с чего им было радоваться? Не с чего. Вот и выходит: как тебе ихняя похлебка?»

Эта тоска по Хубрайхену его пугает, тоска по их домику и саду, по уединению с Катариной и Хольгером, по чувству защищенности, даруемому поленицей, которую он укладывает точно крепостную стену; ежедневный ритуал, увенчанный ежевечерней прогулкой за молоком и щедрым «походом» старухи Гермес; его пугала эта тоска по защищенности, вполне понятная и извинительная прежде, в ту пору, когда он только-только вышел из каталажки и его травмила свора Цуммерлинга, травмила сама и пыталась натравить на него и на священника всю деревню, — но теперь, четыре года спустя, Хольгеру ведь уже три, теперь он вроде бы должен, просто обязан рваться отсюда, а его даже не тянет. Неужто ему так и суждено, неужто ему хочется до конца дней просидеть в Хубрайхене, растрачивая свои способности к планированию и сложнейшим расчетам только на сад, урожай, заготовку дров и детские игры? Превратиться в эдакого бесплатного консультанта для деревни, которому иногда, в награду за труды, посылают то ливер с убоя, то лукошко яиц?

Он сам ужаснулся унылому автоматизму своего возвращения: открыть дверь, молоко в кухню на полку, чмокнуть Катарину, снять с Хольгера курточку, погреть руки у огня, заглянуть в кастрюлю, из которой сегодня даже пахнет мясом: рагу с овощами и грибами, — посмотреть, хватит ли початой бутылки вина на ужин или надо откупорить новую; закрыть ставни, набросить изнутри крючок, проверить землю в ящиках с геранью; на дворе туманно и сыро, от вечерней прогулки можно воздержаться. Он испытал облегчение, услышав, что Долорес сегодня на испанский не придет, организует какую-то демонстрацию, то ли в поддержку Чили, то ли Боливии, хвалила по телефону их испанский, она теперь с ними толь-

ко по-испански говорит, принципиально, на прощанье — «*Venceremos!*!»* Где? Кто?

Они оба перепугались, когда тем не менее раздался стук в дверь, даже вздрогнули, ведь они уже предвкушали тихий вечер, как они поупражняются в испанском, послушают музыки, и были безмерно удивлены, увидев на пороге Сабину с Кит и молодым охранником, которого он в последнее время встречал в замке — в коридоре, в парке или во дворе. Сабина с вещами — это что-то новенькое: чемодан, сумка, мешочек с вязаньем, Кит с двумя куклами в обнимку и вдобавок со старым, драным плюшевым львенком, она с ним никогда не расстается. Голос у Сабины просительный, почти смущенный:

— Знаю, что помешала. Но мне очень, очень нужно было приехать, поговорить и вообще... А заночевать мы можем и в чуланчике.

Это был подходящий случай еще раз убедиться в несокрушимом и безоговорочном Катаринином радушии — ни тени удивления или досады не промелькнуло на ее лице.

— Сперва войдите. И поужинайте с нами, у нас кое-что вкусненькое. Да и Хольгеру совсем не вредно для разнообразия поиграть не с нами, а с Кит. Входите, входите же! Вот только... твоя безопасность... ты же знаешь, я без шуток.

— А я с охраной, — сказала Сабина улыбаясь. — Господин Тёргаш, вы, наверно, его знаете, любезно согласился меня сопровождать на маминой машине, свою я у Эрвина оставила... Словом, по указанию господина Хольцпуке господин Тёргаш взял меня под свое покровительство.

Молодой охранник только кивнул, потом сказал:

— Мне пора на пост, доложить начальнику обстановку. Наверно, подкрепление пришлют. Ответственность, сами понимаете, а дом вон какой, и сад огромный.

— Вы там продрогнете, — забеспокоился Рольф. — И дождь вот-вот начнется, да и туман, вон сырость какая. Пойдемте,

* «*Venceremos*» («Победим!» *исп.*) — лозунг кубинской революции 1959 г., ставший затем лозунгом борьбы всей Латинской Америки за независимость и освобождение от империализма.

я покажу подходящее место. — И тут же оговорился: — На мой взгляд, подходящее. К тому же надо священника известить.

По садовой дорожке он отвел Тёргаша к входу в подвал, где стальной козырек и стенки из армированного стекла образовывали нечто вроде будки.

— По-моему, отсюда все просматривается — и сад, и стена, и наш домик. А если вы... словом, вы позволите принести вам что-нибудь поесть?

— Спасибо. — Тёргаш прислонился к стене, поверяя обзор. — По-моему, сойдет, во всяком случае пока напарник не придет. Только вот еще что: у вас лампочка над входной дверью есть?

— Есть, а что?

— Вы не могли бы ее включить?

— Ну конечно.

— Спасибо, и вы уж извините, но, пожалуйста, никакой еды... Я бы с удовольствием, но...

В ту же секунду в церкви вспыхнул свет, пролился из окон в сад, и Рольф, сам не зная почему, он никогда бы не сумел этого объяснить, испугался, кинулся к двери ризницы, подергал за ручку, потом со всех ног бросился к другому входу, через сад, в калитку, и тут увидел перед домом машину Ройклера, багажник настежь, крышка поднята, и молодая женщина, явно незнакомая, с двумя чемоданами и сумками через плечо спускается с крыльца, она ему кивнула, прошла мимо, он проводил ее взглядом: строгая бледность лица, длинные, свободно ниспадающие волосы, красивая походка, — а она поставила чемоданы, прежде чем уложить сумки в багажник, снова глянула на него и улыбнулась. Тогда он подошел, хотел представиться, но она, качнув головой, сказала:

— Я вас знаю. А я — Анна Плаук. Зайдите к нему, он уезжает насовсем. Хотел потихоньку, собирался вам потом написать. Единственное, что его беспокоит, — это что без него вас вытурят отсюда. Зайдите к нему, он в церкви.

Он давно уже не был в церкви, хотя живет, можно сказать, под церковной стеной и подружился, да, подружился со священником; и все равно ему было страшно, когда, пройдя коридором и ощутив дуновение сквозняка, он вступил в гулкий холод храма. Непроизвольно поискал глазами чашу со святой водой и обмакнул персты; не так уж давно это было, всего десять лет назад, десять из его тридцати; он даже перекрестился и чуть не вздрогнул, увидев вдруг Ройклера в облачении у алтаря, наверно, испугался, уж не задумал ли тот какого-нибудь кощунства, какого-нибудь торжественного и глупого святошества, но священник, к его удивлению, просто снял с алтаря покрывало, бережно его сложил, достал чашу из дарохранительницы, преклонил колена, загасил свечи и удалился в ризницу, откуда вскоре вышел в обычном костюме. Рольф все еще стоял столбом, когда Ройклер, тронув его за плечо, сказал:

— Нельзя же все просто так бросить. Я все оставляю в порядке — чаша в сейфе, белье в шкафу, ключ от сейфа вышлю епископу. И ухожу я вовсе не потому, что меня измучили сексуальные влечения, а потому, что люблю эту женщину, да, я люблю Анну, не хочу бросать ее и обрекать на одиночество себя — да, милый Тольм, не хочу, не хочу больше тайком делать то, что возбраняю другим, вменяя им это в грех. Для прихожан, я думаю, беда не бог весть какая, надо надеяться, им скоро пришлют нового священника. Пойдемте, мне надо еще кое-что с вами уладить.

— Что же вы будете делать? — спросил Рольф. — Чем займетесь, на что жить будете?

— Сначала поживу у Анны, она прокормит на первых порах. Может, у брата найдется какая-нибудь работа, у него ведь электроремонтная мастерская. Читать и писать я умею, считать тоже — не смотрите на меня так грустно: мне жаль расставаться с вами, вашей женой, вашими родителями, да и со всеми здесь. Может, как-нибудь тайком и заеду — посидеть у огня, выкурить сигару. Вы чем-то напуганы?

— Да, — признался Рольф. — Вопреки всем моим доводам, вопреки всем прогнозам... да, я напуган, я всегда думал, мы всегда думали... Катарина...

— Вы думали, что я хороший священник. Пожалуй, так оно и есть, я был неплохим священником, сколько мог. И я хочу по-доброму расстаться со своей церковью... Пойдемте.

Они оба перекрестились, почти одновременно, Ройклер при этом улыбнулся, Рольф нет. Судя по всему, Ройклер не взял с собой даже книги: стеллажи стояли нетронутыми, в комнате еще пахло дымом его сигары.

— Я тут бумагу оставил, только не уверен, все ли по форме и захотят ли ее признать. Нижеследующим такого-то числа — дату проставите сами — продлевается сроком на пять лет заключенный ранее договор о временной сдаче жилой площади. Сегодняшнее число, подпись: Фердинанд Ройклер, священник, — ведь я пока еще священник, пока еще в этом статусе; так, а вот тут подпишетесь вы — доктор Рольф Тольм. Приходский совет не станет — или, скажем, так: не стал бы — чинить вам препятствий, люди вас полюбили, да и на Гермеса можно положиться. Но я не знаю, какое давление окажут на них сверху, и не знаю, насколько они там, наверху, правомочны вмешиваться в такие вопросы. Не исключено, что все это по усмотрению, по обстоятельствам, может, придется судиться, но, как бы там ни было, просто выбросить вас на улицу они теперь не могут, я хотел, чтобы вы об этом знали. Все еще грустим, Рольф? Грустим. Хорошо, мы обязательно увидимся здесь либо в Кёльне, если вы нас с Анной навестите: кстати, вот вам ключ от дома, располагайте епископской комнатой, если ваши родители вдруг захотят у вас заночевать. Пластинки, как всегда, — в шкафу, мою стереосистему вы знаете, где вино хранится, надеюсь, тоже не забыли, — и еще: мне было бы очень приятно, если бы епископскую ванную, где еще никто, а тем паче ни один епископ ни разу не мылся, хоть разок использовали по прямому назначению. Не унывайте, мой милый, и попрощайтесь за меня с Катариной и мальчиком. А тетю я от греха подальше пока что отправил в отпуск, ничего, переживет как-нибудь.

Тут, наконец, Рольф, заикаясь, выдал что-то о своей благодарности и о том, какое замечательное время они тут прожили.

— Не знаю, что было бы с нами, куда бы нас забросило... И потом, если бы не вы, люди здесь наверняка не были бы к нам так... милы... не знаю...

Анна Плаук уже сидела за рулем, улыбнулась, кивнула. Потом еще были объятия, даже скупые слезы, взмах руки на прощанье, затихающий вдали рокот мотора, а потом он все-таки еще раз зашел в церковь, долго смотрел на осиротелый алтарь и только тут вдруг заметил, что неугасимая лампада тоже потухла. Страх при виде этой перемены, страх в ожидании нового священника, страх перед будущим страхом их возможного изгнания; он запер дом священника и положил ключ в карман.

Дома Кит уже играла с Хольгером; вместе они решали важный вопрос: куда положить спать львенка и деревянную таксу, которую Хольгер так любит — жуткое поп-изделие а-ля Дисней. Сабина, устроившись на скамье возле печки, курила, что в последнее время наблюдалось за ней редко; это она от печки так раскраснелась или от смущения? В ней ведь всегда было что-то детское, не наивное, а именно детское, и он до сих пор не понимает, как это ее угораздило выскочить за Фишера. Уж если брать из этого разряда, то вполне можно было найти кого-нибудь не только милей, а просто милягу: Плифгера-внука, к примеру, с которым он как-то у отца познакомился, да и — как ни прискорбно, но справедливость прежде всего — младшего Цуммерлинга, конечно, не бог весть какой интеллигент, но действительно внимательный, заботливый, тактичный, про таких говорят «любезный», уж его-то она вполне могла заполучить, к тому же первоклассный наездник, вот это был бы альянс: «Листок» и Цуммерлинг. А почему бы и нет? Ведь совершенно все равно, что читать, везде одно и то же, что тут, что там, разницы никакой, — его даже самого растрогало, что он так нежно, с улыбкой смотрит на Сабину и мысленно желает ей куда больше счастья, чем она, судя по всему, извела

с этим Фишером. Да и Фишер, кстати, вначале был совсем не так плох, как сейчас, хотя, конечно, всегда был реакционер и помешан на прибылях, ну да это все они, наверно, просто не могут иначе, — но прежде он был спокойнее, не такой жесткий; быстро же слинял весь его шарм, а ведь даже какая-то грусть мелькала во взгляде, но милей всех, без сомнения, был младший Цуммерлинг.

— Чему ты улыбаешься? — спросила Сабина и, не докурив сигарету, придавила ее в пепельнице.

— Улыбаюсь, потому что подыскал тебе место для ночлега, и не чулан, а кое-что получше. Самая что ни на есть настоящая епископская комната, даже с епископской ванной. — Он вынул из кармана ключ и подбросил его на ладони. — Священнику срочно понадобилось уехать, он торопился, тебе, Катарина, просил передать привет, и Хольгеру тоже. А дом предоставил в наше распоряжение — на случай гостей. Ну, и просто я рад тебя видеть, выглядишь ты ослепительно, можно подумать, влюбилась, так что, имей в виду, тебе идет быть в положении. Уже, кстати, заметно.

Она покраснела. Наверно, он что-то не то ляпнул.

— Извини, ты к нам надолго?

— Поживу несколько дней. Я Катарине уже все объяснила — Эрвин опять укатил по своим делам, одной в пустом доме тоскливо. Так что, если вас это не очень стеснит, пожалуйста, не надо мне ни епископской комнаты, ни епископской ванны, ведь это же опять сидеть в огромном доме одной, и вокруг только полиция. Пожалуйста, если можно — не надо меня в епископскую...

Она улыбнулась, вся какая-то смущенная, помогла накрыть на стол, помнила даже, где у них тарелки, где ложки и бумажные салфетки. Он тем временем вырезал сердцевинки из яблок, положил в каждое по ложке варенья, поставил все в духовку и стал смешивать в мисочке яйца, ваниль, молоко и сахар, готовя соус.

— Это напомнит тебе Айкельхоф.

— Значит, ты тоже частенько Айкельхоф вспоминаешь? А я думала, ты о нем и слышать не хочешь.

— Да нет, не особенно часто, но я знаю, что ты вспомнишь, вот и хочу, чтоб тебе было хорошо. А вообще-то у нас тут, можно считать, свой Айкельхоф, правда, раз в тридцать поменьше... Ну, дети, к столу.

— Да, очень похоже. Наверно, это из-за стены, а еще... потому что вы такие добрые.

Она то и дело блаженно вздыхала, пока они ели — рагу, тушеные овощи с грибами, салат, — сама, без спросу, поставила чайник, норовила дотронуться до Катарининой руки, улыбалась, чуть не плача, во всяком случае со слезами на глазах, и хотя он и предупредил ее, что полицейский от еды отказался, настояла на том, чтобы собственноручно отнести охраннику его «мисочку».

— А потом и яблоко, когда они испекутся, от меня он возьмет, мы ведь давно знакомы.

Дождь тем временем разошелся вовсю, она набросила на плечи куртку Рольфа, накинула на голову капюшон и склонилась над мисочкой, бережно прикрывая еду от дождя полками куртки; зонтик взять не захотела и аккуратно закрыла за собой дверь.

Едва он рот открыл, Катарина отрицательно качнула головой. У них до сих пор не хватает духа отправить Хольгера в другую комнату, когда надо что-то обсудить. Он сказал вполголоса:

— Ройклер, священник, надолго уехал... Очень надолго, — и положил перед ней бумагу, продление договора.

Их обоих поразило, с какой блаженной, счастливой улыбкой Сабина вернулась в дом, сняла с себя мокрую куртку, встряхнула ее и снова села у печки. Потом были печеные яблоки в любимых горшочках Хольгера, коричневых с красной каемочкой, и ванильный соус, и все было так мирно, душевно и тепло, будто святая Барбара и святой Николай* оба вместе осенили своим присутствием дом, сад, всю деревню:

* *Святая Барбара* — спасительница в бурю и грозу; *Святой Николай Чудотворец* (Санта-Клаус) в день своего праздника 6 декабря одаривает детей подарками.

еще осень — но уже дохнуло зимой, и снова ему стало не по себе от физической осязаемости домашнего уюта. Сабина покачала головой, когда Катарина протянула ей горшочек с яблоком для полицейского.

— Нет, он не хочет, слишком щепетильный. Я должна вам еще кое-что сообщить: фургон, в котором живут полицейские, из Блорра перевезут сюда — я нарушаю ваш покой.

— Ты пробудешь у нас сколько нужно... сколько тебе захочется.

— И мне не надо в епископскую комнату?

— Нет.

Сабина настояла: она сама вымоет детей и уложит спать, да-да, сама. Они и вправду являли собой трогательное зрелище, двое малышей в кровати в обнимку с драным львенком и диснеевской таксой: «просто прелесть».

— Ну вот, а теперь, — произнесла Сабина, — я скажу все: я ушла от Фишера насовсем, окончательно, и ребенок у меня будет не от него, да, не от Фишера, и не смотрите на меня, как папа и Кэте, они тоже не могли поверить, но тем не менее это так.

Катарине первой пришла в голову мысль выпить за ребенка и обязательно чокнуться. Ей всегда приходят в голову такие вот замечательные мысли, а после второго бокала на лице Сабины появилось выражение, которое, пожалуй, следует назвать «счастливым упрямством», и она сказала:

— Если будет мальчик, я назову его Хольгером, хотя бы назло ему: зеленый свет — и никаких ограничений!

— Нельзя называть ребенка кому-то назло, еще беду накличешь, — возразила Катарина. — А потом, откуда ты знаешь, может, будет девочка.

— А вот девочку я назову Катариной, да, не Вероникой, хотя Вероника — тоже очень красивое имя. Папа обещал мне помочь, а Кэте вообще уже видит меня великой журналисткой. Что тамстряслось со священником, ты не хотел при детях?

— Да, он уехал и больше не вернется, во всяком случае священником. К женщине, к своей жене. Честно говоря, я и тебя хотел побережь...

— Поберечь? Меня? С какой стати? Думаешь, я ничего не знаю — ну, хотя бы про Кольшрёдера? И потом, это же только подтверждает ваши прогнозы...

— Не всякий прогноз радует, даже если сбывается. Да, кстати, знаешь, три Хольгера на одну семью — это, по-моему, все-таки перебор.

VII

Вот и опять его занесло в ту смутную, крайне деликатную область, где интересы безопасности так тесно переплелись с интимностью, что в любой миг можно нарушить и то и другое. Скажи ему кто-нибудь заранее, что по долгу службы ему придется выяснять, от кого забеременела женщина и на каком она месяце, он бы, наверно, решил, что его разыгрывают. И тем не менее, трезво глядя на вещи, следует признать, что именно этот вопрос может на данном этапе оказаться ключевым: установить, когда и с кем небезызвестная дама вступила в тот — несомненно интимный — контакт, последствия которого приводят к состоянию, именуемому беременностью. Ну, а поскольку безопасность госпожи Фишер (и даже безопасность ее брата, хоть тот и сам являет собой фактор повышенной опасности) он принимает очень близко к сердцу не только по долгу службы, но и чисто по-человечески, что в данном случае и понятно и допустимо, ему, видимо, все же следует попытаться пролить свет на это загадочное дело, ибо «обременитель» — пока что назовем его так — под сколь бы привлекательной, социально безупречной маской он ни таился, вполне может оказаться — не в нравственном аспекте, а сугубо в плане безопасности — фигурой по меньшей мере столь же двусмысленной, что и этот молодой Шублер, весьма сомнительный тип, который тоже ведь состоял в интимном контакте с соседкой госпожи Фишер, хотя и без аналогичных последствий — на сегодняшний день, по крайней мере, таковые не установлены.

Случай, что и говорить, довольно шекотливый. Расследование, а тем более доказательство фактов супружеской неверности совсем не по его части, его дело — безопасность, а го-

спожа Фишер принадлежит к кругу наиболее «подверженных» лиц, и вот выясняется, что она в интересном положении, но не от мужа, сейчас это установлено совершенно точно. Газетчик, что позвонил ему с утра, еще ни разу его не подводил. Это он в свое время сигнализировал о более чем странных оружейных поделках старика Шрётера, из мастерской которого, как ни крути, замок простреливается просто идеально, он же обратил внимание на озлобленность старика Беверло и крайнее ожесточение доктора Цельгера, все сплошь пожилые люди, старики, каждого из которых он прежде считал фигурой второстепенной, в крайнем случае объектом контактов, но уж никак не потенциальным преступником. Но очень может быть, что их ожесточение, гнев, злоба чреваты вспышкой насилия.

Как-никак эта Фишер — урожденная Тольм, а значит, подвержена опасности вдвойне, и все эти люди каким-то боком связаны с Тольмами, которых так трудно держать в узде, просто невозможные старики, оба легкомысленные, иногда просто недопустимо беспечные, особенно она, хотя он лично ни при каких обстоятельствах не усомнится в безобидности этой милой, такой любезной пожилой дамы; их сын Рольф тоже вне подозрений, хоть он и... ну, да это дело прошлое, к тому же на собеседовании он обнаружил незаурядные способности в анализе обстановки; вот другому сыну, Герберту, он, пожалуй, не слишком доверяет: с этими его «три А» (анти-автомобильная-акция) дело может обернуться куда хуже, чем парень предполагает. А теперь, вдобавок ко всему, еще и новая, абсолютно надежная информация: Сабина Фишер, урожденная Тольм, оказывается, беременна, и не на третьем месяце, а на шестом; но шесть месяцев назад ее муж Эрвин был бог весть где и отсутствовал почти три месяца, чем, кстати, доставил им уйму хлопот — он просто помешан на сомнительных ночных клубах, отсюда и наивные плейбойские замашки, и идиотская бравада, а одно с другим, бравада с безопасностью, не очень-то вяжется. Только зря людей задергали. Впрочем, это больше касалось местной полиции, а детали его не интере-

суют. Конечно, пришлось проверять все его шашни, каждую случайную интрижку, теперь иначе нельзя, и притом изволь соблюдать — да вдобавок еще и гарантировать — строжайшую секретность! Но больше всего хлопот из-за Блямпов: она только и знает, что титьками трясти и всем прочим, у его людей от этой порнографии уже в голове мутится, к тому же бесконечные магазины, поездки, вечеринки, — ну, а он ни одной юбки не пропустит, всех его шлюх просто невозможно досконально проверить. А между тем сейчас и в этой сфере тоже повеял «левый ветерок», все из-за этих эмансиписток, будь они неладны, раньше хоть на шлюх можно было положиться, надежный народ, неколебимо реакционный, но «эмансы» и тут поработали на славу, так что теперь и за шлюхами надо смотреть в оба; и с Кортшеде тоже забот хоть отбавляй, милый старикашка, но окончательно и безнадежно — не иначе как «бес в ребро» — втрескался в этого растреклятого подонка Петера, который хоть и не «подрывной элемент», но головорез первостатейный, от такого всего можно ждать, довольно жуткий парнишка, что и говорить.

А теперь вот еще и эта Фишер, чья беременность, помимо всего прочего, задевает его лично, поскольку ставит под сомнение профессиональную безупречность охраны; значит, кто-то все-таки проскочил у них под носом — ведь где-то она с ним встречалась, как-то об этих встречах уславливалась? А между тем они стерегли каждый ее шаг, для ее же блага, разумеется, и с ее ведома, даже по телефону она не могла бы с ним — с кем? с кем? — договориться, ибо что-что, а уж телефон они перекрыли на все сто, да и не могли иначе из-за этой болтушки, которую они между собой прозвали «Царицей Небесной» и рано или поздно все равно сцапают; к тому же и сама Сабина Фишер знает, что телефон прослушивается, что это совершенно необходимая мера безопасности; а кроме того, он разочарован ее, так сказать, моральным обликом; такая милая, такая серьезная молодая особа, ревностная прихожанка, чьи набожность и благонравие общеизвестны, такая скромница и красавица, можно сказать — почти Мадонна, к тому

же с прелестным младенцем, а на поверку, судя по всему, оказалась столь изощренной потаскухой, что сумела даже от них укрыть своего любовника! От строки до строки он перечитывал все, буквально все отчеты, протоколы, рапорты: с кем встречалась, к кому ходила, кто приходил в гости — ничего, ни намека на след! О том, чтобы lover* проник к ней под покровом ночи, разумеется, и речи быть не может. Мало какой дом охраняется так, как этот, и потом, черт побери, если у нее и появился некто, кого она полюбила, что неудивительно при таком, между нами говоря, поганце муже, ему-то, Хольцпуке, она могла довериться, могла все рассказать, ведь они столько раз беседовали, — но, видно, печальный опыт соседки, которую они в своем кругу дружно прозвали «падкой Эрной», научил ее предельной осторожности. Ибо меры, которые пришлось применить при расследовании амурных тайн этой самой Эрны — с точки зрения безопасности меры совершенно необходимые и оправданные, — увы, повлекли за собой семейный крах. Нет, расследование супружеских измен и разрушение браков вовсе не по его части; в конце концов, у него серьезная государственная служба, а не детективная лавочка, но встречаются такие вот деликатные сюжеты и щекотливые, рискованные ситуации, в которые приходится вникать. Все-таки удивительно, что ее супруг, судя по всему, начисто забыл азы простейшей арифметики. Или она все еще кормит его баснями насчет «третьего месяца»? Тогда по меньшей мере странно выглядит роль семейного врача, доктора Гребнице-ра. Потребовалось вмешательство вышестоящих — довольно высоких — инстанций, чтобы разъяснить ему, что в данном случае разглашение врачебной тайны совершенно необходимо. Этот наивный, но ужасно милый старикан, в свое время, так сказать, принимавший молодую госпожу Фишер на свет Божий, — еще из тех старомодных докторов со стетоскопом на шее, что присаживаются на кровать больного со словами: «Ну-с, как мы себя чувствуем?» — был просто как громом поражен, когда ему — не без труда и совсем не сразу — втолко-

* Любовник (англ.).

вали, что ребенок, вызревающий, и, судя по его словам, «отменно, отменно» вызревающий в лоне Сабины, вовсе не от мужа. «Сабина — никогда! Сабина — никогда!» — вскричал этот старец, а потом, хотя в конце концов подтвердил и шестой месяц беременности, и согласился признать длительное отсутствие Фишера в соответствующий период, по-прежнему упрямо стоял на своем: «Сабина? Никогда!» — и даже пробормотал что-то вроде: «Одними подсчетами тут тоже ничего не докажешь...»

А чем же еще, как не подсчетами, когда дело идет об установлении отцовства? А коли так, если столь бдительно охраняемой молодой особе тем не менее удалось тайно завести роман, значит, Люлер, Цурмак и Тёргаш — зачатие пришлось как раз на их время — чего-то недоглядели. Может, она повстречала «обременителя», когда шла к Беерецам за молоком, и тут же — простецки вульгарные выражения как-то к ней не подходят — «отдалась», да, видимо, женщины ее типа называют это «отдаваться», отдалась ему где-нибудь в сарае или в хлеву, но тогда, значит, среди Беерецев у нее должен быть сообщник; впрочем, все это весьма маловероятно, ведь когда она ходила за молоком, все подходы к двору Беерецев строжайшим образом контролировались, а сарай и хлев подвергались предварительному осмотру; да нет же — с нее вообще не спускали глаз: ни в ту пору, когда она еще выезжала верхом, ни в магазинах, ни даже в душевой теннисного клуба. Телефонные разговоры с намеками на предстоящее свидание непременно и немедленно были бы взяты на заметку, уж что-то, а ее телефон — с ее ведома и согласия — был на строжайшем контроле, ведь они все еще надеялись засечь «Царицу Небесную». И тем не менее где-то тайно от них она совершила тот акт, который, как известно, необходим для возникновения беременности. Опять, снова и снова, протоколы, отчеты, списки — ничего; один и тот же круг подозреваемых лиц: снова этот Бройер и этот Клобер, Шублер, Хельмсфельд, крестьяне в деревне — весьма маловероятно, хотя и не исключено, молодой Беерец, к примеру, очень даже симпатичный парень,

с прекрасной фигурой, к тому же почти образованный, а она всего только человек, женщина, часто и подолгу одна, нет, ей тоже не позавидуешь, видит Бог. Среди дам, которых она иногда приглашала к чаю, не исключены лесбийские поползновения, разумеется, не с ее стороны и не по отношению к ней, да и вообще от этого, как известно, не забеременеешь. А помимо этого в интересующий период она почти не отлучалась из дома, разве что раз-другой сходила в гости на вечеринку, но в одном он уверен свято: она не из тех, кто готов заняться этим в любом углу, нет, только не она, такая скромная, тихая, серьезная молодая женщина, о чьей религиозности даже писали в газетах. И коли он способен догадываться, что набожность еще никого не оградила от греха, то способен догадываться и еще кое о чем: этой женщине, если уж на то пошло, нужна душевность, а не вульгарный порнографический зигзаг, из-за каких у его людей подчас столько мороки.

На этой коварной ничейной полосе между безопасностью и деликатностью, в этих джунглях неразрешимых противоречий впору не только самому шею свернуть, но и разрушить еще один брак, да притом такой, что пресса оповестит об этом аршинными заголовками. Тот же газетчик прозрачно ему намекнул: брак Фишеров, который во всех журналах, газетах и газетенках прославлен как идеальный, больше того — идиллический, этот образцовый союз между «Листком» и «Пчелиным ульем», в котором, как беспрестанно подчеркивалось, «царит и полное идейное согласие», — такой брак не может рухнуть без шума и скандала. Впрочем, не исключено, что беспредельно самоуверенный и, видимо, до сей поры ни о чем не подозревающий Фишер так и не удосужится заняться элементарными арифметическими подсчетами или в последний момент извлечет на свет божий романтическую сказку о тайном randevu с женой — на Багамах или еще где-нибудь; ну, эту-то версию он в два счета опрокинет.

Да, это дело требует величайшей деликатности. Тот газетчик никогда раньше не подводил, у него самая надежная информация. Ведь это он обратил его внимание на гомосексу-

альные склонности Кортшеде, и таким путем они вышли на Петера Шлумма, который на все способен (хоть и пришлось ради этого подслушивать, как Кортшеде нежно шептал ему «моя пташечка»). Этот Шлумм — вот уж кто действительно фактор повышенной опасности, хотя ни в малейшей мере не «подрывной элемент», зато в шантаже и попытке убийства считай что изобличен, сутенерство само собой, плюс гашиш и героин, — и это в свои двадцать лет, притом писанный красавчик, белокурые локоны, а лицом суший ангел. От такого только и жди сюрпризов, да притом куда похлеще, чем сюрприз молодой Фишер с ее внезапно «продвинувшейся» беременностью. Наверно, все-таки надо еще раз с ней поговорить, ознакомить ее с результатами своих разысканий и просто попросить — ради ее же блага и блага ее ребенка — поделиться с ним ее сокровенной тайной; он пообещает ей строжайшую секретность, сообщит о результатах проверки «обременителя», и вообще он вовсе не желает создавать какие-либо препоны в ее интимной жизни, ведь, в конце концов, он не какой-нибудь частный сыщик, чтобы рыскать по постелям и комодам. Но если она откажется — тогда придется поговорить с Дольмером, а Дольмеру, вероятно, со Стабски, прежде чем начать энергичные розыски «обременителя».

Нет, тут сюрпризов быть не должно, и если этот брак пойдет прахом, то никак не по вине полиции. Как-никак один из Фишеров сидит у самого Цуммерлинга, так что падение невестки Фишера мгновенно и неминуемо обернется скандалом для оберегавшей ее полиции — в нескольких газетенках и так уже были намеки на «семейные трения».

Досадно, что к телефону в Блорре подошла горничная, сообщила, что госпожа Фишер только что уехала вместе с дочкой и своей мамой; еще более досадно, что Кюблер рапортовал ему об этом лишь пять минут спустя, добавив, что «взял кой-какой багаж» и все это «смахивает на маленький переезд», вскоре после этого Тёргаш из Тольмсовена — и, что поразительно, почти теми же словами — доложил о прибытии двух дам с девочкой, добавив, что все это «похоже на маленький

переезд»; Ронер, который ехал за дамами следом, попросил новых указаний: возвращаться ли ему в Блорр или оставаться в Тольмсовене? Тут как раз Кюблер из Блорра сообщил, что почти сразу после отъезда жены объявился Фишер, забрал кое-какие бумаги и, так и не выгрузив из машины многочисленные чемоданы, снова укатил. Ему, Кюблеру, он, Фишер, в обычной своей оскорбительной манере изволил сообщить, что на несколько недель уезжает; поскольку, продолжал Кюблер, Блюм тоже ушла и ей поручено всего лишь время от времени — то есть нерегулярно — присматривать за домом, то, видимо, объект не требует теперь столь неукоснительного наблюдения, а потому нельзя ли ему, Кюблеру, уехать домой? На что Хольцпукке, неожиданно разозлившись, в резкой форме велел Кюблеру оставаться на месте и ждать дальнейших указаний. Впрочем, было от чего расшаркать: Сабина Фишер всегда относилась к их работе с пониманием и тактом, заранее сообщала обо всех изменениях, что позволяло ему спокойно и без спешки перераспределить людей; теперь же все, особенно это безоглядное бегство из Блорра вместе с матерью и дочкой, свидетельствовало о каких-то трениях, неладах, если не о панике; отъезд Фишера, впрочем, может, просто случайность; и уж совершенная неразбериха воцарилась после того, как Ронер доложил из Тольмсовена, что Сабина Фишер после кратковременного отдыха в замке отправилась вместе с дочкой дальше, в Хубрайхен, к брату, ввиду чего он, Ронер, поскольку решение требовалось принять незамедлительно, отрядил для ее охраны Тёргаша, а сам вплоть до окончательного прояснения задач Тёргаша остался на его месте в Тольмсовене, где после заседания все относительно спокойно, и будет ждать, пока его не сменит Люлер, а тогда уж поедет обратно в Блорр. Он подтвердил распоряжение Ронера, вызвал Кюблера, извинился за недавнюю резкость и при этом поймал себя на мысли, что расстроен из-за того, что доверительный разговор с Сабиной Фишер за чашкой чаю не состоится. Время от времени ему случалось беседовать с ней, иногда что-то объяснять, иногда самому наводить справки, — и он, что

скрывать, любил посидеть в обществе этой очаровательной молодой женщины: было что-то непередаваемо детское и в ее смехе, и в самой манере смеяться над некоторыми вещами, отчего сразу забывалось ее пресловутое «положение в обществе»; она всегда сама заваривала чай, а иногда даже извинялась за то, что причиняет столько беспокойства. Он-то думал, что всецело заручился ее доверием, возомнил, что сумеет обсудить с ней даже эту весьма щекотливую тему, объяснить ей, что и в самом обворожительном любовнике — либо за этим любовником — могут скрываться элементы, нуждающиеся в проверке. Он уже заготовил кое-какие формулировки, вроде: «Сопоставление некоторых фактов привело меня к выводу, что ребенок, которого вы ждете, — поймите, на эту мысль меня натолкнули отнюдь не моральные соображения, а исключительно соображения безопасности, — так вот, этот ребенок, вероятно, происходит (нет, «проистекает» нехорошо, тут надо еще подработать) не из вашего супружеского, а из иного любовного союза; ну, а поскольку я несу ответственность за вашу безопасность, то, прошу прощения...» — вероятно, она покраснеет, примется подливать чай, а может, наоборот, рассмеется или разозлится, будет возмущена, оскорблена, укажет ему на дверь, а то и пожалуется начальству, и тогда жди выговора — могла бы разозлиться, могла бы пожаловаться... Ибо теперь, когда она обосновалась у брата в его тесной хижине, ни о каком доверительном разговоре, тем более на такую тему, не приходится и мечтать.

Чем больше он об этом размышляет, тем менее вероятным представляется ему роман за пределами Блорра. Ведь если бы она захотела встретиться с «обременителем» не в Блорре, ей бы неминуемо пришлось на два-три часа уехать, какое-то время отсутствовать, а это обязательно отразилось бы в протоколе, пусть только вопросительным знаком, но вопросительный знак потребовал бы разъяснений, как это было, например, когда она зачастила с дочкой в Хетциграт к этой Гребель, или в другой раз, когда она вдруг сменила парикмахера, вместо Шуманского в Блюкховене стала ездить к Пик-

зене в Хурбельхайм; рано или поздно вопросительный знак в протоколе все равно снимается; теперь она вообще не затрудняет больше парикмахеров, сама моет и укладывает свои роскошные, тяжелые, золотистые волосы, на которые ему так хотелось бы полюбоваться во время доверительной беседы за чашкой чаю. Если брать соседей, то на первых порах его заинтересовали Блёмеры, весьма разбитное семейство, к тому же устраивающее иногда более чем непринужденные вечеринки — сплошная морока, ведь особо сомнительных гостей тоже приходилось, пусть выборочно и наспех, проверять, — и в первую очередь шурина Блёмера, некто Скульч, человек явно состоятельный, хотя источники его доходов не до конца ясны: считалось, что он якобы сочиняет и публикует под псевдонимом ходкие порнографические романы. Однако оба они — и сам Блёмер, и его шурина, — пожалуй, совсем не в ее вкусе, слишком легкомысленны, слишком развязны, ни намек на «душевность», а кроме того, ему только сейчас пришла в голову важная деталь, позволяющая вовсе сбросить Блёмеров со счетов: ведь они поселились в Блорре месяца два-три назад, а она на шестом и прежде никаких контактов с Блёмерами не имела, это установлено. Значит, остаются молодой Беерец, старик Херманс, Клобер, Хельмсфельд и еще — в интересующий период — Бройер; все до крайности маловероятно, но он давно усвоил, что в оценке любовных коллизий категории вероятности, основанные на анализе склонностей, вкусов и возможных симпатий и антипатий — инструмент более чем ненадежный: взять хотя бы Кортшеде, этого, мало сказать, тонкого — утонченного господина преклонных лет, который как-никак женат, отец взрослых детей, играет на клавишине, — если уж заподозрить за ним какие любовные грешки, то, сообразуясь с его вкусами, следовало бы подобрать ему культурную, ухоженную особу лет тридцати восьми, актрису или вокалистку (сопрано), а он втюрился в распоследнюю дешевую потаскуху, к тому же мужского пола, в этого вульгарного подонка Шлумма; а Блямп, которому подошла бы, скажем, танцовщица (чардаш или, на худой конец, фламен-

ко), когда в третий раз женился, выбрал себе тихую, добрую, необычайно приветливую югославку-уборщицу, это был просто ангел кротости, правда, больше двух лет даже она с ним не выдержала. В конце концов, после того как он доподлинно убедился, что она действительно совершила то, что на ее языке, очевидно, именуется «прелюбодеянием», он никого не имеет права исключать из числа возможных партнеров — ни пожилого Хельмсфельда, у которого, впрочем, на такое вряд ли хватит духу, хотя желания, наверно, хоть отбавляй, ни даже кривонногого Клобера; оба, кстати, зафиксированы в списке посетителей — Хельмсфельд, вероятно, приглашался на чаепитие с «литературным уклоном», а Клобер заходил ненадолго, чтобы сбыть овощи «со своей грядки» — салат, цветную капусту, «ручаюсь, госпожа доктор Фишер, никакой химии!» — никак не мог отучиться от церемонного обращения «госпожа доктор», и хотя не отказывался от предложенной сигареты и рюмочки коньяка, но чувствовал себя явно не в своей тарелке, сигарету обычно не докуривал, и вообще ни один из его визитов по продолжительности не превысил 15—17 минут; пожалуй, Клобера со спокойной совестью можно вычеркнуть.

Ну, и потом, — всякое дело надо продумывать до конца — оставались еще и его люди. Самый подозрительный, пожалуй, Цурмак — подозрительный, если смотреть его, Цурмака, глазами: этот хоть и женат, но малый не промах, своего не упустит даже на службе — во всяком случае однажды, притом в крайне неприятной ситуации, которая могла кончиться плохо, он вступил в интимные отношения с родственницей одного из задержанных. Он арестовал паренька, торговца гашишем, а потом отправился к нему на квартиру, чтобы как следует все обыскать, и там, как он сам потом признался, «лег» с матерью мальчишки.

«Да, у меня с ней было. Хорошая баба, Элли ее звали, фамилию не помню, и вовсе не шлюха. И потом, бывало, заходил, да, в рабочее время, потому как тянуло очень, и сейчас, как мимо ее дома пройду, тоже тянет, и сердце щемит, ведь я знаю, что и ее старик, и ее мальчонка — оба в тюрьме, а мне

она нравится, даже, может, не просто нравится, а еще сильнее, и когда бываю около ее дома, не могу устоять, да и она каждый раз так и млеет, а Лисбет, жена моя, ничего не знала и ни разу ничего не заметила. Но потом я все-таки сам струхнул, опасность шантажа и все такое, хотя у нее этого и в мыслях не было, нет, Элли хорошая баба, душевная, баба что надо...»

И все-таки Цурмака он исключил, не потому, что считал его на такое неспособным, а из-за нее, из-за Сабины Фишер. Не мог он представить ее с Цурмаком, ну никак, пожалуй, тогда уж скорее с Клобером, хотя Клобер — кривоногий старый сморчок, а Цурмак — видный, статный полицейский, есть в нем даже что-то от добропорядочного жандарма былых времен, ладный, спортивный, открытый и, видимо, на женский взгляд, отнюдь не лишен шарма. Люлер — он перебирал их, так сказать, в порядке вероятности — теоретически, конечно, запросто и в сей же миг, этот тоже не боится приключений и пережил их предостаточно, к тому же холост, одно только: эта «пчелка» — ни в любовном, ни в чисто социальном аспекте — не его поля ягода, слишком уж шикарно и слишком рискованно. Она же из тех, кто «фигурирует в прессе», да еще как! А это означает скандал и крупные неприятности. Нет, Люлер на такое не пойдет, только не он; и потом, ведь если это кто-то из его подчиненных — а они, черт возьми, тоже люди и, между прочим, мужчины, — значит, нарушения безопасности тут исключены; остается еще Хуберт Тёргаш. Этого он до сих пор так и не раскусил, вообще-то он ему нравится, один из самых надежных сотрудников, и даже в теории на высоте, юридические, правовые аспекты всегда в полном ажуре, вообще ни малейшей промашки, даже когда в полиции нравов стажировался. При поступлении Кирнтер ручался головой и за него, и за его стабильный брак, а проявляющуюся временами нервозность, которая иногда почти переходила в раздражительность, объяснял финансовыми трудностями: парень слишком много на себя взвалил — новый дом, новая машина, престижные покупки, — но Кирнтер указал и на необычайно важный, даже, как он выразился, «неоценимый ста-

билизирующий элемент» — жену Тёргаша Хельгу, милую, спокойную, умницу, к тому же «почти красавицу»; правда, среди родственников имеются и некоторые отнюдь не стабильные элементы, как-то: сестра Хельги Моника и особенно ее друг Карл Цурмайен, тоже из таких, социолог-недоучка, но у них на него ничего, равным счетом ничего нет, хоть он и находился в Берлине в довольно подозрительный период, так что вполне могло и быть. Только одно указывает на Тёргаша как на вероятного «обременителя» — из всех подозреваемых лиц он единственный если не идеально, то по крайней мере приблизительно подходит под «ее тип». Очень серьезный молодой человек, набожный, как и она, притом не без юмора, хоть и кажется иногда сухарем, к тому же преисполнен спокойной мужественности, которая ей наверняка нравится; религиозен, временами до фанатизма, чего в ней нет, чертовски «справедлив», не самоуверен, но одержим идеей справедливости, ради которой кое-кому в обход инструкций кое-что спускал, а кое-кого даже и отпускал. Среди них он отчасти как бы инородное тело, сальных анекдотов не терпит, непристойностей на дух не переносит, что прежде давало повод для насмешек, иной раз даже небезобидных, но при этом среди сотрудников, включая самых циничных зубоскалов, он сумел завоевать и уважение, и даже расположение. Но неужели Тёргаш — даже мысленно что-то мешает назвать его «обременителем», поэтому на сей раз он предпочел слово «любовник», — неужели Тёргаш был или, чего доброго, все еще остается ее любовником? Впрочем, само это слово «любовник» хоть и прибавляло вероятия невозможному, но все же не настолько, чтобы уверовать в его вероятность.

Значит, один из его подчиненных? Аршинных заголовков тут будет хоть отбавляй, и от первого же он мигом слетит, так что, наверно, лучше покамест это дело не трогать и уж ни в коем случае не подключать ни Дольмера, ни Стабски, а газетчику так и сказать: интимная жизнь госпожи Фишер может заинтересовать его лишь в той мере, в какой она содержит в себе риск нарушения ее безопасности, а в данном

случае этот риск исключен: в самом деле, если этот кто-то из соседей или один из его людей — какой же тут риск? Разве что моральный, но моральный риск — это уже не по его части. Тёргаш? Да, он как раз из таких, из «душевных». Но ведь у него же Хельга, такая превосходная, милая, да и красивая жена, с которой он, Хольцпуке, даже имел удовольствие несколько раз станцевать, однако, как ни крути, а в данное время Сабина Фишер пребывает у брата в Хубрайхене в сопровождении Тёргаша и под его охраной; сад священника за высокой стеной, укромная хижина, могучие деревья, густой орешник; если у них и вправду роман, обстановка для влюбленных лучше некуда. Разумеется, ее брат Рольф вовсе не разбитной поборник порнопрогресса, как, кстати, и его капиталистическая сестрица, он-то скорее тип социалиста-пуританина, но, конечно же, не станет читать мораль и вообще как-то портить жизнь любимой капиталистке-сестре, если застукает ее за любовным тет-а-тет где-нибудь в укромном уголке старого сада. Да, ситуация скверная, просто взрывоопасная, и, наверно, лучше всего для начала отправить всех троих, Цурмака, Люлера и Тёргаша, на сборы в Штрюдербекен. А что — и лес, и поле, и кормят хорошо. Утром кросс, футбол, немножко теории, немножко стрелковых занятий — им такой отдых только на пользу, да они и заслужили; а после сборов он их всех представит к повышению, давно пора, это они тоже заслужили, особенно Цурмак, которого жена Блямпа просто вконец доконала, так что он, бедняга, теперь наотрез отказывается когда-либо впредь «сопровождать хоть какую-нибудь бабу в магазин даже по приказу, и на курорт тоже, где она в баре будет накачиваться и титьками трясти, а ты только глазами да облизывайся. Нет уж, дудки! Все что угодно, только не это». Значит, сборы, потом отпуск, а потом и перевод: им совсем не повредит вспомнить о том, что сам он называет нормальной полицейской работой; правда, возникнут, конечно, кадровые проблемы. Четвертая жена Блямпа изъявила желание отдохнуть на каком-то острове в Северном море, и Блямп уже просил «обеспечить соответствующие ме-

ры». Значит, надо срочно переговорить с Дольмером, в случае чего даже пробиться к Стабски и потребовать подкрепления; а о беременности этой Фишер даже не заикаться — это ее дело, дело ее мужа и ее любовника, если тот вообще в курсе. С нее ведь станется — такая никому, никому ни слова не скажет, пока на нее не набросится вся свора Цуммерлинга, и тогда, видимо, ей крышка, но ему, Хольцпуке, — нет уж. Надо сейчас же позвонить этому газетчику и твердо сказать, что беременность госпожи Фишер «не сопряжена с каким-либо риском нарушения ее личной безопасности»; уж он-то сумеет ему втолковать, что не уполномочен давать более подробную информацию.

VIII

Может, ей даже удастся доказать, что Бройер знал про ее связь с Петером, знал и терпел. Пусть, если дело действительно дойдет до суда, пусть выложит путевые листы, которые он всегда так внимательно, так придирчиво изучал и в которых регулярно, раз, а то и два раза в неделю помечены ездки в 23 километра, а потом два, а то и три часа стоянки. И разве не он, подмигнув, спросил у Петера: «Что, навещаете кого-нибудь?» — и разве Петер не кивнул в ответ и не согласился произвести перерасчет, записав эти злосчастные 46 километров — 23 туда и 23 обратно — как поездки по личному делу? Неужто Бройер так сразу запомнил, что от его фирмы до дома ровнехонько 23 километра, ведь они вместе много раз специально — и не просто из спортивного интереса, а из-за налогов — это проверяли? И свидетели есть, если, конечно, они согласятся подтвердить: бухгалтер Пляйн, он и счета предъявить может. О чем же, о чем Бройер раньше-то думал? Как он на суде все это объяснит: 23 километра туда, 23 обратно, два часа стоянки — и все это «по личному делу»? Разговора об этом у них, конечно, не было, но ведь у него есть и бухгалтер и учетчик, а это продолжалось больше двух месяцев и могло бы спокойно продолжаться дальше, если бы проклятые ищейки из безопасности не совались куда не на-

до, а в личном деле Петера не значилась пара мальчишеских глупостей и если бы еще не этот идиотский допотопный пистолет, которым в наши дни и ребенка не напугаешь, — старинный револьвер с барабаном, образца 1912 года, правда, с патронами.

Адвокат, впрочем, ее предупредил: Бройер запросто может все отрицать, он, мол, знать ничего не знал, а даже если он, что маловероятно, и согласится рассказать о кое-каких своих догадках, все равно он имеет полное право заявить: дескать, прежде терпел, но, когда все оказалось официально запротоколировано, терпение его лопнуло, тем более что стараниями прессы, для которой, очевидно, одного соседства с Фишерами уже достаточно, чтобы ославить человека на всю страну и увековечить для истории (последнее, впрочем, спорно, но в том-то и заковыка, что тут все «спорно и неоднозначно»), — дело приобрело столь широкую огласку. Как супруг он вполне мог «терпеть скрепя сердце» (ни черта он не «терпел», извращенец несчастный, небось еще получал и от этого свое удовольствие!), но трепать свое доброе имя, свою репутацию коммерсанта не позволит, потому и подал на развод. Огласку она не отрицает, что да, то да, но если разобраться, тут тоже не все так гладко, во всяком случае ее или Петера вины тут нет, скорее уж сам Бройер виноват, если бы он помалкивал, а не пытался объяснить свое банкротство каким-то там «моральным ущербом», может, и не было бы никакой огласки. Очень даже может быть, что он сам позвонил какому-нибудь газетчику, а что, с него станется, она же его знает, и если до дела дойдет, она все выложит, про все его свинства и мерзости расскажет; а в случае чего, если Бройер все-таки процесс выиграет, можно — адвокат уже намекал — объявить себя «потерпевшей от безопасности». Это, как растолковал адвокат, а маклер Бройера подтвердил, выводит дело на совсем иной уровень и в случае чего позволяет начать совсем иной, прямо-таки показательный процесс. Что ж, если он так настаивает на разводе — пожалуйста, но без установления виновности сторон: пусть раскошелится, уж она-то знает, сколько у него в банке.

И Клобер наверняка согласится участвовать, после проверок его гостей вскрылись весьма неприятные вещи — контрабанда и еще какие-то махинации с нефтью, она в этом не разбирается; но главное, из-за чего Клобер был просто взбешен, — многие его посетители, с которыми он проворачивал свои, скажем так, не вполне законные делишки (и Бройер тоже проворачивал — с часовщиками-итальянцами, очень подозрительные типы!), теперь наотрез отказались его посещать — кому же охота по доброй воле «лезть полиции прямо в лапы». А для делишек, которые раньше обделывали с Клобером, они мигом подыщут другого партнера, и Клобер достаточно ясно дал ей понять, не прямым текстом, конечно, но более чем прозрачно намекнул, что теперь со страхом ждет налогового инспектора. Как бы там ни было, Клобер уж точно «потерпевший от безопасности», и, оказывается, создана инициативная группа адвокатов, которая собирает сведения о потерпевших по всей стране, даже если ущерб выражается в столь пустяковом и, казалось бы, неизбежном неудобстве, как постоянное присутствие полиции возле дома или просто на улице. Уже документально подтвержден случай с одной школьницей, родители которой жили по соседству с неким высокопоставленным лицом и которая, хотя до поры до времени училась вполне прилично, даже хорошо, что подтверждено и отметками, затем в результате нервного срыва провалилась на экзамене и покончила с собой. Снижение цен на участки, «охваченные мерами безопасности», — тоже документально зафиксированный факт. И если не вранье то, что говорят насчет «гарантий секретности»: что, дескать, нарушения по части налогов, всевозможные сомнительные делишки и «особенности сексуального поведения», выявленные в результате контрольных мер безопасности, но не связанные с «фактором риска», не подлежат разглашению, более того, сохраняются в тайне, — тогда как же быть, если они все-таки через какие-то дыры и прорехи вышли наружу, и кто в таком случае обязан возместить ущерб?

На этот счет адвокат ее совершенно успокоил. Он только снова и снова заклинал ее ни намеком, ни полсловом, упаси

Бог, не обмолвиться, что она, вероятно, в один прекрасный день все равно сбежала бы с Шублером, — тогда всему конец, процесс считай что проигран, и этот и другой, по части «ущерба от безопасности».

Да, после роскошного дома в Блорре — квартирка Петера, конечно, это было потрясение, которое стоило ей многих вздохов и слез; после восьми комнат с двумя ванными, после сада и бассейна — тридцать восемь квадратных метров, и только душ, а она так любила поблаженствовать в ванне, из ванны в бассейн, из бассейна в ванну, и вообще. Безденежье, теснота, а тут еще эти мужики, соседи по этажу, из холостых, есть и вполне приличные на вид, с их бесстыдными предложениями «понежиться за полсотни», слово-то какое нашли, хотя не сказать, чтобы оно ей не нравилось, особенно при ее безденежье, но нет, по этой дорожке она не покатится. Раньше, еще до замужества, иногда бывало близко к тому, когда она еще продавщицей у Бройера работала, богатые клиенты, особенно из иностранцев, так и норовили зазвать к себе в гостиницу «на рюмочку». Нет. Она никогда этого не делала, за деньги — никогда, да и Петер наверняка заметит и не простит, хотя сам-то за полсотни иной раз целый день вкалывает, да еще как: грузчиком, упаковщиком, и притом нелегально, а при нынешнем спросе на работу насчет оплаты особенно не покочевряжишься — их просто медленно душат. И хоть он никогда не ворчит, она же видит, как его это гложет, ведь у Бройера он уже вот-вот «пошел бы в гору»: до управляющего ему, конечно, еще далеко, но закупщиком или там координатором вполне мог бы стать, как-никак он все-таки изучал экономику. Нет-нет, надо следить за собой и продержаться, он действительно ее любит, и она с ним счастлива, а он и не ругается, не ворчит никогда, только временами какой-то тихий и очень уж серьезный, да и читает многовато, к телевизору его не заставишь, разве что иногда в кино ходят, а потом что-нибудь выпить, на танцы — редко, говорит, что для танцбаров он уже староват. Слава богу, хоть эти идиотские допросы кончились и газеты оставили их в покое.

Одно только, но это всего хуже: шум с улицы, от него даже снотворное не помогает. Эти сволочи — знать бы, кто, кто именно? — проложили через город скоростную автостраду, а в центре, прямо под окнами, еще и транспортную развязку, день и ночь в квартире только гул, гул, гул, а если на минуту-другую, в лучшем случае на три, гул умолкает, она все равно ждет, когда он возобновится, наплывами, то тише, то сильнее, среди ночи она встает, в халатике выходит на крохотный, смехотворно жалкий балкончик, курит и думает, что надо бежать — но куда? Как прекрасно было в Блорре, и, как знать, быть может, Бройер в конце концов согласился бы на какой-нибудь «тройственный вариант», если бы эти проклятые ищейки не совались куда не надо. Этот гул, иногда переходящий в рев, — от него просто спасу нет, окна закрывать бесполезно, а звуконепроницаемые стекла слишком дороги, да и душно. Спать с закрытыми окнами — нет, без воздуха она задохнется. И ничего, ничего нельзя сделать: протесты, гражданские инициативы, собрания в кафе на углу, где им приходилось выслушивать скользкие отговорки ответственных лиц, — все бесполезно, против этого только одно верное средство — переезд, бегство. Бывали ночи, когда она, одурев от бессонницы, сигарет и шнапса, в бессильной ярости молотила кулаками по голове и готова была уйти, просто уйти куда глаза глядят. Затычки в уши тоже не помогали, гул преследовал ее неотвязно, даже если вдруг на минуту становилось тихо, в голове все равно гудело, гудело и тогда, когда она в автобусе ехала в Блорр, чтобы повидать прежних знакомых, те хоть и ухмылялись, но были с ней милы, Беерецы, к примеру, которых она умоляла сдать ей комнату, любую, хоть самую убогую конуру, можно даже чуланчик, лишь бы поспать, лишь бы наконец выспаться. Но те начинали ставить условия: конечно, они могли бы «несмотря ни на что» — на что? — освободить и даже обставить для нее комнатенку в мансарде, не совсем задаром, но по знакомству, разумеется, дорого бы не взяли. Смущает их только одно: что она, возможно, будет спать там «с этим мужчиной», этого они не могут допустить,

а так — ради бога. Но на это она не пойдет, без Петера — ни за что, тот выматывается, как каторжник, не гнушается самой грязной работы, и так уже работает почти исключительно с турками, редко когда — с итальянцами, он до того дошел, что месту мусорщика обрадовался бы как величайшему и престижному поощрению. И ему нельзя с ней спать? Нет уж, коли так, и не надо.

А к этой Фишер она не пойдет. Зря, конечно, обругала её по телефону: она милая, и соседка хорошая, да и, в конце концов, она-то при чем? И, наверно, у Фишеров им можно было бы погостить в субботу-воскресенье, если бы не муж Саббины, который во время танцев дал-таки волю рукам и вообще повел себя как последний потаскун, а Клоберы, которые, наверно, все-таки на ее стороне, не очень-то ей симпатичны, сразу начнут лезть в душу, выпрашивать подробности о разводе и отпускать пошлые шуточки насчет разницы в возрасте между ней и Петером. И на ее бывший дом в Блорре, который до сих пор пустует, смотреть больно, даже издали. Бройер, наверно, и сад совсем запустил, в бассейне тина, салат зацвел, фасоль тля заела. Вот уж действительно, все пошло прахом, а на обратном пути она с ужасом думала о предстоящей ночи, о гуле и реве за окном, об этом аде, который днем не казался таким уж страшным, но ночью доходило до того, что она, лежа рядом со спящим Петером, плакала в подушку, потом вставала, опять шла к бутылке и уже под утро проваливалась в тяжелое забытие, но тут же просыпалась от плеска воды: Петер принимал душ. Пошатываясь, она плелась в кухонный уголок приготовить *завтрак*, даже после кофе клевала носом, но Петер все равно каждый раз на прощанье прижимал ее к груди, целовал, и было очень приятно слышать его шепот: «Я делаю что могу, вот увидишь, мы обязательно отсюда выберемся. Ты только разведись скорей, и мы поженимся. Я тебя очень люблю».

Хорошие, добрые слова, особенно от Петера, он ведь не слишком-то разговорчив. Но он же не слепой, не может не замечать, что кожа у нее портится, лицо по утрам серое

и в морщинках, что никаким мытьем, никакими кремами и массажами не удастся добиться той «молочной мягкости», которая прежде исторгала из его уст столь пылкие, хотя и немногословные, хвалы. Она стареет, старится, каждая бессонная ночь старит ее, наверно, на целый месяц, если не больше, и алкоголь совсем не бодрит, тут, сколько ни втирай, сколько ни массируй, все равно остается ненавистный серый налет, а ей ведь не хочется, чтобы она своему Петеру разонравилась. Такой молодой, почти студентик — и любит ее, от него ей это во сто крат приятней слышать, и потом, он ей тоже дорог, и это правда — то, что она сказала адвокату: в один прекрасный день она бы все равно с ним сбежала, но лучше бы не в такую тесную квартирку и не в этот район, где она от шума рано или поздно свихнется. Еще бы годик, может, даже полгода, — и она бы выбила из Бройера деньжат, открыла бы мелочную лавку в тихом районе, а что, ей бы это подошло, или галантерейку. Петер смог бы доучиться и получить диплом, а ребенка они бы усыновили. Она же вполне нормальная женщина, и в сексуальном отношении тоже, в конце концов, вся история с Петером это лишь подтверждает. Вот только сосредоточенности недостает, из-за этого ни во что играть не умеет — в шахматы там или еще во что, даже в несложные игры, которые он так любит, даже в лото или в уголки, не может сосредоточиться, и все тут. А из-за телевизора в первые недели чуть до скандала не дошло: ну что делать, если она привыкла в семь часов посмотреть новости, потом поужинать, полистать телепрограмму и что-нибудь себе выбрать «на вечер». А у Петера только крошечный переносной телик, черно-белый, и к тому же барахлит — то мигать начнет, то звук пропадает. А ночью шум, прямо хоть беги, и даже телефона нет, а она целый день одна-одинешенька, иногда так хочется позвонить кому-нибудь из старых подружек, Элизабет хотя бы, у которой теперь свой кабачок, или Герте — та и в самом деле открыла-таки галантерейку. Старым приятелям, пожалуй, звонить не стоит, начнутся намеки, заигрывания, воспоминания бог весть о чем — нет, она не хочет обижать Петера. А из

автомата звонить никакого удовольствия. Обязательно кто-нибудь стоит над душой, некоторые даже стучат. То ли дело развалиться в кресле, поболтать всласть, заодно и сигаретку выкурить.

И деньги кончаются, понемногу, но кончаются. Конечно, у нее есть своя сберкнижка, давно, еще до замужества, и из хозяйственных денег случалось кое-что выкраивать, Бройер ведь раньше никогда не мелочился, это он сейчас стал мелочным, а она теперь подсчитывает, сколько раз в день можно проехать на автобусе или трамвае. Хорошо еще, дел у нее здесь куда больше, чем в Блорре; Бройер ведь ей ничего делать не разрешал — а тут стирка, уборка, покупки, стряпня, стряпня особенно, потому что Петеру очень нравится, как она готовит, оно и неудивительно, после стольких лет холостяцкой жизни, когда он питался всухомятку или, в лучшем случае, разогретыми консервами. Да, она любит готовить, к тому же это отвлекает от шума за окном и от мыслей об очередной бессонной ночи. Любит к его приходу красиво накрыть на стол — хоть приданое, слава богу, Бройер ей отдал — и смотреть, как он ест, и слушать его нежные слова. Он такой милый мальчик, не очень, правда, разговорчивый, и телевизор, к сожалению, не любит, и хоть он и просит обязательно его будить, когда она не может заснуть, у нее рука не поднимается, такой он во сне тихий и так сладко спит, видно, привык к шуму. И лицо у него во сне такое доброе, и, конечно, она знает: вечно это продолжаться не может, нет, не может, и она снова шла к зеркалу и пристально изучала свою кожу; вечно это не может продлиться, и даже долго не может, скоро никому и в голову не придет предложить ей «понежиться». Тогда, наверно, она все-таки поедет домой, к своим в Хубрайхен, куда вернется не Эрной Бройер и не Эрной Шублер, а все той же Эрной Гермес, ведь она не забыла, как обращаться с электроилкой, и подать еду в постель больному отцу тоже сумеет, и поухаживать за ним, и убрать. Вместе с Бройером ее там никогда особенно не привечали: для домашних он был «больно шустрый», брат так напрямик и сказал: «Скользкий

какой-то», а появиться с Петером — нет, у нее духу не хватит. Но ее комната всегда ее ждет: ореховая кровать с высокими спинками, умывальник с тазиком, ночной горшок, «комната в любое время твоя, но только для тебя одной». И еще: «Если вернешься, не вздумай снова выкидывать свои фокусы».

Какие такие фокусы? Это уж скорей Юпп Хальстер выкинул фокус, когда однажды воскресным утром ни с того ни с сего застрелил жену, или молодой Шмерген, который тоже ни с того ни с сего однажды воскресным вечером взял да повесился. Ну да, да, было у нее «кое-что» с одним женатым, с Хансом Польктом, а он не сумел развестись, и пришлось ей уехать в город. Было, было! Но этому сыночку Тольма, брату Сабины Фишер, за которым грешков небось куда больше, чем за ее Петером, они преспокойно позволяют у них жить, а он ведь тоже не женат на этой девчонке, коммунистке, у которой от него ребенок!

Из автомата звонить — просто никаких нервов не хватает. После того как у Фишеров и в третий раз никто не ответил, она все-таки позвонила Блюм, узнала, что Сабина уехала в Тольмсховен, позвонила туда, ей сказали, что ничего говорить не велено, нет, по телефону никаких сведений, но она не уступила, пока не вытребовала к телефону мать Сабины; в конце концов, старушка должна ее помнить, чай вместе пили и вообще прекрасная женщина, ничего не скажешь, но и та сперва что-то мямлила, потом все-таки ее вспомнила и после долгих колебаний и уговоров — «не могу, право, не могу, поймите, милочка моя, меня и так без конца ругают» — сообщила, что дочка «переехала» в Хубрайхен, она так и сказала: «переехала», не «поехала», — к ее сыну, и даже дала номер телефона. Но нет, туда, пожалуй, она звонить не будет, лучше съездит, может, даже на велосипеде, и Петера с собой возьмет, а что?

Наверно, у Сабины можно и денег попросить. У нее ведь есть. Трое юнцов, позвякивая мелочью, давно торчали возле автомата, а когда она вышла, присвистнули и один негромко, но отчетливо сказал:

— Вот уж не знал, что телефонные шлюхи теперь и из автомата работают...

Неужели она так выглядит? Уже так? Может, слишком зазывно? Да, пора уходить, уезжать. Может, Хальстер возьмет ее в экономки, хозяйство-то теперь у него запущено. Силенок у нее вполне хватит, и коже это только на пользу, а Петер смог бы там приложить свои знания в экономике, да и не боится он грязной работы, лишь бы спальни у них были отдельные, тогда все будет в порядке, ведь это совсем не значит, что они должны спать врозь. Молодому Тольму — тому вот отдельные спальни иметь не обязательно, тому можно сколько угодно миловаться со своей коммунисткой, да еще прямо возле дома священника, не говоря уж о том, что он сам «подрывной элемент». Он-то в любом случае и сейчас гораздо опасней, чем ее Петер был тогда, по молодости. Мальчишки все еще нахально свистели ей вслед.

IX

Сабина — вот о ком у него душа болит. Тут не только огорчение и не только мысли о возможной ссоре с Фишером и «любовном внимании», которым его снова одарят люди Цуммерлинга, — нет, его беспокоит сама девочка, ее дальнейшая судьба. Если Фишер вдруг вздумает признать ребенка своим, она, вероятно, на это не согласится, и тогда возникнет множество почти неразрешимых юридических закавык. И мысль о неизбежном прощании с Тольмсховеном тоже уже укоренилась, вгрызлась в него и начала расти. А кроме того, он устал, до смерти устал и уже сожалеет о том, что пригласил Блуртмеля и его Эву к ужину. Приглашение было принято неожиданно быстро, скорее всего по настоянию этой Кленш, которая оказалась даже миловидней, чем на фотографии, и, похоже, не чужда любопытства к жизни сильных мира сего. И гораздо бойчей, чем он предполагал, было в ней что-то почти хваткое, назойливости, правда, никакой, но и застенчивости или хотя бы намек на застенчивость — тоже. Блуртмелю все это, видимо, было довольно неприятно, но он и в этой ситуации был безупречен, проявляя и скромность,

и такт, и поистине виртуозность канатоходца в балансировании на грани между слугой и гостем, умудрялся помогать по хозяйству, никак не дав почувствовать свое зависимое положение. Он даже стол накрыл, пока Кэте с Эвой Кленш чему-то смеялись на кухне, и даже эта акция выглядела у него как помощь внимательного и любезного гостя, а вовсе не приглашенного в гости слуги. Но было в этой поразительной способности к перевоплощению, в этой почти непостижимой, но в то же время вполне внятной смене нюансов что-то каверзное: словно все это игра, спектакль, представление, и легко было вообразить, как Блуртмель на вечеринке в кругу друзей с блеском играет всевозможные роли, «показывая» гостеприимного хозяина, его слугу, потом прислуживающего хозяина и его гостя, из вежливости согласившегося позабыть, что он слуга. Блуртмель тем временем сбил для него коктейль, который и в самом деле развеял усталость и все тревоги: Сабина, съезд, интервью, Блямп, судьба Тольмсховена, — а Блуртмель уже поставил кассету, Шопен, негромко, а сам пошел на кухню резать лук, совсем другой человек, веселый, почти сияющий, и даже ни чуточки не смутился, когда Кэте предложила его Эве все-таки, раз уж Сабина уехала, перебраться в гостевые комнаты, добавив: «Так вы, по крайней мере, будете хоть не на разных этажах». С кухни то и дело доносился веселый смех: там изготавливался какой-то фантастически изысканный омлет, откупоривались бутылки, Кэте, в виде исключения, так и быть, согласилась на суп из консервов, а Блуртмель сознался, что вообще-то обожает икру, но купить ни разу не отважился, и даже это замечание, недвусмысленно напоминавшее о социальных различиях, ничуть не омрачило общего радостного оживления.

И все же у него чуть голова не пошла кругом, когда пожаловали еще и Шрётеры, которых, оказывается, Катарина — «наконец-то удалось затащить!» — тоже пригласила: как-никак и односельчане, и родственники, пусть и неофициальные, но внук-то у них общий. Тут опять возникла проблема, как к кому обращаться, которую они после трех, если не больше,

встреч у Рольфа так и не смогли решить. Шрётер ни в какую не хотел говорить ему «ты». Самое большее, на что его удалось сподвигнуть, было «Тольм» и «вы», тогда как Луиза, его жена, снизошла до «Фриц Тольм» и «вы»; Кэте, со своей стороны, тоже проявила упорство, категорически запретив называть себя «госпожой Тольм» или «госпожой Кэте», просто «Кэте» и «вы» — еще куда ни шло; но поскольку они так редко виделись, Шрётеры поначалу то и дело сбивались, «господин» и «госпожа» все равно у них нет-нет да и проскакивало. Тогда Кэте воззвала к добрым старым временам:

— Вы представьте, что мы познакомились, когда я еще жила у свекрови в доме учителя и с Рольфом на руках ходила по деревне, или когда я жила у графини, или еще раньше, когда я была просто Кэте Шмиц из Иффенховена, ведь мы же могли познакомиться на карнавале или на танцах, и я бы вам сказала: зови меня просто «Кэте».

— Так-то оно так, — возразил Шрётер со своей мягкой, но чуть горькой улыбкой, — только ведь не было этого. «Тольм» и «вы» — это еще куда ни шло, но «Кэте» и тоже «вы», нет, язык не поворачивается, а просто «вы» вроде как невежливо, да и глупо, ну а звать вас тоже «Тольм» и «вы» — это уж совсем ерунда получается; и вообще все эти штучки-дрючки с именами не для меня, слишком по-американски, нет, язык не поворачивается.

— А я, — сказала Луиза Шрётер, — слишком мала была, когда он у нас в деревне в школу ходил, чтобы ему тыкать, да и потом тоже, а так, наверно, могла бы говорить ему просто «Фриц» и «ты». Да, шампанское я люблю. А по какому случаю? Ах да, ну конечно, извините, как же я забыла. Что ж, тогда поздравляю и... счастья вам.

Шрётер настоял на пиве, закурил свою трубку и, когда стол был окончательно накрыт и Эва Кленш внесла суп, сказал:

— Ну, сейчас я навалюсь. Только о политике не надо, ладно?

— Ладно, — ответил Тольм. — О политике не буду, обещаю.

Кэте заранее определила, кому с кем сидеть: Кленш со Шрётером, сама она с Блуртмелем, а он с Луизой Шрётер.

У них нашлось о чем поговорить. Он осторожно осведомился об Анне Пюц и о Берте Кельц, услышал в ответ, что одну разбил паралич, другая померла, узнал о том, что Кольтшрёдер теперь уж вряд ли долго продержится, потому что он, ну.. тут бедная, милая Луиза, которая всегда была, так сказать, одной из главных опор священника, покраснела, — словом, что-то там вышло с девушками, со школьницами, которые то ли сами перед ним «обнажались», то ли он заставлял их обнажаться. Луиза ограничилась констатацией, что «все это слишком далеко зашло».

Стараясь укрепить Блуртмеля в сознании, что он здесь только гость, Тольм иногда вставал, подливал вино, открывал минеральную воду, принес бокалы из посудного шкафа, а потом принялся объяснять и показывать Луизе Шрётер все тонкости смакования икры: как надо сперва дать прожаренному кусочку хлеба остыть, чтобы масло на нем не плыло, но остыть не до конца, чтобы он оставался хрустящим и внутри теплым, а уж тогда на него икру, «как следует, Луиза, как следует, полной ложкой!» — а сам краем уха слушал, о чем говорят другие, удивляясь, что Шрётер очень даже оживленно беседует с Эвой Кленш, причем первый же начал о политике: социализм, католицизм, история христианско-демократических профсоюзов, как он сидел при нацистах, предательство Аденауэра, о ХДС вообще говорить нечего, СДПГ слабаки, — удивился и тому, как спокойно, но энергично Эва защищает и свою СДПГ, и католическую церковь. Он пожалел, кто Кэте не посадила его с Эвой, с удовольствием заглянул бы поглубже в глаза этой на диво хорошенькой особе, но если бы его посадили рядом с Эвой, Луизе пришлось бы сидеть со своим Шрётером.

Он и посуду помог убрать после закусок, разлил по бокалам красное вино, однако в голове временами уже слегка мутилось, слишком много всего для одного дня: выборы, интервью, бредовые мысли насчет птиц, история с Сабиной. Он извинился перед Луизой Шрётер за то, что, наверно, не очень-то разговорчив, но потом, собравшись с силами, все

же развлек ее рассказом о графе Хольгере Тольме, просто так, болтовня, но она слушала с явным и непритворным интересом.

— Жалко, — только и сказала она под конец. — Вовсе не такой уж плохой был парень.

С растущим изумлением наблюдал он за Блуртмелем, который, утратив всякую робость, но не достоинство, виртуозно соблюдая дистанцию и ничем не давая ее почувствовать, мило разговаривал с Кэте, без малейшего подобострастия и фамильярности, но при этом сохраняя в поведении и жестах, во всей манере держаться легкий оттенок профессионализма, который позволит ему завтра без тени смущения приступить к обязанностям слуги, снова готовить ванну, делать массаж, не встречать без спроса в беседу. Даже в том, как Блуртмель любезно, но строго запретил ему дальнейшее участие в сервировке, и в той подчеркнутой, как ему показалось, слегка утрированной демократичности, с которой он вызвался разрезать омлет и раздавать тарелочки для салата, в той отнюдь не приказной, но деликатной и дружелюбной твердости, с которой он без слов, одним только взглядом прервал метафизические разглагольствования Эвы со стариком Шрётером, отправив ту на кухню, где они с Кэте тут же опять начали хихикать, во всем чувствовалось что-то такое, что он, Тольм, мог назвать только одним словом: личность. Это была решимость, способность принимать решения, которой так недоставало ему самому: Блуртмель, вне всяких сомнений, был бы замечательным президентом. В осанке и движениях Блуртмеля ему вдруг отчетливо бросилось в глаза что-то, чему он так долго искал подходящее определение, и теперь нужное слово наконец-то нашлось: молодежное движение* начала века, видимо, в Силезии оно продержалось дольше. Наверно, именно это и навело его — ошибочно — на мысль о педагогическом эросе.

* *Молодежное движение* — католическое общественное движение, возникло на рубеже XIX—XX вв., его участники стремились к освобождению от давящей воли взрослых, искали новые формы общности в странах, празднествах.

Вечер, судя по всему, совершенно удался: еду нахваливали, все разговорились, Блуртмель даже «выдал» несколько смешных историй о своем интернате, тепло вспомнил епископа, а Луиза до того «расслабилась», что без стеснения стала говорить о денежных заботах: как ее брат — «вы же знаете, какой он всегда был бессердечный», — повысил квартирную плату, даже на воде норовит их обжудить, а пенсия у Шрётера — гроши. Он уже чуть было не решился предложить ей денег, разумеется, якобы в долг, так они ни за что бы не взяли, но помешал страх, его неискоренимый страх, старый и новый. С этими деньгами все ужасно сложно, вечно одно и то же: одни норовят урвать поскорей и как можно больше, а те, кому сам предлагаешь, с ледяной миной отказываются; нет, пусть уж лучше Кэте возьмет это дело в свои руки. Луиза даже спросила, сколько стоит икра, но потом спохватилась, зарделась, и ему пришлось, успокоительно положив руку ей на плечо, признаться, что он и сам толком не знает, сколько она стоит, потому что — сейчас она удивится — икру ему дарят, и кто? Конечно же, русские, с которыми у него, правда, прямых деловых связей нет — «им мой «Листок» ни к чему, в Советском Союзе его не продашь», — но встречи бывают, на приемах там, конференциях. Он рассказал и о том, как не любят эти русские общаться со своими же товарищами, о которых иногда, особенно под хмельком, говорят пренебрежительно, почти с презрением, — ну, почти как наши епископы о причетниках или кардиналы о рядовых прелатах. Что же до икры, то точно таким же манером он получает и сигары с острова Фиделя Кастро: опять-таки русские дарят, сам бы он ни за что покупать не стал, как и икру, и он признался Луизе Шрётер, что никогда, никогда ему не избавиться от некоторых своих травм и комплексов, никогда: в нем все еще сидит вечно голодный сын сельского учителя, и он никогда, хотя давно уже в состоянии себе это позволить, никогда не сможет выложить шесть-семь марок за одну сигару или там, «ну не знаю», сорок марок за несколько ложек икры. Стараясь незаметно вернуть ее к денежной теме, он продолжал: пусть она только, ради бо-

га, не думает, что он скупердяй, чего нет, того нет, машина, замок — это пожалуйста, но вот через цену на икру или сигары он переступить не сможет. Это так просто, чтобы она знала, какими прихотливыми путями гаванские сигары доходят до западногерманских капиталистов — и икра из вспоротых осетров.

Пить кофе перешли в салон, который Кэте с тех пор, как им настоятельно отсоветовали чаевничать на террасе, называла «чайной каморкой»; Эва Кленш вызвалась приготовить кофе и настояла на своем. «По-восточному, если не возражаете». Никто не возражал, у Кэте в хозяйстве нашлись и маленькие медные джезвы. По-восточному? Где она этому научилась? В Ливане? А может, в Турции или в Сирии? Догадывается ли она, что он доскональнейшим образом о ней информирован? Ознакомлен с ее биографией, осведомлен о ее походах в церковь и воскресных завтраках, о коммерческих операциях и даже об увлечении стрельбой из лука. Ему вдруг стало так стыдно, что он даже покраснел. Эта хорошенькая молодая женщина, оказавшаяся чуть более раскованной, чем можно было предположить по фотографии, эта милая, прилежная, миниатюрная особа, столь явно наслаждавшаяся приятным вечером, знает ли она, что на нее заведено досье и что он в это досье заглядывал, в обход всех правил, исключительно из любопытства к Блуртмелю, потому что с Блуртмелем он как-никак ежедневно общается больше, чем с кем-либо другим. Ну что, что ему до личной жизни Блуртмеля, до его мотоциклов, друзей-приятелей и любовных дел? Да, ему стыдно, но любопытство оказалось сильнее стыда.

В салоне пары перегруппировались: Кэте села с Луизой, Шрётер с Блуртмелем, а он — наконец-то — с Эвой Кленш, которая ненамного старше Сабины. Кофе был отличный, может, слишком крепкий, но он все равно выпил, потом, с улыбкой извинившись, снова встал, чтобы предложить гостям сигареты и сигары, а Кэте поставила на столик коньяк и ликер, призвав всех угощаться без церемоний. Шрётер долго и с наслаждением нюхал сигару: «Вот это вещь, даже курить жалко!»

Эва закурила сигарету, не отказалась и от рюмочки ликера, спросила его о внуках, тут же покраснела, осеклась, но он ее успокоил:

— Да, — ответил он, — мой старший где-то бог весть где, вероятней всего в Северной Африке. Не вижу причин об этом молчать, с какой стати? А сейчас у меня четвертый на подходе — от дочки, от Сабины.

Он удержался от вопроса, хочется ли ей иметь детей, удержался и от признаний, которые так и вертелись на языке и облегчили бы душу — невзгоды Сабины, невзгоды из-за Сабины, спросил только, чем она занимается, поинтересовался, как идут дела, сделал комплимент ее мужеству и предприимчивости, и все это, не решаясь по-настоящему взглянуть ей в глаза. Она охотно поведала о превратностях моды, о риске — «это как овощи-фрукты, скоропортящийся товар», — о конкуренции, борьбе, подсчетах, боязни прогадать, неизбежных убытках, и ему подумалось, что ее бойкость, наверно, просто обратная сторона застенчивости; сказала и об Алоизе, «спутник жизни, любимый и верный», а еще призналась, что очень тоскует по Берлину.

— Господи, Берлин, вот уж действительно город так город!

Кэте и Луиза, похоже, хватили лишку, беседа их давно перешла в неприкрытое шушуканье, сквозь которое то и дело прорывались знакомые деревенские фамилии, особенно часто — Кольшрёдера, но тут Шрётер, да, именно он, без слов, но энергично — мол, пора и честь знать — встал, тоже, кстати, слегка пошатываясь и все еще с потухшей сигарой в руке, которую ему явно жаль было бросить. Нет, не может он предложить старине Шрётеру еще одну сигару, так сказать, на вынос, это будет выглядеть подачкой, благотворительным жестом. Угостить — да, а с собой — никак, но если обставить это поделикатней, можно будет послать ему коробку, да, коробка, наверно, сойдет, это уже не подачка, это подарок. Обе дамы, судя по всему, все-таки преодолели церемониальные трудности и при всех говорили друг другу «ты», иначе Кэте не спросила бы на прощанье:

— Может, тебе еще чего-нибудь хочется?

И Луиза ответила:

— Да, прокатиться разок в вашем автомобиле.

— Прямо сейчас?

— Да, если можно.

Что ж, это можно устроить, только вот ехать-то до дома Коммерцев всего ничего, решено было просто немного прокатиться, на что Блуртмель тотчас же согласился. Эва Кленш, несмотря на все уговоры, осталась на кухне мыть посуду, сам он тоже с превеликим удовольствием пошел бы в спальню, но нет, ему, наверно, надо ехать, да и охрану известить. Луиза, не таясь, восхищалась «шикарной» машиной: «Мурлычет что твоя кошка, даже и незаметно, что едешь, честное слово». Она, как ребенок, наслаждалась недолгой поездкой, которую Блуртмель, выбрав кружной путь и назвав его «кругом почета», постарался растянуть, с интересом разглядывала все комфортабельные приспособления, которые демонстрировала ей Кэте, — автоматически открывающиеся окна, мини-бар и даже телефон, которым она тут же захотела воспользоваться, позвонила Катарине, сперва поговорила с Рольфом, потом с дочерью:

— С ковра-самолета, да! Ну, всех целую и дорогую госпожу Фишер тоже. Только не принимайте все это слишком всерьез. Как что? Политику эту вашу!

Блуртмель, которому детские восторги Луизы доставляли огромное удовольствие, включил стереосистему, поставил Баха: «То жених грядет небесный, агнец божий к вам грядет!»* Тут у Луизы и вправду увлажнились глаза. Шрётер, испытывая, по-видимому, некоторую неловкость, отер ей слезы, ласково бормоча: «Ишь, детка, как тебя проняло», на что она сказала:

— Да, ведь столько раз сама в хоре пела, а вот чтобы так — ни разу не слышала. — И приняла в подарок кассету, когда

* Цитата из начальных строк духовной оратории И. С. Баха «Страсти по Матфею».

они остановились перед воротами Коммерцев и Кэте попросила Блуртмеля прокрутить ленту обратно, а потом снять.

— Господи, в жизни не видела, чтобы так чувствовали Баха, нет, ты должна взять, я тебя прошу.

— А я и не знала, — ответила Луиза, — что такое на пленке бывает. Возьму с удовольствием, спасибо.

Следом тут же подрулила машина охраны, откуда выскочили двое полицейских, — лай собак, замешательство и прощальные слова Луизы:

— Вы к нам тоже как-нибудь обязательно заходите, все-таки мы родня, пусть они и не женаты, но ведь они наши дети и живут по-людски.

Больше всего ему хотелось бы сейчас, взяв Кэте под руку, пройтись до замка на своих двоих — ведь тут рукой подать, но, подумав, он направился назад к машине: переполох, который вызовет такая прогулка, да еще в темноте, заранее лишал ее всякой радости. Тольмсховен со всех сторон как на ладони, а по пути деревья, рощицы, кустарник, излучина ручья, обзор плохой, улица освещена тускло. Он почувствовал нервозность охранников, их вежливую скованность, когда на секунду замешкался у машины, потом помог сесть Кэте и следом за ней, с помощью Блуртмеля, сел сам; нет, эти семь-восемь минут ночной прогулки по деревне — для него несбыточная мечта.

Блуртмель снова находился в стадии перевоплощения, еще не вполне шофер и слуга, но уже и не совсем гость, во всяком случае в заботливой, почти участливой нежности его прикосновений чувствовалось нечто гораздо большее, чем профессиональная исполнительность. «Человек, — подумал Тольм, — чью душевную тонкость, все богатство нюансов я открыл слишком поздно, а ведь считал его скорее холодным».

Всего две минуты — и они уже подъехали к залитому огнями замку, снова вылезать, снова ладонь Блуртмеля, его рука, а Кэте опять побледнела и посерьезнела, покачала головой, когда в лифте он захотел что-то сказать, глазами показала на потолок: дескать, микрофон, — уголки губ устало опущены, видимо, все-таки многовато выпила. Блуртмель, взбежав по

лестнице, ждал их наверху, озабоченный, милый, мягким голосом предложил свои услуги — растирания, легкая гимнастика, массаж? — а когда они, поблагодарив, отказались, попросил все-таки «звонить, если что».

Эва Кленш уже удалилась к себе, в салоне, на кухне и в столовой все сверкало чистотой. Кэте прошла в ванную, отворила окно, выглянула на улицу.

— Я только сейчас сообразила, — сказала она, — что из окон Шрётеров нас, наверно, прекрасно видно, вон там, внизу, — видишь? — свет горит. Сейчас Луиза сидит в комнате Катарины и на дешёвеньком магнитофоне слушает Баха. Ты когда-нибудь заходил в бывшую комнату Катарины?

— Нет.

— Что ты, это почти как маленький музей. Там ее фотография после первого причастия, рядом репродукции лохневской Мадонны*, потом Мао, Че Гевара, Маркс, конечно, и еще этот итальянец**, все время забываю его фамилию, а на ночном столике старый кассетник, или как там он еще называется. И вот она сейчас там сидит, наша милая Луиза, и со слезами на глазах слушает «Страсти по Матфею». Надо подарить ей магнитофон получше, красивый, с хорошим звуком и, конечно, новый. Я очень устала, Фриц, ужасно устала, а ты вообще, наверно, еле живой после всей этой суеты, толкучки, а потом еще и интервью — ты, кстати, отлично справился.

Он подошел к ней, обнял за плечи, посмотрел в ту сторону, где вдалеке светились окошки Шрётеров.

— Знаешь, во время пресс-конференции мне пришла в голову одна идея: для радио и телевидения интервью можно давать впрок, про запас, будет что-то вроде консервов — по вопросам консолидации, заработной платы, по проблемам культуры, по внутренней и внешней политике, по вопро-

* Лохнер Стефан (ок. 1410—1451) — немецкий живописец, наиболее значительный мастер кёльнской школы. Имеется в виду, очевидно, его знаменитая «Богоматерь в беседке из роз».

** Имеется в виду А. Грамши (1891—1937), деятель итальянского и международного коммунистического движения, основателя ИКП.

сам безопасности. Можно заранее заготовить незначительные вариации, чтобы придать всему видимость злободневности. Ведь пока я там что-то болтал, я же совершенно о другом думал, почти ни на один вопрос не ответил прямо, кроме тех, что касались детей. Надо обсудить с Амплангером, может, это стоит организовать: посвятим как-нибудь полдня изготовлению консервированных интервью. Конечно, придется то и дело переодеваться: костюм тут важнее слов, одеждой можно подчеркнуть разнообразие ситуаций. Ну, и фон тоже придется варьировать, но это устроить легко: то книги, то картины, то современный интерьер, то что-нибудь старинное — зато сколько сил, времени, хлопот сэкономим, — а для радио можно слегка изменять голос, то с хрипотцой, то помоложавей, то усталый, а то бодренький... Таким манером за каких-нибудь семь-восемь часов ничего не стоит накрутить интервью на несколько лет вперед. На всякий случай я бы мог и некрологи наговорить — на Кортшеде, допустим, на Поттзикера, на Плифгера, может, и на Блямпа, на кардиналов и президентов, как ты считаешь? Конечно, если и от профсоюзов кто-нибудь сделает то же самое...

— Они не согласятся, им же все подавай — как это у них называется? — живьем.

— У них это называется live, но — как знать? — может, в записи на пленку все окажется куда живей, чем live, ведь не зря Вероника пыталась мне втолковать, что игрушечные заводные птицы бегают гораздо «натуральней», чем настоящие, — меня это до сих пор занимает, — если это и вправду так, тогда и запись на магнитофон или видеозапись тоже воспринимается куда натуральней всяких там live: ведь то, что они подают «живьем», на самом деле мертвей мертвого. Такая же мертвечина, как «Листок», который почил у меня на руках, но продолжает пухнуть.

— Опять страх, да?

— Страх скуки, Кэте, — болезнь, которую Гребницер еще не распознал. Страх перед экспансией, которую, как пожар на ветру, не остановишь. Теперь вот пришел черед Кюстера кидаться мне в ноги или на грудь, уж не знаю. Компьютер

неумолимо предвещает падение Кюстера. Амплангер в этих делах пока что ни разу не давал промашки. Значит, после Блюме мы сожрем Кюстера, потом Боберинга, все они пойдут в общий котел, в липкую серую газетную кашу, приправленную для вида щепоткой либерализма. Я запустил, я погубил «Листок»...

— А если взять да и бросить — совсем?

— Да я уж было собрался, но теперь — Блямп, наверно, что-то почувствовал, а то и просто от Амплангера узнал. Вот и подцепил меня на крючок, в последний момент, так сказать, ухватил за полу. Кто бы объяснил, почему у Рольфа и Катарины мне не скучно, даже у Герберта не скучно, тот, по крайней мере, меня злит, — а вот у Блямпов — у Кортшеде тоже не скучно, и у Поттзикера, и у Плифгера, — зато уж у Фишеров, — ну, и с тобой, конечно, не соскучишься. Если бы еще нам почаще гулять, я бы тебе много порассказал, а тут — неохота увековечивать это на пленке.

— И я тебе. Думаешь, и сейчас тоже? Нет, не может быть, мы ведь говорим в окно. Рольф мне объяснял, что если высунуться из окна, тогда...

— Вполне возможно. Что ж, тогда поговорим?..

За окном все тонуло в тумане, поднялся ветер, рваные серые клочья пронеслись мимо, даже деревьев не различить, все поглотила влажная, серая мгла, из которой уже начал сочиться мелкий дождик. Свет в окошках Шрётеров тоже куда-то сгинул.

— Вот, значит, как: чтобы пооткровенничать с собственной женой, надо, оказывается, высунуться под дождь, и ей тоже... Ты по-прежнему мое самое лучшее лекарство от скуки, а еще дети и дети детей; я просто передать тебе не могу, как я рад, что Сабина ушла от этого Фишера. Ведь страшно сказать — я иногда даже у нее скучал, у родной дочери: не по душе мне эти дома, которые они строят «по своему вкусу», не по душе мне их вкус. У них любая картина — даже самая лучшая, некоторые мне просто нравятся, — все равно выглядит подделкой, несмотря на документально заверенную подлинность,

а может, именно потому. Есть что-то в них самих, что убивает искусство, даже музыку, и я рад, что девочка от них сбежала. Пусть поживет немного у Рольфа... Пошли, а то еще простудимся... Слышишь сову? Да не бойся ты...

Он закрыл окно, усилившийся дождь забарабанил по стеклу, Кэте прошла в угол комнаты и прибавила отопление.

— Может, тебе все-таки уйти в отставку? Не завтра, конечно, а месяца через три-четыре? По состоянию здоровья или просто так. А они наконец выберут Амплангера, ты-то им на что?

— У меня бесценная репутация, чуть ли не ореол, ты же знаешь. А кроме того, я уязвим и беззащитен — из-за Рольфа, Вероники и Хольгера-старшего. Лучшего им не надо, ты же знаешь. А я вдобавок еще и везучий...

— Ты? Везучий?

— Ну, сама посуди: унаследовал скромную газетенку — и тут же получил лицензию, бумагу и даже журналистов в придачу. И с тех пор неудержимо рос, разбухал... замок купил, президентом вот выбрали... Я не только везучий, я еще и трудяга...

— Ты? Трудяга?

— Но, Кэте...

— У тебя отняли Айкельхоф, ты и пальцем не пошевелил, Тольмсховена у тебя тоже считай что уже нет, ты не можешь пробить для своих сыновей даже самое жалкое местечко в «Листке», твоя дочь несчастлива...

— Несчастлива? Давно не видел ее такой счастливой. Правда, не стану утверждать, что это моя заслуга...

— Ты дрожишь перед Блямпом, боишься Цуммерлинга, ах, Тольм, милый мой Фриц! Давай уберемся отсюда, переедем, все равно куда.

Кэте, уже в ночной рубашке, помогла ему снять ботинки, распустила шнурки, сняла носки, с остальным он справился сам, даже повесил пиджак, рубашку и брюки, исподнее бросил на стул, надел пижаму..

Он лег с ней рядом, взял ее за руку, молча — знает, что она молится, — послушал дождь за окном, дождался, пока она перекрестится и пошлет вслед молитве напутственный вздох.

— Грустишь, старичок?

— Да, из-за ног. Наклоняться совсем не могу. Но все равно чудный был вечер. Хорошо, что посидели со Шрётерами, надо как-нибудь и к ним сходить. А за детей я спокоен: Сабина на верном пути, ей-то я сумею помочь, Рольф тоже в порядке, Катарина тем более, вот разве что Герберт — его я не совсем понимаю: наверно, не надо было отдавать его в интернат, хоть он и сам просился. Может, нам к нему перебраться, в этот высотный дом, который каким-то боком нам принадлежит...

— И ужасен...

— Да, отвратителен. Но мы могли бы занять целый этаж и небольшую квартирку для Блуртмеля. Но тогда над этой машиной день и ночь будет кружить вертолет и по меньшей мере полроты полицейских будут торчать на балконах, на лестницах, в лифте — жильцы начнут разбегаться, все съедут. А что, Кэте, совсем неплохая мысль — переехать самим, пока нас не выжили отсюда, — поищи маклера, какой-нибудь дом, большой, но не слишком.

— Старый дом священника, красивый, чуть-чуть подремонтировать, слегка перестроить, сейчас много таких, священники строят себе новые, помодней, вроде коттеджей. Я так устала, Тольм, но прошу тебя: помни о Дрездене, о детях и о твоём четвертом внуке.

Рука ее разжалась, она заснула. Он еще долго слушал шум дождя, потом встал, приоткрыл окно, убавил отопление, постоял у открытого окна, выкурил еще одну. Надо переговорить с Хольцпуке. Переехать — а что, хорошая мысль. Тольмсховен — он уже прощался с ним — и даже без особой боли. Может, перебраться пока в гостиницу, апартаменты для них, что-нибудь поскромней для Блуртмеля. Но гостиницы так трудно охранять...

Х

Дождь не перестал, со вчерашнего вечера, пожалуй, даже усилился, сквозь стылую утреннюю мглу он разглядел за окном лужи в саду — там же, где они бывают всегда, и охранника, что расхаживал взад-вперед под стеклянным навесом

между церковью и часовней, но не вчерашнего, а другого, помоложе, с рацией, автоматом, в наброшенной плащ-палатке.

Прижав трубку правой рукой к уху и выслушивая пространные извинения Хольцпуке, он, не вставая с табуретки, собрал щепу для растопки, скомкал обрывки бумаги, сунул в холодную печь, сверху положил лучину и попытался, поставив коробок на чугунную плиту, левой рукой зажечь спичку. Получилось — бумага вспыхнула, сухие щепки сразу же затрещали, он подложил еще, придвинул несколько поленьев побольше, разогнулся, наконец-то как следует сунул ноги в шлепанцы, запахнул халат, прислушался — справа, где спала Сабина с детьми, и слева, где спала Катарина, все тихо. К счастью, он сразу услышал телефон и никто не проснулся; было еще рано, полседьмого, не больше, и он то и дело повторял: «Да», «Ну конечно», потом снова: «Конечно, да, приезжайте». Эта смесь крайней нервозности, почти возбуждения и любезности, с которой Хольцпуке снова и снова пытался объяснить свой ранний звонок и срочно просил о встрече, — все это было, пожалуй, не удивительно. Удивила его какая-то грусть в голосе Хольцпуке, который все еще продолжал расспрашивать, не переполошил ли он в столь ранний час весь дом, и, похоже, не находил утешения в его успокоительных заверениях: «Нет-нет, правда нет».

— Наверно, мне проще приехать к вам, только вот где бы нам побеседовать с глазу на глаз?

— Дом священника со вчерашнего вечера пустует, у меня есть ключ, и я даже уполномочен им пользоваться. — Тут он не удержался и добавил: — Может, в епископской?

— Где-где?

— Потом объясню — приезжайте.

Он подложил дров, поддел кочергой и сдернул с плиты конфорки, поставил воду, осторожно отворил дверь в спальню и выгудил со стула свою одежду, бросил ее на скамейку к печке, потом нашарил под кроватью ботинки и носки. Катарина, похоже, все еще спала, он поправил одеяло, которое, когда он вставал, слегка сползло, обнажив ее плечи, аккуратно закрыл окно.

Было холодно, его слегка знобило, и он не удержался от соблазна еще чуть поправить, подтянуть одеяло, — ужасно хотелось поцеловать ее в затылок, в шею, туда, где сквозь пышные волосы пробилась теплая прогалинка загорелой кожи, но не решился, побоялся разбудить.

Только теперь, одеваясь, он обнаружил и второго охранника — возле садовой калитки: уже немолодой, рация, автомат, такая же плащ-палатка поверх штатского костюма; с автофургоном им придется помыкаться: ворот-то нет, только калитка. И тут же подумал, что пора рвать орехи и собирать тоже, вон их сколько валяется, но это можно поручить детям, им одно удовольствие.

Сегодня он будет завтракать первым; он достал молоко, масло и яйца из холодильника, хлеб из хлебницы, молотый кофе с кухонной полки, поискал в ящике комода ключ от дома священника, нашел и вспомнил о горстке прихожан, которые регулярно являлись к заутрене: как правило, восемь-девять человек, редко больше, но старуха Гермес почти каждый божий день, — кто встретит их сегодня у запертой церкви, кто сообщит, что Ройклер уехал? Хоть причетника-то Ройклер известил о своем отъезде? Неужто впервые за много столетий в Хубрайхене без четверти семь не зазвонит колокол? И почему, с какой стати он думает, беспокоится о вещах, до которых ему совершенно нет дела? Он заварил кофе, поставил греть молоко для детей, нарезал хлеб, взглянул на часы: через несколько минут должны зазвонить.

Еще вчера вечером, когда он наблюдал за Ройклером в церкви, на него вдруг накатила необъяснимая печаль, сродни той, на которую, бывало, жаловался отец и которую он, Рольф, прежде всегда считал блажью: они только берут у людей, ничего не давая взамен. Он подумал о Кэте и Сабине, для которых отъезд Ройклера будет горькой вестью, налил себе, когда кофе отстоялся, полную кружку, закурил сигарету, кивнул, завидев Хольцпуке у калитки, и, с кружкой в руке, с сигаретой в зубах, вышел на порог, приложил палец к губам, вернулся, подбросил дров в печку и налил еще одну кружку.

Две кружки в одной руке — это он умеет, научился, когда подрабатывал официантом и разносил пиво.

Он протянул Хольцпуке кружку, жестом остерег не поскользнуться на раскисшей, усыпанной мокрыми листьями дорожке, тот благодарно улыбнулся:

— Очень мило с вашей стороны, я действительно не успел позавтракать.

У дверей церкви, смотри-ка, и вправду стояла старуха Гермес, а еще угловатый, бледный парень, которого в деревне прозвали «святошей» — имя его Рольф позабыл.

— Что случилось, господин Тольм? Закрыто и не звонят — разве службы не будет?

— Господин священник уехал вчера, что-то срочное. Не знаю, может, причетник?

— Причетник в отпуске, а когда у него отпуск, господин священник всегда сам звонил...

— Не знаю, — сказал он, — не знаю, наверно, вам лучше пойти домой, все устроится...

Старуху было не просто жаль — на нее было больно смотреть, в пальто и шляпке, с молитвенником в руке, она стояла как потерянная.

— Думаю, нам лучше вернуться, — сказал он Хольцпуке. — Если вы сейчас войдете со мной в дом священника, они решат, что тот что-нибудь натворил, поползут слухи, потом хлопот не оберешься, вас же здесь все знают.

А люди все подходили: прихожане, просто соседи — он испытал облегчение, когда калитка снова захлопнулась у них за спиной.

— Как ваша сестра? — тихо спросил Хольцпуке, согрев руки у печки и отхлебнув кофе.

— По-моему, хорошо, хоть тут и становится тесновато, вы не находите? Особенно если еще и родители попросят у меня убежища, а потом и брат, и мы всем табором, в тесноте, да не в обиде, заживем на каких-нибудь сорока квадратных метрах, пока триста метров в Блорре, четыреста в Тольмсховене и сто десять в Кёльне будут пустовать, в доме священника тоже ме-

тров сто восемьдесят-двести, чудно, — не правда ли? — особенно если учесть, что прибыли от «Листка» постоянно растут, а уж о «Пчелином улье» и говорить нечего.

— У вас же тут уютно, — прошептал Хольцпуке, — так что насчет убежища я не удивлюсь. Но теперь о деле, из-за которого я вас побеспокоил, вынужден был побеспокоить в такую рань. Произошла странная, очень странная вещь, странная и тревожная, и, кроме вас, мне, пожалуй, больше не к кому обратиться за помощью.

Он оглянулся на обе закрытые двери, Рольф успокаивающе кивнул головой, сказал:

— Полчаса у нас, наверно, еще есть. Жена в восемь заступает, а сестра — впрочем, не знаю, когда она теперь встает.

— Так вот, — начал было Хольцпуке, потом сел, снова встал, не выпуская чашку из рук. — Ваша первая жена, Вероника, снова звонила: вашей сестре, вашей матушке и священнику в Тольмсковен, но ни по одному номеру ей никто не ответил. То есть, конечно, у нас нет доказательств, что звонила именно она, магнитофон записал только длинные гудки, но затем последовал еще один звонок, опять вашей сестре и снова безуспешно. И тогда — тут-то и сюрприз, — хотя она прекрасно знает, что все прослушивается, она все равно произнесла, трижды повторила: «Мы приедем на колесах — мы приедем на колесах — мы приедем на колесах», — некое закодированное сообщение, причем явно адресованное нам. Непонятно только, почему она никогда не звонит вам.

— Просто знает, что я буду с ней не слишком любезен. А она этого не выносит.

— Этого она, значит, не выносит. — Хольцпуке хмыкнул.

— Да, это так. Я бы на нее наорал, просто наорал, и не только из-за этих безумств, в которые она впуталась, но, главное, из-за сына, ведь она уже три года таскает мальчишку по всему свету, — но тем не менее это так: она не выносит грубости, даже невежливости, спросите у матери, сестры, отца, у моего брата, спросите у ее отца. И теперь вы, конечно, хотите знать, что означают «колеса»?

— Понимаете, под «колесами» можно подразумевать практически любой вид транспорта, иногда в переносном смысле, но здесь, похоже, имеется в виду что-то совершенно конкретное.

— «Колесами» мы называли велосипед, машину — если удавалось раздобыть машину — никогда. Следовательно...

— Следовательно, Беверло прибудет на велосипеде. Может, уже едет. Это подтверждает вашу гипотезу..

— Просто я постарался вжиться в его мысли. Как-никак я его знаю. Правда, распознаю ли я его сейчас — нет, не внешность, а все хитросплетения его расчетов...

— Велосипед... — Хольцпуке задумался. — Если не ошибаюсь, в стране их сейчас больше двадцати пяти миллионов. Надо сообщить Дольмеру, а может, даже Стабски; места вокруг Тольмсховена просто рай для велосипедистов, почти как в Голландии, и... — Он осекся: из комнаты Сабины донесся неясный шорох.

Рольф подложил поленце в печь, потом успокаивающе махнул рукой:

— Сперва все пойдут в ванную, в клозет, а это там, с другой стороны. — Он подлил Хольцпуке, который напряженно застыл у двери, еще кофе, подвинул поближе к огню кастрюльку с молоком, кивнул на печь: — Теплушка и кофейня для высших полицейских чинов, убежище для заблудших жен богатых и влиятельных граждан — все это тоже будет отражено в моем досье?

— Меня не пугает, что будет отражено в вашем досье у нас. Куда страшнее то, что может оказаться в вашем досье у них. После того, как вы отбыли наказание, никакой негативной информации на вас не поступало. Но к вам подозрительно часто наведываются легавые, к тому же высшего ранга, вы поите их кофе, даете им справки. Не знаю, понравится ли это вашему приятелю Генриху Шмергену? И другим приятелям...

— Генрих учит у нас испанский, я помаленьку наставляю его в азах политэкономии, преимущественно финансовые отношения. А что до остальных моих друзей и подруг — не вол-

нуйтесь, я сам им все расскажу, даже эту историю о «колесах», они поймут.

— Я бы очень просил вас сохранить наш разговор в тайне, даже от жены...

— Этого я вам обещать не могу, я не вправе иметь подобные тайны от друзей и тем более от жены. — Он вздохнул, последняя тень любезности исчезла с его лица, и он почти прошептал: — Относительно «колес» я вам сообщу еще кое-что, это очень важно, но сперва вам придется выслушать вот что: нам — если не преследуемым, то по крайней мере изгоям, — во всяком случае моим друзьям и мне, нечего скрывать, даже в помыслах. Мы и не *помышляем* о каких бы то ни было формах насилия, не *помышляем* больше даже о разрушении вещей, и каждый волен знать, с кем встречаюсь я, с кем встречаются они. У нас очень мощная группа, мы даже толком не знаем всех, кто к нам примыкает. И объединяет нас одна, но твердая, решимость — не поступаться своими убеждениями; мы не испытываем ни отвращения, ни гнева, — только презрение к тем, кто снова и снова ворошит старые сплетни, и к тем, кто отдает нас на откуп молве наших сограждан с помощью слежки, сыска, запретов на профессии; самое опасное в нас — это наша гордость, наша гордыня. И если я, дражайший, милейший, глубокоуважаемый господин Хольцпуке, соглашаюсь иногда немножечко вам помочь, то только потому, что вижу в этом хоть крохотную надежду защитить жизнь, пусть даже жизнь несравненного, дважды почетного доктора господина Блямпа, равно как и сохранность — я имею в виду физическую, отнюдь не моральную, — сохранность вовсе не столь уж безупречного бюста четвертой жены господина Блямпа, созерцанием которого я мог бы услаждаться в каждом третьем иллюстрированном журнале, если бы считал, что он того стоит, — впрочем, защиту этих округлостей, думаю, можно спокойно вверить автоматам ваших людей. А теперь нам пора идти, жена уже зашевелилась, дети просыпаются. В доме священника есть черный ход, между часовней и церковью. Что-то нет у меня желания продираться

сквозь возбужденную толпу, покинутую своим пастырем. Еще кофе?

— Нет, спасибо.

— Тогда я провожу вас в епископские покои.

Он набросил на плечи куртку, распахнул дверь и первым, не оглядываясь на Хольцпуке, зашагал к дому священника, мимо часового, который хотел было его остановить, но после секундного замешательства и, вероятно, кивка Хольцпуке проворно посторонился.

В пустых коридорах было холодно, на улице перед домом, судя по всему, тихо, но едва они ступили на лестницу, где-то в глубине, в кабинете, зазвонил телефон. Рольф остановился, Хольцпуке мимо него прошел в комнаты, пробормотав:

— Это ведь может быть... — Снял трубку, сказал: — Слушаю? — И, немного помолчав, ответил: — Господин священник уехал, надолго, советую вам обратиться в соседний приход. Кто я такой? Это не имеет значения. — Он положил трубку. — Последнее причастие, — пояснил он чуть позже, поднимаясь с Рольфом по лестнице.

Епископские покои были обставлены скромно, но очень мило: белая мебелировка, медового цвета ковер, на стене — репродукция Шагала, небольшая, но изысканная деревянная статуэтка Мадонны в нише, тут же лампадка; диванчик, два кресла, круглый столик — все плетеное, из бамбука; телефон, ни намек на пепельницу, Хольцпуке уселся, вздохнул:

— Вы сегодня заготовили для меня целую речь, господин Тольм, и весьма пространную...

— Было бы неплохо, если бы вы довели ее до сведения господина Дольмера, а при возможности и господина Стабски, желательно дословно. Я готов произнести ее перед этими господами и сам, так сказать, из первых уст, объяснить этим господам, в чем разница между гордыней и динамитом, втолковать им, сколько тысяч, а может, сотен тысяч душ они изымают из жизни, видимо, вполне осознанно, дабы иметь резерв, чтобы в случае чего было что бросить на прокорм цуммерлинговской прессе — и банкам. Но сперва о динамите: это

имеет прямое отношение к «колесам». Помнится, много лет назад Беверло — мы тогда еще дружили, вместе организовывали демонстрации, да и акции тоже, — вынашивал идею «велосипеда с начинкой», а проще говоря, производил подсчеты, сколько взрывчатки можно набить в трубчатый каркас велосипеда, где и как приспособить взрыватели, ну и так далее и тому подобное. Идея — в ту пору она рассматривалась чисто теоретически — состояла в том, чтобы зарядить таким образом пятьдесят или, скажем, сто велосипедов и спокойно оставить их на месте операции. Мы все были против, все, эта его задумка так и осталась в теории. Но, как знать, может, сейчас он воплотил теорию в практику. Так что «колеса» — велосипед, на котором он прикатит, — вполне могут оказаться самоходной миной, или — такая идея тоже теоретически рассматривалась — после несложной и быстрой разборки превращаться в стрелковое оружие, например, в катапульти. Если уж Веронике так приспичило предупредить вас насчет «колес», не знаю... — Он оглядел потолок и стены. — Здесь прослушивается?

— Нет, — ответил Хольцпуке устало. — То есть телефон — конечно, а так нет.

— Видите ли, я не хотел бы, чтобы эта информация фигурировала в ваших бумагах со ссылкой на меня.

— Обещаю, — заверил Хольцпуке. — Это важная подсказка, необычайно ценная, хотя и — жуткая. Значит, проверять не только велосипедистов, но и велосипеды, на всех подъездах к Тольмсковену, к Хорнаукену, к Тролльшайду, к Бретерхайдену..

— К Хубрайхену, если моя сестра останется тут..

— А она останется? Надолго? Вам она ничего не говорила?

— Пока нет. Ей тут нравится. И разумеется, она пробудет здесь сколько захочет, если, конечно, нам вообще разрешат здесь остаться. У меня впечатление, что в ее жизни многое переменится, а что до нас, то теперь, после отъезда господина Ройклера, совершенно неясно, как поступят с нами церковные власти. Кстати, вы знали, что Ройклер?..

— Да, мы знаем об этом его... о его отношениях с этой госпожой Плаук, знаем и... словом, мы знали, что он вчера... сбежал. Кстати, глубоко порядочный человек.

— Значит, у вас есть информаторы в деревне?

— Конечно. Уж вас-то это не должно удивлять. А теперь — если вас не затруднит — нельзя ли раздобыть где-нибудь пельмени: видно, эти епископы все как один некурящие.

По соседству, в ванной комнате, Рольф углядел настенную керамическую мыльницу, которую удалось снять с крепежей, поставил ее на стол, взял предложенную Хольцпуке сигарету, прикурил от его зажигалки, но садиться не стал.

— Качается немножко, но другой нет. А по всем комнатам рыскать неохота. Я только внизу знаю, где что. Вы, наверно, хотите теперь побеседовать с сестрой?

— Нет, пока с вами — о ваших друзьях. То, о чем вы тут говорили: эта гордыня, эта неподатливость, это изгойство или, если угодно, чувство изгнанности, убеждения, мысли, — насколько велика, по-вашему, группа, о которой вы рассказывали?

— О, это очень просто определить: достаточно подсчитать число досье в вашем ведомстве и, так сказать, в смежных службах. Ведь мы же все на учете, то есть мы-то сами себя никак не учитываем, мы не знаем, сколько нас, а вот вы должны знать, так что проведите смотр, призовите эту армию призраков, пусть эти сотни тысяч молодых мужчин и женщин, равно как и их детей, строем пройдут хотя бы перед вашим мысленным взором, а вы спросите себя: неужели их умственные способности, образование, духовный потенциал, силы, наконец, красота нужны только для того, чтобы шпионить за ними? Разнорабочие нации, сборщики орехов, упаковщики яблок... что ж, если у вас больше нет вопросов — мне здесь как-то не по себе, но зато по крайней мере епископские покои хоть однажды на своем веку кому-то сослужили службу... Значит, теперь весь ваш охранный табор перекочует из Блорра сюда?

— Внезапное решение вашей сестры застигло меня врагплох. Вокруг Блорра у нас было два кольца безопасности,

внешнее и внутреннее, так сказать, интимное, два кольца охраны, людей, которые у всех на виду, а здесь... мы не ждали этого переезда, и внезапность подобных эскапад, чтобы не сказать — выходок... Словом, признаюсь вам как на духу: сейчас я вынужден импровизировать и больше уповаю на стены вокруг вашего сада... Так что если ваша сестра...

— За молоком ей по крайней мере можно ходить?

— Лучше не надо. И если вы в состоянии этому воспрепятствовать — прогулки и все прочее тоже нежелательно. К несчастью, пресса тоже уже что-то пронюхала, поговаривают о семейных неладах, о кризисе...

— Значит, вы приставляете меня вроде как тюремщиком к собственной сестре?

— Называйте как хотите — и к малютке, разумеется, тоже. Эта затея с велосипедами не идет у меня из головы, хотя, если верить вашей теории, вашей сестре они ничего не сделают.

— Не очень-то на это полагайтесь.

— Если разрешите, еще один вопрос: ваши предположения относительно одежды?

— Пристойно. Без пижонства, не в стиле золотой молодежи, но и не как оборванцы. Пристойно, как милые, нормальные молодые люди, отправившиеся на велосипедную прогулку.

В ванной Рольф вытряхнул окурки из мыльницы, ополоснул ее и снова укрепил на стене. Расставил по местам кресла, поправил скатерть и следом за Хольцпуке спустился вниз. Дождь лил по-прежнему, часовой кивнул, как нахохлившаяся птица. Мокрые яблоки в траве, стук падающих яблок о землю; когда они вошли в теплый дом, часы били восемь. Идиллия: теплая печка, коричневые разводы какао на детских подбородках, выеденные скорлупки яиц, женщины, обе с сигаретами, чему-то смеются, перед каждой чашка кофе.

— Придется сегодня остаться в зале, — сказала Катарина. — Сабина мне поможет, она ведь так хорошо поет и рисовать умеет. Начнем готовиться к дню святого Мартина.

При виде Хольцпуке Сабина покраснела, кивнула и сказала:

— Мне очень жаль, на сей раз все так неожиданно вышло... Какие-нибудь возражения против моего нового образа жизни?

— Да, — ответил Хольцпуке. — Да. Вы знаете, я не могу ничего вам запретить, я могу только посоветовать; так вот, советую вам не выходить из дома, а тем более и ни под каким видом — из сада, и, конечно, еще я хотел бы знать, просто обязан знать ради вашего же блага, как долго вы намерены здесь оставаться. Все мои мероприятия, вы же понимаете, прошу вас, мы же так прекрасно сотрудничали...

— Не знаю, — сказала Сабина, — честное слово, не знаю. — Она вздохнула. — Одно я знаю совершенно точно: в Блорр я не вернусь, так что там, что касается меня и дочки, никакие мероприятия больше не нужны, а муж уехал, и, наверно, надолго. А у родителей — понимаете, Кит здесь лучше, но сколько я здесь пробуду... Мне правда нельзя с Катариной в детский сад?

— Можно... Придется временно снять обоих часовых отсюда и направить туда. Не могу же я вам отказать.

— А если я пошлю Кит одну?

— Тогда, пока не прибыло подкрепление, одного оставим здесь, а другого там.

— Тогда я пока останусь, за печкой посижу, обед приготовлю и буду думать о нашей вилле под Малагой, где всегда пустуют двенадцать комнат, и за месяц не успеваешь разогнать тоску, которая там скапливается за год, это как пыль, скапливается и скапливается, представляете?

Хольцпуке глянул на нее как-то смущенно, достал сигарету, Рольф поднес ему спичку, он благодарно кивнул.

— Тоска, — продолжала Сабина, — честное слово, она там скапливается, ложится слоями, плотная, густая, чуть было не сказала — осязаемая. Вот и вычерпываешь ее, с утра до вечера, горсть за горстью, комната за комнатой, и испанские полицейские в форме, и немецкие у дверей, в штатском, море шумит, ну и пальмы, они, надо полагать, колышутся. Нет, останусь тут, буду сидеть у печки и жарить каштаны.

Катарина уже оделась, Хольгер тоже.

— Мне пора, — сказала она, — дети, наверно, уже заждались, да и мамашам некогда. А разговоров сегодня будет из-за Ройклера! Еще нас во всем обвинят, вот увидишь, так и будет, ты идешь, Рольф?

— Да, я вас провожу. А потом к Хальстерам пойду, просили подсобить, у них все вверх дном, тоже затеяли модернизацию. Обещали мне двойную плату и весь старый хлам в придачу. Ну, привет, сестренка. К обеду будем дома, а где книги и игрушки, сама знаешь. А телефон вот: может, маме позвонишь или брату, не скучай и не бойся.

Кит расплакалась, со злостью глядя на Хольцпуке, который все еще мешкал уходить. К счастью, девочка плакала тихо, не в голос, почти про себя, и он, откашлявшись, хрипло произнес:

— Есть еще кое-что, о чем мне нужно с вами переговорить, желательно наедине.

— Я знаю, — ответила Сабина, но и не подумала встать, ласково глядя по головке дочку, уткнувшуюся ей в колени. — Я знаю: злосчастные три месяца лишили вас покоя, а быть может, даже и сна.

— Да, — подтвердил он, — поскольку дело касается возможной брешы в системе безопасности.

— Никакой брешы нет. Имени я не назову, ни вам, ни кому-либо еще, но брешы никакой не было. То есть в моей-то душе была брешь, но теперь она закрылась. Это останется между нами, между им и мной, но вам не в чем себя упрекнуть. Совершенно не в чем — вы честно выполняли свой долг, и выполняли его вежливо и со всей возможной деликатностью... У меня к вам только одна просьба: моя соседка, госпожа Бройер...

— С ней ничего не будет, больше ничего, и с ее... с ее другом тоже, она, кстати, возможно, вскоре снова станет вашей соседкой, здесь, если вы здесь останетесь, так что, очень может быть, вы скоро ее встретите, когда пойдете за молоком. Ведь ее девичья фамилия Гермес — вы не знали? Да, она из Хубрайхена и, видимо, скоро сюда вернется... А с господином

Шублером — понимаете, я не мог этому помешать, мы просто обязаны были его проверить, точно так же, как обязаны были навести справки о здешнем священнике.

— О господине Ройклере? А это еще зачем?

— Видите ли, в современной теологии есть очень странные течения, а симпатии господина Ройклера к вашему брату, энергия и настойчивость, с которыми он за него вступился и, можно сказать, адаптировал его здесь, — все это требовало проверки. Но заверяю вас — он был и остается совершенно вне подозрений. — Он подошел к Кит, робко потрепал девочку по волосам и тихо спросил: — Ну что, Кит, все еще на меня дуешься?

Но Кит не ответила, только пнула его ножонкой, и он медленно побрел к двери, на прощанье еще раз кивнул Сабине и вышел в сад. «Колеса, — думал он устало. — Господи, как же мне проверить все эти миллионы велосипедов и велосипедистов. Взвешивать, — пришло ему в голову, — их можно взвешивать и по разнице в весе установить, с начинкой они или нет. Велосипеды с начинкой...»

XI

В иные дни он совсем уж было собирался позвонить Тольмам — поговорить наконец по душам, может, их пригласить или к ним съездить, даже угостить чаем, на худой конец и самому выпить чаю. Пора кое-что прояснить, устранить предубеждения, высказать окончательные суждения — предубеждения, взаимные, разумеется, которые шлейфом тянутся вот уже тридцать три года, суждения, от которых, сколь бы сурово они ни прозвучали, всем станет легче: пора Тольму распрощаться с «Листком», пора лишить его последних иллюзий. Старик все, решительно все вконец запустил, да и сам запустился, «Листок» для него давно уже все равно что темный лес, вечно он только «что-то предчувствует» и ничего, решительно ничего не знает и не смыслит, нет уж, пусть тешитя своими искусствоведческими игрушками — мадоннами или фламандцами; бесценный, можно считать, идеальный прези-

дент, который теперь еще бог весть почему возомнил, будто его хотят уничтожить, господи, да кому он нужен! Наоборот, ему только желают долгих лет жизни, которую надо всячески хранить и беречь и окончательно избавить от «Листка», этого тяжелого и ненужного бремени. Пусть займется своими мадоннами или там соборами, ему это не только вполне заменит все его вздорные «предчувствия» относительно «Листка» и экономической ситуации, но, вероятно, еще и будет доставлять удовольствие, а президент, который разбирается в мадоннах и соборах и даже способен изрекать по этому поводу что-то вразумительное, да о таком президенте можно только мечтать, он поистине незаменим, и именно поэтому надо всемерно облегчить ему бремя президентства: представительство — да, речи — да, но больше ничего, решения — ни в коем случае; нет, тут мало одного Амплангера, мало и прежней референтуры, тут нужны по меньшей мере еще два новых помощника, которые его разгрузят, так сказать, будут расчищать ему путь, может, для этого сгодятся — хотя не рискованно ли? — Кольцхайм и Грольцер, но это надо еще обмозговать. Какая жалость, что сын Тольма пошел — теперь уже иначе не скажешь — по кривой дорожке и, видимо, с этой дорожки его уже не сбить. Мальчик вполне мог бы стать новым Амплангером, а пожалуй, и получше Амплангера, в нем больше чувства, и юмора тоже, да и улыбка человеческая, тогда как над улыбкой Амплангера изощраются шутники («Заменяет любой нож: режет хлеб, сыр, ветчину, колбасы — пригласи Амплангера, и о ножах можешь не беспокоиться»). Молодой Тольм наверняка не был бы столь безупречен, столь до смешного «на уровне», как Амплангер, который неизменно в курсе не только новых, самых новых, но и наинouvelших танцев и, к радости обожающих танцы дам, чьи мужья давно уже не слишком ретивые танцоры, отплясывает с ними только по самой последней моде. Есть что-то почти устрашающее в его манере пересказывать свеженькие передовицы из «Франкфуртер альгёмайне» или из «Вельт», ловко выдавая их за собственные сокровенные мысли, — нет, Амплангер «в порядке», в своем

роде незаменим, и все же ему недостает чего-то, что в этом Рольфе Тольме есть: личность, оригинальность, эта проклятая «изюминка». Это пресловутое «чуть-чуть», которому не научишься, которое не купишь ни за какие деньги, это поганое, почти мистически неуловимое и недостижимое «нечто», что в избытке есть у его матери и, пусть в зачатке, есть у отца: обаяние. А кроме того, он, младший Тольм, понял то, чего никогда уже не усвоит папаша: борьба — вот их лозунг, а вовсе не примирение. Даже в ту пору, когда он швырялся камнями и поджигал машины, в нем все равно было обаяние, и сейчас есть, ничуть не утратилось. И, конечно, он давно сообразил — а может, как и его старик, пока только «предчувствует», — что есть лишь одна страна, где для него, вероятно, подыщется более стоящее занятие, чем собирать яблоки и ремонтировать крестьянские развалюхи: Куба. Вопреки всему, несмотря ни на что — опять эта проклятая Куба, эта огромная вошь в теплой заокеанской шкуре. Да, Хольцпуке успел ему нашептать: молодой Тольм учит испанский у какой-то чилийки, изучает и экономику Кубы, обложился справочниками и даже обзавелся учеником, крестьянским парнем из Хубрайхена. Что ж, он считай что отрезанный ломоть, его уже никогда, никогда не залучить, не залучить обратно, даже если он, допустим, уедет, а потом вернется, вернуть его все равно нельзя. Даже если из кубинских планов ничего не выйдет — этот предпочтет и дальше собирать орехи, окучивать картошку и плодить детей со своей коммунистической полубовницей, из одной только гордыни, из леяного презрения к Цуммерлингу, хоть и не поджигает больше его машины; нет, этот никогда уже не подпалит ни одной машины, не поднимет с земли камень, будет торчать в своей дыре, пересчитывать груши, ремонтировать трактора, будет, как сотни и тысячи ему подобных, соблюдать все законы и хранить каменное презрение к системе. Жаль, что такой принц отпал от короны, а ведь был бы куда лучше Амплангера; был бы. Расточительство: такой сильный ум, такие организаторские способности, да еще в сочетании с такой изобретательной фантазией, притом в удачном, вы-

веренном сочетании. Даже странно — при таких родителях, при таком происхождении... Хотя что-то ведь в них есть; наверно, это и называется «стиль»: никогда, нигде, даже в этом своем замке, они не выглядели выскочками, никогда, — просто удивительно, на нем, Блямпе, а он примерно такого же происхождения, это прямо-таки написано и уже не стереть: грубая рожа, в которой все читают жестокость, хотя жестокости сначала и в помине не было, это потом — раз уж все равно постоянно приписывают — она прорезалась: кто, например, поверит, что по натуре он скорее трусоват? А он одинок, одинок и трусоват. Хильда — вот та верила, и не только верила, понимала. И угораздило же его с ней развестись, после чего и пошла полоса неудачных браков. Кэте Тольм, как всегда, права: его четвертая, Эдельгард, — просто «дура набитая»; у нее даже тело какое-то глупое, нескольких трюков, которые она где-то — где? — разучила, если не поднабралась случайно, хватило недели на три, не больше. Вся эта показушная страстность, сексапильный шепот — все подсмотрено в идиотских фильмах и не доставляет радости ни ему, ни ей; а с недавних пор еще и привычка напиваться, прямо с утра, и наигранная меланхолия, в которой ни на грош, ни на гран подлинности; и вечно одна и та же поза «несчастной женщины», которая ей самой прискучила, и вульгарность — вот она-то как раз чуточку слишком подлинная, чтобы выглядеть просто данью моде. Дура набитая, может, и просто нескладеха, но все равно дура, даже руки — и то глупые, и испорчена насквозь, вероятно, еще школьницей в залах ожидания и дешевых забегаловках пошла с колес, влипла во всю эту мерзость, гашиш и порно, а кроме того, это поколение, судя по всему, просто не способно жить без музыки, если, конечно, это можно назвать музыкой; с утра до вечера, и ночью тоже, если ей не спится, — музыка, музыка, все под музыку! Вероятно, это вполне потянет на уважительную причину для развода: в каждой комнате, даже в клозете, — всюду она понаставила этих проклятых магнитофонов и приемников, которые включает, как

автомат, не успев даже отпустить дверную ручку; и в ванной, разумеется, и в спальне, во всех салонах и даже в подвале, когда ей взбредет в голову изображать хозяйку дома и заняться бельем и съестными припасами, — всюду музыка, всюду разбросаны кассеты. К счастью, скоро она, слава богу, уедет куда-то на Нордерней или в Кампен, он не помнит точно, и, конечно, потащит за собой целую свиту охраны, ей это нравится, она уже стала завидовать Тольмам, у которых «охрана еще шикарней», — это ее последнее увлечение, вроде спорта: по многочисленности охраны определять собственный «ранг» и подсчитывать, на каком она месте — на втором, третьем или четвертом...

Значит, скоро придется с ней расстаться — хорошо бы без особых каверз с ее стороны. Родителей ее жалко, они милые, славные, простые люди, эти Кёлерсы, зачем-то держат наперекор всякому экономическому смыслу свою лавочку, и ничего им не надо, вкалывают по восемнадцать часов в сутки, имеют с этого, наверно, марку восемьдесят — от силы две марки в час, и если все подсчитать — свой дом, за жилье, значит, не платят, хотя проценты с капитала за дом наверняка в расчет не берут, плюс еда и все прочее по оптовым ценам, — набегит что-то около — но это при более чем сточасовой рабочей неделе на каждого, да еще трясись за сроки хранения молока и всего остального, — да, набегит тыщи две с половиной — три в месяц, и они еще убеждены, что «прилично» зарабатывают, хотя в среднем-то за час получают меньше любого турка, а сам он эти три тыщи, больше трех, играючи делает за день. Но им, конечно, об этих подсчетах говорить не стоит, такие милые, скромные трудяги, зачем их расстраивать? Живут себе в своем захолустье, их там все уважают, в церковь ходят, в хоре поют, хорошие люди, в своем роде даже культурные. И потом — у них есть стиль: когда пригласили на обед, как все было обставлено, как стол накрыт, и сам старик помогал на кухне, а она, подавая очередное блюдо, всякий раз снимала передник и вешала на стул — да, в этом был стиль. И вино

было отличное, и кофе отменный, а домашние эклеры — наверно, старик делал, он когда-то вроде на пекаря учился — вообще объеденье. Конечно, они сдержанные немножко, но не робкие, нет, ни намека на робость перед всемогущим, богатым, известным зятем, про которого в газетах пишут и который одной своей охраной переполошил всю деревню — там часовые, тут часовые, прямо государственный визит. А ему все это напомнило детство, родителей, у них, пожалуй, было еще поскромней, ну, и по-протестантски, здесь-то все католики — скромней-то скромней, но если сравнивать, надо бы еще знать, каково жилось Кёлерсам лет сорок-пятьдесят назад, пока родители не умерли и не отказали им лавочку. Славные люди, они не слишком-то верили в карьеру своей беспутной дочери, и правильно делали, а потом, когда подали кофе и ликер, заставили ее «что-нибудь сыграть», и она сыграла со скучливо-капризной гримаской, в которую вложила все презрение к так называемой классической музыке: надругалась над Шубертом, Шопена исхитрилась испоганить до неузнаваемости, да еще посмела что-то вякнуть насчет «музыкального десерта»; нет, Кэте Тольм права, его четвертая — просто дура набитая; про Кэте ему Амплангер доложил — ему иногда удастся перехватить кое-что интересное, наверно, и по телефону тоже.

Пусть едет в Нордерней, пусть ошеломляет там всех своими формами сколько душе угодно. А он позвонит Тольмам, съездит к ним на чай или позовет на чай к себе, на худой конец и сам выпьет; давно пора кое-что прояснить. Да, конечно, это он забросил Тольма на самый верх, но вовсе не для того, чтобы уничтожить, наоборот — чтобы разгрузить, чтобы окончательно избавить от «Листка». Ведь это «Листок» сидит у него в костях, наливает свинцом ноги, по его же, кстати, вине — не надо было все так запускать. Вот и пусть насладится покоем, отдохнет, получит помимо Амплангера и штаба референтуры еще двух помощников, пусть живет и здравствует. Ну и, конечно, предубеждения, что тянутся шлейфом вот

уже больше тридцати лет, еще из лагеря. Разумеется, он вовсе не был там «милягой», таким кротким агнцем, но и не прикидывался «кротким», никогда не выставлял напоказ свою кротость наподобие герба, однако не надо и передергивать, путать невольную суровость с жестокостью, сеять легенды, будто он с детства жил на всем готовом.

На чем готовом? Может, на «доходах» от жалкой текстильной лавчонки в Доберахе, где мать зимой скрюченными от мороза пальцами перебирала грошовый хлам, продавая пуговицы и нитки, в хороший день — в лучшем случае — моток резинки, чтобы подлатать трико или кальсоны, где, бывало, покупали одну, в скобках прописью — одну иголку, редко-редко пару носков, и где шла тайная, но беспощадная битва за каждый пфенниг, когда приближался день конфирмации: поднять цены, еще чуть-чуть поднять — да пропади оно все пропадом! Ну и конечно, он рано записался в штурмовые отряды, в СА, а как же иначе, хотя бы ради отцовских заказов, которые после действительно обеспечили им более или менее вольготную жизнь, почти процветание, потому что папа получил что-то вроде монополии на форменные рубашки и кителя, брюки и галстуки, а потом и на сапоги, но и на вечные склоки с сапожниками и владельцами обувных магазинов, шляпных дел мастерами и владельцами шляпных салонов, потому что помимо сапог папа получил еще и монополию на фуражки, но кто, кто в ту пору помышлял об убийствах? Кто? Даже добренький старый пастор Штермиш, принявший его в лоно церкви, и тот попался на удочку, тоже подпевал, тоже сюсюкал что-то национальное и антисемитское, а отцу во время ариизации прямо посоветовал «не слишком усердствовать в милосердии». Штермиш за счет общины направил его в университет, ну, а диссертацию и докторский диплом — это отец уже смог финансировать и сам, «Проблемы текстильного производства в периоды сырьевых кризисов» на опыте Первой мировой войны — тема, пришедшаяся «в масть», когда и впрямь разразилась Вторая мировая война. Тут он

уж точно был — и остается — незаменим, ему предоставили все возможности применять, совершенствоваться, подправлять и развивать свою теорию, рук он не запятнал ни кровью, ни взятками, но когда американцы его посадили, что ж, это было логично, даже как бы почетно, — ведь они приняли его за куда более важную шишку, чем он сам о себе когда-либо мог возомнить. Об этом — чтобы он не слишком о себе возомнил — Хильда позаботилась, его жена, про которую сейчас с оттенком почтительности говорят «его первая»: вот уж кого никак не назовешь «дурой набитой», чего нет, того нет, ни в чем, даже по хозяйству, бережлива — да, но не скаредничала, скупала земли, абсолютно легально, все как у людей, и даже успокаивала его, когда груды кровавого, спекшегося, изодранного, изрешеченного «вторичного» текстиля — штатской и военной одежды — мало-помалу начали действовать ему на нервы, ведь там были и детские вещи. Такое было время, такие законы: одежда расстрелянных и повешенных, из тюрем и с плацев, доставлялась на фабрики и шла в «переработку», не говоря уж о «вражеском текстиле», под которым подразумевался отнюдь не только готовый трофейный текстиль, но и детская одежда — а у него ведь у самого дети, Мартин и Роберт, — тут поневоле станешь суровым, а иногда, быть может, и жестоким, может быть. Но Хильда была с ним, хорошая, умная жена, и по хозяйству, и в делах, и даже по музыкальной части — и сыграет так душевно, и сама же споет, да, она была ему хорошей женой, и в готовке, и вообще во всем.

Да вот беда: после войны, когда он вышел из лагеря и по настоянию Бэнгорса снова стал текстиль-уполномоченным, — они ведь ничего, ни единой капли пролитой крови не смогли ему предъявить, ничего! — у него не получалось, он не мог с ней спать, не находил подступа, не находил доступа к ней. Со шлюхами, к которым его иногда брал с собой Бэнгорс, получалось, даже и потом, после той жуткой истории в банке, о которой он до сих пор так ни с кем и словом не обмолвился, даже с Бэнгорсом, хоть тот и был свидетелем,

безмолвным свидетелем: ночью, когда они в государственном банке буквально лопатами гребли деньги и содержимое сейфов, гребли и загружали в мешки, вдруг, откуда ни возмись, женщина, молодая, в одеяле, бог знает, какая нелегкая ее принесла, видно, пряталась, — ну, он хватанул автомат Бэнгорса и уложил ее на месте. Он вообще тогда первый раз в жизни стрелял, первый и последний, а та женщина, распластавшись на куче денег, превратила их в «кровные» деньги, кровные в буквальном смысле слова. Они так все и оставили, и тело, и деньги, только одеяло набросили, деньгами присыпали, — и прочь, скорее прочь, в машину и в лагерное казино, напиться, напиться, и больше ни слова об этом, никогда ни слова! Потом он еще долго со страхом изучал газеты, все ждал заметку про труп, потом про скелет, обнаруженный в подвале государственного банка, — нигде ничего, ни строчки. Может, ему все только привиделось, может, это был сон, призрак? Но видение преследует его всю жизнь, неотвязно, оно вставало перед глазами, едва он обнимал Хильду, вставало, когда Мартин и Роберт приходили целовать его перед сном, — суровые, мучительные годы, когда он сколачивал свою империю, текстиль с Фишерами, которые в политическом смысле абсолютно вне подозрений, недвижимость с помощью Хильды, потом бумага — это уже с Кортшеде — и печать с Цуммерлингом, он поднимал целину, надо было спешить, куда материные волки снова не вышли из своих клеток. Нет, ему ничто не досталось даром, ничто не свалилось прямо в руки, отцовское дело не в счет, это так, хлам, жалкая лавчонка, где после войны долго еще истлевали несколько сотен форменных коричневых рубашек СА, они даже в перекраску не годились.

С Хильдой в конце концов все же пришлось разойтись. Но он прилично ее обеспечил, она до сих пор его соправительница. Мартин стал учителем, очень славный малый, честный, прямой, а Роберт — даже трогательно — пастором, оба от него далеки, оба, как и их жены, бывают слегка смущены, когда он вдруг нагрянет в гости. Другая, совсем чужая жизнь, как слай-

ды, которые снимали без тебя, — а ведь это его дети, сынки, родная кровь, но оба совершенно непригодны к тому, к чему пригоден, мог бы быть пригоден Рольф Тольм; и, конечно, он навещает Хильду — та поселилась в глуши, в горах, но, несмотря на возраст, сумела выучиться на налогового инспектора: воспоминания, которых уже не оживить, застывшие, как под стеклом, и здесь и не здесь, легкая волна былой теплоты, когда он склоняется пожать ей руки, и все тот же, все тот же немой вопрос в ее глазах: «Почему?» И ничего не объяснишь, не скажешь про кошмар, который преследует тебя неотвязно, гонит и гонит из попойки в попойку, из борделя в бордель, из одной мечты о счастливом браке в другую, хотя все они рушатся.

Нет, баста, «пятого номера» не будет. В шестьдесят пять не зазорно и отказаться от брачных иллюзий. Но почему, черт возьми, подобными кошмарами вовсе не мучится Тольм, а он, судя по всему, вовсе не мучится, этот лощенный эстет, скользкий как угорь, этот размазня и болтун, который как-никак целой батареей командовал и жажал в русских почем зря, сколько народу небось в клочки разнес, в том числе, наверно, женщин и детей, когда обстреливал несчастные мирные деревни, а при отступлении просто приказывал палить куда попало. Вообще, эти армейские хлыщи, которые так много воображают о себе и о своей вонючей офицерской чести, — а на чьей, позвольте спросить, совести все это кровавое, ссохшееся, изрешеченное пулями тряпье? Нет-нет, разумеется, эти господа на войне не «наживались». Он, что ли, наживался? Да кому были нужны эти ворохами сваленные деньги, давно списанные со всех счетов, эти бумажки, которых было бог весть сколько миллиардов и которые каждый тогда считал мусором? Так почему бы не купить на них дома и участки, на законных основаниях, корректно, почему не дать денег тем, кто срочно в них нуждался, и притом далеко не рыночную, не официальную цену, а много больше? Кому и какой от этого вред? Вон Тольм — конечно, всего лишь мелкая рыбешка, старший лейтенант артиллерии,

чьими вероятными преступлениями никто и не подумал заинтересоваться, его и выпустили сразу, через каких-нибудь восемь месяцев, да еще преподнесли в подарок «Листок», из которого он ничего, абсолютно ничего путного не сумел сделать, — разве он ничего не выгадал на войне?

А недавно Бэнгорс пожаловал, уже на пенсии, весь седой, конечно, благообразный, дослужился до генерала — Корея, Вьетнам, ну и прочее. Пришлось отужинать с ним в «Эксельсиоре» и с Эдельгард, конечно, от нее не отделаешься, — милый вечер, так это, кажется, называется, действительно милая жена Бэнгорса, которая даже могла себе позволить деликатно шепнуть на ушко Эдельгард несколько тактичных советов по части хороших манер. «Да, — похвастался Бэнгорс, — это и есть Мэри, моя первая и единственная». Сам — спортивный, подтянутый, но без этой омерзительной млажавой «стройности», к которой столь упорно — и тщетно — стремится Эдельгард, так до сих пор и не усвоившая, что от пьянства тоже толстеют, а тем более от сладостей, если поглощать их беспрерывно, расхаживая из комнаты в комнату и всюду включая эту свою чертову музыку. А вообще — ничего, милые, эти Бэнгорсы, она милее, чем он, но он тоже, что называется, джентльмен, хоть рисуй — а ведь своими ногами подгребал тогда деньги к трупу, там, в подвале банка, подгребал, как листья в лесу, когда набредешь на какую-нибудь падаль, а потом, сощурился, понюхал ствол автомата — и прочь, прочь. И ни слова об этом, ни намек, даже не подмигнул ни разу, когда ужинали в «Эксельсиоре», и потом, в баре, где пили кофе с коньяком, а дамы воздавали должное ликерам, — тоже ни гугу. И все равно — вечно этот кошмар, этот ужас, переживший горло, когда Кортшеде в свое время его спросил: «Подумай, Блямп, хорошенько подумай, ведь они переворочат всю твою жизнь, — не спрятан ли у тебя труп в подвале?» Спросил, конечно, в переносном смысле, но он-то мог ответить и в буквальном: да, спрятан, спрятан труп в подвале государственного банка в Доберахе. Он, наверно, сразу сам по-

бледнел не хуже мертвеца, потому что Кортшеде потрепал его по плечу и сказал: «Ну-ну, спокойно, спокойно, я же не о том, что записано в твоем денацификационном деле, — может, что по молодости, партия или еще что-нибудь, мало ли что могут раскопать...» Нет, ничего, только труп в подвале. Но труп так и не раскопали, а свидетелей не было, вернее, был один, но он за это время, вероятно, повидал, а может быть, и взял на душу столько трупов, что о том, давнишнем, начисто позабыл. Кофе и коньяк, дамы за ликером и даже там, в баре, опять эта проклятая, вездесущая музыка, там, правда, хоть танцевали.

С Маргарет, его второй женой, об этом тоже нечего было и заикаться: нет, не то чтобы совсем дура набитая, но все же порядком с придурью, одна из его секретарш, вообще-то даже ничего, но трех лет ему хватило за глаза; Маргарет была помещана на культуре, Флоренция и Венеция, Джотто, Мантенья и все такое, к тому же — «Господи, Ассизи, ради чего же еще приезжать в Ассизи!» — перешла в католичество, окружила себя любомудрыми монахами, основала журнал, ну ладно, непременно хотела квартиру на Пьяцца Навона, ладно, все лучше, чем эта телка с музыкой, его четвертая, но потом все-таки зашла слишком далеко, дальше, чем он даже в мыслях мог бы ей позволить, закрутила с модным итальянским леваком, — правда, красавчик, ничего не скажешь, — и не просто там шашни, а всерьез, и все обнаружилось, стало достоянием гласности, а уж это никуда не годится, то есть, пока все ограничивалось слухами, безвредной и даже лестной светской болтовней, — это еще куда ни шло, но когда всплыли фотографии, где она с этим мозгляком на пляже в чем мать родила, нет, увольте. Было в ней, в Маргарет, что-то от декоративного украшения, да и сама она умела украшать себе жизнь. Флоренция, Венеция, Джотто, Мантенья, Ассизи — разве он против? Но это уж ни в какие ворота, даже друзья и те советовали развестись, а особенно настойчиво Цуммерлинг, именно он, который первым опубликовал фотографии; и хотя вина од-

нозначно была на ней, на Маргарет, он проявил великодушие: пусть оставит себе и дом во Фьезоле*, и машину, и еще кое-что в придачу, пусть выходит за своего итальяшку, может, у них и вправду любовь, которой он так никогда и не встретил, пусть, ему не жалко, — они даже обвенчались в церкви, все по закону, чин чином, как у людей, она до сих пор шлет ему иногда открытки, в конце всегда чудная приписка: «Я тебе все простила, все». Умора, да и только, — не иначе как это она о пощечине, которую он ей влепил, когда однажды за завтраком она вдруг ни с того ни с сего буквально взвыла в голос, и все потому, что какой-то псих где-то расцарапал какого-то Рембрандта. Нет, столько культуры — это уж правда не для его нервов, вот он и вмазал. А она, значит, простила. Ну ладно.

С третьей он сам, что называется, не по чину хватил: эта деревенская девочка с модильяниевским лицом и вправду была не про его честь; тут он пал жертвой предрассудков, о которых сегодня прямо-таки смешно говорить, но она, Элизабет, вовсе их таковыми не считала. И не потому, что работала уборщицей — а она действительно однажды вечером, когда он засиделся в кабинете, предстала перед ним с ведром, совком и веником, — нет, в наши дни уборкой добывает себе хлеб множество женщин, которые отнюдь уборщицами не являются, беженки, безработные всех мастей, нет, тут другое: она действительно была уборщицей, самой настоящей, эта деревенская девочка из Истрии и заполучить ее он смог только после свадьбы; ну, и настали тяжкие времена, он сделался всеобщим посмешищем, как-никак ему было уже к шестидесяти, а ей двадцать четыре. «Блямп влюбился, подумать только, это ж надо — Блямп». Издевались все кому не лень, пожалуй, только Кэте да еще Фриц Тольм не участвовали, они, наверно, тихо дивились про себя, что на сей раз он действительно влип. Для прессы это было самое настоящее пиршество, и он щедро подбрасывал прессе кусок за куском: еще бы, он вместе с Элизабет, тестем и тещей на пороге жалкой крестьянской лачуги,

* *Фьезоле* — город в провинции Флоренция в Италии.

сельская свадьба с таким обилием плясок, какое ему при всем желании уже не потянуть, и тут же нелады, затруднения из-за того, что он разведенный, а Элизабет католичка, сетования родителей, их горестный отказ от церковного венчания, который и сама Элизабет приняла очень тяжело, — а в итоге продержался совсем недолго этот третий его брак, меньше всех остальных, не устоял, и не столько перед видением, которое по-прежнему его не отпускало, сколько перед неколебимым достоинством Элизабет — господи, какой-то уборщицы! Лишь с очень немногими людьми его круга она согласна была общаться, а меньше всего с Фишерами, которым он по текстильной линии и по «Пчелиному улью» все-таки многим обязан, и тут не помогли даже многократные напоминания, что Фишеры — действительно католики, самые настоящие, и что это не только доказуемо, но и доказано, даже удостоверено вполне серьезными церковными инстанциями; все бесполезно. К Фишерам ее нельзя было затащить никакими силами, к Тольмам — сколько угодно, но те сами от него нос воротят. Как ни удивительно, ей понравился Кортшедде и даже Плифгер. Но всех остальных она считала «скверной компанией, очень скверной», а про многих говорила, что «они воняют, ты просто не чувствуешь», а когда он едва-едва начал пестовать нечто вроде дружбы между ней и Сабиной Фишер, было уже слишком поздно, брак рухнул, она уехала в Югославию; под конец уже до того дошло, что она и правительственных бонз высокого, а то и высшего полета тоже стала называть «вонючками». «Они все воняют, вы просто не чувствуете». А потом призналась ему, что и он тоже воняет, «не всегда, но часто», твердила это даже в интимные минуты, когда он забывал с ней и свое жуткое видение, и всех своих шлюх, а просьбы объяснить, в чем именно и как вонь проявляется, ответом не устаивала. Под конец с ней стало просто опасно появляться на людях: сморщив носик, она обнюхивала всех подряд, бросала лаконичное «воняет», «не воняет», причем вовсе не в каком-то там моральном смысле, а прямо и во всеуслышанье говорила о «вонючей немецкой чистоплотно-

сти». Пришлось ее спровадить обратно в Истрию, он дал ей денег на маленький, но шикарный отель, где ей, надо надеяться, не понадобится принимать других вонючих немцев, но все еще мечтает, тоскует о ней, тоскует о Хильде, о своих милых и честных сыновьях, а теперь вот с содроганием думает об ответном приглашении, которое он Бэнгорсам задолжал: все-таки была — или почудилось? — у Бэнгорса этакая нехорошая искорка в глазах, хитроватый огонек сообщничества, но ничего он не сделает, не станет же себя топить. В конце концов, тот труп в подвале не за ним одним числится. Видно, кто-то уже после них прибрал к рукам «кровные денежки», а заодно прибрал и труп.

Да, от Эдельгард так легко не отделаешься. Вздорная баба и, как последняя идиотка, обожает роскошь, к которой бог весть почему относит еще и охрану; а охрану у нее, конечно, либо вовсе снимут, либо очень сильно сократят. Добро бы в ней самой хоть что-то было, так нет, а все равно — роскошь ей подавай: просиживает целыми днями в дорогих отелях, листает журналы, слушает свою проклятую музыку, доводит полицейских до белого каления и упивается своим «протокольным рангом», дурит голову мужикам, вот только ни один так и не захотел попользоваться, ни один всерьез не клюнул, но ей, похоже, и не больно надо. Нет, эта хуже всякой шлюхи, испорчена на корню, еще с малолетства, на вокзалах, в дешевых закусочных, а вот его окрутила, сперва прикинулась, будто так по нему и сохнет, а потом запела про честь, девственность и даже родителей не постыдилась вовлечь в этот могучий хорал, хотя сама небось еще в двенадцать, а в тринадцать-то уж точно приняла «боевое крещение». И ведь знала, когда подступиться, — Элизабет только-только уехала, потаскухами он был сыт по горло, вот и балдел допоздна в своем кабинете, а она тут как тут со своими дешевыми трюками: свеженький кофеек, и ручку невзначай на плечо, и, конечно же, эти бездарные груди, щедро выложенные в вырезе платья. Ну, а потом крик, слезы, честь, девственность, родители и снова свадьба, четвертая. Нет, от нее так легко не отделаешься,

а уж дешево и подавно. Все, баста, пятой не будет. Спутница жизни, вот кто ему нужен, вроде Кэте Тольм, которая даже глупости и те совершает очаровательно. Хольцпуке намекнул ему, что она со своим сыночком Гербертом, у которого не поймешь, что на уме, видимо, все-таки помогала деньгами этой Веронике. У Кэте даже набожность и то без обмана, нет, такая женщина — это чистое золото, как и ее дочь, Сабина, которая и на коне, и с младенцем на руках, и в церкви, и на танцах, даже у плиты, — всюду диво как хороша, нет, такое не купишь, пришлось однажды с глазу на глаз, по-мужски так и объяснить молодому Фишеру, чтобы не очень-то дурил, не вздумал обижать девочку ни словом, ни действием, ни, чего доброго, в спальне, а то он тоже в последнее время малость сдвинулся, так сказать, на порнопочве. Малютка Тольм — это же драгоценность, гораздо более хрупкая, чем кажется на вид, тут надо тонко, с душой, и уж ни в коем разе не с обезьяньими плейбойскими ухватками, которыми этот балбес, судя по всему, ее замучил, — нет, нельзя допустить, чтобы такая девочка зачала или, еще того хуже, отбилась от рук и сбежала куда-нибудь, нет, он не даст в обиду ни ее, ни ее прелестную, ангельскую дочурку. И старика поддержать надо. Остается, правда, еще Герберт, которого никому, включая полицию, не удалось раскусить. Философией занимается, а это не к добру; надо, обязательно надо при случае обсудить все эти вопросы с Дольмером, а то и со Стабски, тут ведь затронуты не одни только интересы Объединения, тут дело государственное.

Но сперва неплохо бы выяснить, как там эти молодцы, Кольцхайм и Грольцер, — перебесились наконец или до сих пор дурят? Эти-то в свое время и впрямь отбились от рук, обрыдло им петь и подпевать с чужого голоса, обрыдла стальная улыбка Амплангера, вот и пустились во все тяжкие, запили по-черному, спутались с бабами, да еще как-то неудачно спутались, без толку, подлые попались твари: и квартиру им, и меха, и вообще купай их в шампанском. А потом, видно совсем уж с тоски, стали баловаться новомодными извращениями: втроем, вчетвером, а то и дюжиной. В общем, хватили

через край, и из кассы тоже: командировочные, представительские, короче — финансовые злоупотребления. Ну, а уж тут пеняй на себя, и никакой пощады — на фронт, на передовую; поставили их перед выбором: либо суд, либо «испытание огнем», и не в штабах — в окопах. Либо три-четыре годика за решеткой, либо разжалование; они выбрали второе, ну, их и упекли в супермаркет, и не в обычный, а куда подальше, в глубинку, — пусть покопаются в грязи, узнают, каково воевать за повышение оборота, школить продавщиц, орать на уборщиц, всучивать покупателям пожухлый салат, ломать голову над уценкой, каждое утро точнехонько, минута в минуту, являться на работу в белом, но слегка заляпанном халате и каждый вечер снимать кассу. Там, в глубинке, если охота не пропала, могут и поразвлечься: вступить в местный туристический клуб, отплясывать на карнавалах и стрелковых праздниках, вместе с клубом в соответствующей экипировке — красные гетры, посох, рюкзак — ходить в походы «по полям, по лесам», а по части секса сколько угодно доказывать свою моральную стойкость на провинциальных вечеринках. Да, уже года три-четыре, как они на передовой. Надо бы узнать, насколько успешно идет боевая закалка, удалось ли им продвинуться — без посторонней помощи, в рамках скромных возможностей окопного героизма. Хорошие были ассистенты, эти Кольцахайм и Грольцер, образованные, с дипломами, и шустрые социологи, владевшие левацкой терминологией и правой аргументацией. Жаль, если они совсем пропадут, погрязнут в пучках салата и жалких интрижках с продавщицами. Надо бы запросить у Амплангера рапорт, и надо, надо позвонить Тольмам, пора наконец поговорить по-людски, тридцать три года они таскают за собой предубеждения, как вериги. Может, и Хильде стоит позвонить, попросить ее вернуться — если не спутницей жизни, то хотя бы экономкой; сколько можно выглядеть таким чурбаном, надоело, да и без надобности уже, а от баб он устал, даже от шлюх. Но первым делом надо внушить Тольму: никто и не думает его уничтожить. Наоборот, его хотят охранить и уберечь, и пусть, нако-

нец, сколько душе угодно цацкается со своими мадоннами, соборами и распятиями, пусть живет и здравствует — чем дольше, тем лучше, а если Кольцхайм и Грольцер образумились, пройдя очистительное горнило, то лучших помощников не сыскать: ребята молодые, элегантные, с юмором и после трех-четырёх лет закалки уж точно не избалованные. Наверно, Кэте Тольм — единственная живая душа, кому он смог бы рассказать про труп в подвале, про свое одиночество.

XII

После завтрака, подумать только, и в самом деле пожаловала депутация от «Листка», с цветами и увеличенной, наклеенной на лист картона первой страницей утреннего выпуска, посвященного его избранию. Очень трогательно, он и в самом деле не на шутку расчувствовался, тем более что делегировали всего троих: старика Тёниса, формально он все еще главный редактор, из старой эмигрантской гвардии, которую подобрал тогда майор Уэллер, ведь от одной лицензии да бумаги проку мало; благодаря Тёнису и коммунисту Шрётеру, что потом столь бесследно исчез, он хоть что-то понял в журналистике, они беспрестанно жужжали ему это словечко «жур, жур, жур» — день, днем, ради дня. Понять-то понял, а вот освоить не сумел, о чем бы ни писал, так и не смог избавиться от академической обстоятельности и многословия. И Блёрля прислали, одного из первых наборщиков, и его секретаршу Биргит Цатгер, тоже далеко не первой молодости, все из старой гвардии, давно привязаны к нему, а он к ним, — и он и они это знают. Тёнис и вправду где-то раскопал его диссертацию, «Развитие прирейнской сельской архитектуры XIX века» — об этих угрюмых, чопорных, холодных домах с их неизменным глухим квадратом подворья, скукота... Одна надежда, что эту не слишком лестную диссертацию, где так много сопоставлений с северной и южнонемецкой сельской архитектурой, никто так и не удосужился прочесть. Чем-то эти нудные фасады неизменно напоминали ему исповедальни, ну а уж тут он бессилён...

Старые фотографии: вот он, мальчишкой, на велосипеде на фоне замка, потом студент, а вот и после войны, возвращенец; про Кэте тоже не забыли — молодая жена с Рольфом на руках, во главе стола в гостях у Цуммерлинга; а вот опять он сам — в послевоенных орденах, в окружении улыбчивых министров. «Состоявшаяся жизнь, счастливая жизнь». Он и правда пустил слезу, когда чокался с Тёнисом, Блёрлем, секретаршей и Кэте — та хоть и не плакала, но глаза тоже на мокром месте. Шампанское, сигары, обещание предстать для поздравлений перед сотрудниками редакции, которые тоже чувствуют себя совиновниками торжества, а он еще во внезапном порыве чувств зачем-то предложил Тёнису перейти на «ты», это после тридцати трех лет совместной работы, мучительно пытался припомнить его имя, понимая, что ситуация неловкая, момент выбран неудачный; Тёнис смутился, никак не отваживался назвать его Фрицем, а тут его наконец, но слишком поздно, осенило, что Тёниса зовут Генрих, а сам все время думал о Сабине, ее будущем, думал о пророчестве Кортшеде, о новом, неизбежном изгнании — куда? куда?

Да, в душе он уже простался с замком и вдруг понял, что дети никогда особенно не любили сюда приезжать, даже Сабина. Замок остался для них чужим, они тоскуют по Айкельхофу, это их потерянный рай, хотя какой там рай: огромный, сырой, полусгнивший склеп, ремонтировать — напрасный труд, а все попытки возродить здесь, в замке, айкельхофские обычаи и привычки потерпели полный крах. Иногда он всерьез подумывал, не снять ли апартаменты в одном из кёльнских отелей, специально для встреч с детьми, но Кэте отвергла этот план как «совсем уж дикость». И все-таки это гораздо проще, чем всякий раз, отправляясь к детям, тащить за собой всю свиту охранников; может, и надо бы купить часть отеля в Кёльне. Тем более что Кёльн-то они уж вряд ли станут сносить. Хотя город наверняка тоже стоит на «буром золоте», а современной технике, несомненно, вполне по зубам разобрать Кёльнский собор и поставить его где-нибудь в другом месте.

Когда Кэте, еще бледнее, чем вчера, явно напуганная, позвала его к телефону, он первым делом подумал о Рольфе, потом о Цуммерлинге. С таким же вот белым от испуга лицом она передала ему трубку, когда арестовали Рольфа и когда Вероника с Беверло и Хольгером исчезли — тоже; и оба раза горевестником был Цуммерлинг, который не только сообщал ему новость, но и с церемонными извинениями уведомлял, что не в состоянии помешать ее публичной огласке. Его не удивило, что это опять Цуммерлинг: как-никак у того самая оперативная служба информации, повсюду ищейки, и только тут ему пришло в голову, что это, может быть, что-нибудь с Гербертом, у которого хватит ума не только придумать, но и наделать глупостей. У него достало присутствия духа, уже с трубкой в руке, махнуть на прощание Тёнису, которому Блуртмель как раз подавал пальто в прихожей. Кэте сняла параллельную трубку и кивнула. Только тогда он произнес:

— Слушаю.

— На сей раз, мой дорогой Тольм, — начал Цуммерлинг своим теплым, приятным баритоном, — чтобы вы не слишком пугались, сразу скажу: вашей семьи это не касается. Но новость достаточно тяжелая: Кортшеде застрелился, в своей машине, в лесу под Тролльшайдом. Вы меня слышите, дорогой Тольм?

— Да-да, слышу.. просто... я... как-то в голове не укладывается...

— Обезображен до ужаса, а в кармане письмо — вам. Хольцпукке, а может, сам Дольмер скоро вам его вручит. Это бомба, а не письмо, Тольм, и оно никогда, ни в коем случае не должно стать достоянием гласности, вы меня слышите?

— Письмо, адресованное мне, которое я еще не прочел, и содержание которого вы, как я понимаю, уже знаете, — вам не кажется, что это несколько странно? Кортшеде был моим другом, настоящим другом, одним из немногих моих друзей...

— Конверт нашли у него в кармане, он не был надписан. Пришлось вскрыть. Из обращения «Дорогой Фриц» и из дальнейшего явствует, что письмо вам. Разумеется, конверт

вам тоже вручат. Письмо, кстати, все равно пришлось бы вскрыть, оно ведь могло содержать указания на убийцу или сообщников, — там, кстати, есть крайне шекотливые пассажи, связанные с этим мальчишкой, которого он называет Пташечкой. И вообще — это документ, пронизанный неким эсхатологическим безумием. Так что я взываю к вам не только как к нашему новоизбранному президенту, но и как к владельцу «Листка» со всеми его ответвлениями... Дорогой Тольм, вы меня слышите?

— Да, я вас слышу. Неужели вы не понимаете, что я хотел бы сам прочесть письмо, прежде чем выслушивать от вас его конспективное изложение... и уж тогда, после того как я его прочту, мы бы, возможно, вместе подумали, что предпринять с адресованным мне письмом. Мне к тому же не вполне ясно, с какой стати меня информируете вы, а не Хольцпуке или Дольмер, ведь вы, прошу прощения, сколько мне известно, лицо не уполномоченное.

Цуммерлинг рассмеялся:

— Так ведь Дольмер меня и попросил поговорить с вами, прежде чем сам с вами побеседует и, возможно, вручит вам письмо...

— Возможно? Письмо, принадлежащее мне?

— Видите ли, это настолько взрывоопасная штука, что — поверьте, я тут совершенно ни при чем — Дольмер решил сперва позвонить мне, не исключено, что даже Стабски уже в курсе. Тут такое дело, дорогой Тольм, что вряд ли следует быть излишне шепетильным, тем более что вам и без того предстоит семейные неприятности... Вы слушаете, Тольм? Алло...

— Да-да, я слушаю. Значит, ваши специалисты по беременности и зачатиям все-таки не утерпели?

— Ах ты господи, Тольм... Возможные шалости вашей дочери у меня лично вызывают скорее симпатию, беда в том, что ваш зять рвет и мечет. И вовсе не из-за возможных шалостей, о которых он, по-видимому, не желает догадываться, а из-за окружения, в котором соизволит пребывать ваша дочь.

— Со вчерашнего вечера.

— Да, со вчерашнего вечера, но, вероятно, еще не на один вечер и не на один день: вашей дочери, судя по всему, там очень нравится. А ваш зять, по слухам, крайне опасается, что его дочери там тоже может понравиться, слишком понравиться, и, видимо, уже готовит иск, а точнее — отшлифовывает с помощью своих адвокатов формулировки иска. Нашему представителю в Ванкувере...

— Где?

— В Ванкувере, это в Канаде, он заявил нашему представителю, что он — цитирую дословно — этого дела так не оставит и предъявит иск в ущемлении его родительских прав; но вернемся к Кортшеде: вынужденная изоляция, синдром тюрьмы, психоз, а потом разлука с этим мальчишкой, которому все-таки намотали пять лет, — тут все сошлось. И конечно, Тольм, вам как его другу и коллеге, в вашем новом качестве надо бы произнести надгробную речь, не забывайте, чьей жертвой он, в сущности, пал... А что касается вашей дочери, то мы, разумеется, обеспечим полнейшую снисходительность. Наш человек в Ванкувере...

Тут Кэте включилась в разговор и спокойно произнесла:

— Кортшеде был его другом, даже близким другом, и он произнесет надгробную речь, и мы, конечно же, будем терпеливо ждать письмо, которое когда-нибудь, вероятно, даже сможем прочесть, хоть оно и адресовано Фрицу. Что же до нашей семьи, то вашим заверениям я не верю и никакой снисходительности не жду, нет, благодарю, пожалуйста, не надо. Кстати, у нас ведь, кажется, свобода прессы, или я ошибаюсь? Вот и обеспечьте прессе полнейшую свободу.

— Не плачь, Тольм, — спокойно сказала она, кивнув Тёнису, который испуганно ретировался вместе с Блёрлем и секретаршей. — Пошли, давай-ка выглянем на террасу.

— Так ведь дождь.

— От дождя, я слышала, укрываются под зонтиком, а кроме того, Рольф мне объяснил, что зонтик спасает и еще кое от чего, — она усмехнулась, — так сказать, от всепроникающего лобопытства. — Она прошла в спальню, вернулась с большущим

желтым зонтиком от солнца, очень глубоким, открыла дверь на террасу и потянула его за собой. Ему было зябко, он колебался, но она твердо взяла его под локоть и раскрыла зонтик. — Вообще-то надо было отломать или отпилить спицы, — прошептала она, — но я все не решусь, потому что тогда он, по-моему, не будет раскрываться. Рольф мне говорил, что под таким вот глубоким зонтиком — пусть даже со всеми этими спицами и железяками — они почти ничего не могут услышать. А теперь скажи-ка: ты знал про этого Пташечку, или как его там?

— Да, и давно, Кортшеде поверял мне и это, он поверял мне много всего, о чем я не имею права рассказать — печальные семейные тайны. Да, я знал, что он такой, и про мальчишку этого он мне говорил, и про то, как с его ведома их подслушивали, потому что мальчишка-то преступник. Но любить преступников, по-моему, не преступление. Как ты считаешь? Даже преступников-сыновей.

— А преступниц-невесток?

— Нет, Веронику я не люблю, я был к ней привязан, это верно. И все-таки мне немного жутко: Блямп и в самом деле пригласил нас на чай, как они могли об этом узнать, заранее, понимаешь? Он сегодня с утра позвонил, у него был такой... теплый голос.

— Может, его четвертая много болтает в барах, а кто-нибудь слушает. В конце концов, стены имеют уши, а свои люди, наверно, есть и у тех.

— Судя по всему, у него исповедальный зуд — это я о Блямпе, — что-то я за ним такого не припомню. И чая он, по-моему, сроду не пил, я, во всяком случае, не видел. Да и она не похожа на завзятую чаевницу. Впрочем, он сказал, что ее не будет.

— Она пьет джин с тоником, с утра, и чистый виски. Кроме того, она помешана на туфлях. Верно, что она была продавщицей в обувном магазине? Ты замерз? Принести тебе плед?

— Нет, спасибо. А что, отличное изобретение: прятаться под зонтиком на собственной террасе и шептаться с собственной женой в надежде, что вас не подслушают. Хотя, по мне, пусть слушают. Нет, продавщицей она не была.

— Знаешь, как подумаю о туфлях, всегда вспоминаю Генриха Беверло.

— Он — и туфли?

— Ну да. Он знал толк в женских ножках.

— В чем, в чем?

— В женских ножках, я же сказала. А почему бы преступнику, даже особо опасному, не знать толк в женских ножках? В Айкельхофе он мне всегда помогал выбирать туфли. Ты же знаешь, я до сих пор верна Кутшхеберу, может, из сентиментальности или из благодарности: ведь раньше, когда у меня было туго с деньгами, он всегда продавал мне со скидкой, ах, господи, «всегда» — раз, от силы два раза в год, — сейчас я покупаю чаще, плачу дороже и только наличными, но все равно храню ему верность. Так вот, когда мы жили в Айкельхофе, Кутшхебер присылал мне обувь на дом, у меня же свободной минутки не было: трое детей на руках, всякий день гости. Вот тогда-то и нашелся у меня отличный консультант — Беверло. Да, он знал толк в женских ножках. Он чувствовал грань между удобством и элегантностью и знал, где ее можно переступить, а где нельзя. И всегда порицал меня за мою слабость к слишком удобной обуви, он, кстати, и Веронику тоже консультировал уже тогда, как сейчас, не знаю. А ты в ту пору и дома-то почти не бывал, вот и не помнишь. Он считал, что мои ноги обидно уродовать «какими-то шлепанцами». И из дюжины пар безошибочно выхватывал то, что надо: и удобно и элегантно. А если два эти требования — удобство и элегантность — вступали в конфликт, всегда решал в пользу элегантности. Он, кстати, и варенье варит замечательно, а его ежевичное вообще было вне конкуренции — ты, между прочим, частенько едал и нахваливал. Да знаю, знаю я, что он убийца, опасный преступник, но что он тонкий, интеллигентный и очень деликатный мальчик — это тоже факт.

— Ты еще скажи «милый»...

— И милый тоже, но не это в нем главное, это так, сбоку припека, — а вот что испорченный, это да, до мозга костей. И нечего на меня так смотреть — еще бы не испорченный!

Слишком много позволяли ему возиться с деньгами, с деньгами и больше ни с чем, как и Рольфу, которого эта банковская белиберда и довела до ручки. Но Рольф-то хоть образумился, а вот Беверло нет, он все считает, считает, считает без конца, и не ради выгоды, а ради идеи — тут недолго свихнуться. Тольм, может, все-таки принести плед? Зато наконец-то можно поболтать вволю.

Он только качнул головой, улыбнулся, поцеловал ее руку, сжавшую рукоять зонта, и обвел глазами парк, пожалев, что совсем не видно птиц.

— Пусть Фишер подает в суд, то-то газетчики отведут душу на заголовках. Мне сейчас совсем не до того, даже не любопытно, я все думаю о надгробной речи: наверно, буду говорить о любви, а почему бы и нет? И еще я думаю о том человеке, с которым Сабина, от которого у Сабины... может, он тоже знает толк в женских ножках?

— Фишер, во всяком случае, ничего в этом не смыслит.

— А я?

— Ты... Ты мог бы смыслить, если б захотел. Ты даже в газетных делах мог бы смыслить, если б хоть чуточку ими интересовался. Старик Амплангер прекрасно умел пользоваться твоей ленью, твоим безразличием, все страшал тебя Цуммерлингом, хотя и сам человек Цуммерлинга, а может, именно поэтому. А потом вы начали покупать и страшать, страшать и покупать, куда тебе самому не стало стыдно заглядывать в собственную газету. Ведь больше всего ты любил читать «Гербсдорфский вестник», верно?

— Да. А теперь, когда он перешел в мои руки, я его читать не буду. Все потонет в спорте и вонючей трепотне, плюс местные сплетни, плюс развлекаловка. Сыновья мой «Листок» в руки взять брезгуют — никакой информации, что ж, они правы. А еще я тревожусь о дочери, которая вдруг, как гром среди ясного неба — или оно было не такое уж ясное? — как бы это сказать: связалась с другим...

— Брось, какая она прелюбодейка, ей на роду не написано, и никто ее прелюбодейкой не сделает. О воспитании я вооб-

ще не говорю, от него проку мало, считай что почти никакого, — просто, видно, такая уж это штука, таинство брака, что иной раз начинаешь верить в него, лишь преступив. Ну-ну, не красней, мой старичок, ты тоже не уродился грешником, не вышел из тебя прелюбодей — забудь, тебе нечего стыдиться и хватит краснеть. К тому же у тебя достало и вкуса и такта, перестань, забудь, это не позор. Я вот тоже не сподобилась, и соблазна не было, даже от скуки; всякое бывало, сам знаешь, и Айкельхоф, и «Листок», и вообще — но скучать я никогда не скучала... Да, женские ножки, Кутшхебер ведь даже предлагал мальчику заведовать секцией женской обуви. Сколько способностей, даже странно, при таком-то отце, — не потому, что он был почтальоном, но зануда страшный, да и мать тоже, дальше своего Блюкховена ничего не видела. А старик, конечно, нас теперь ненавидит, сам знаешь: дескать, это мы, богачи, во всем виноваты, поманили сыночка сладкой жизнью, университетом, который ты ему оплатил, стажировкой в Америке. Он-то предпочел бы видеть сына почтальоном в Хетциграте, ну, а уж как предел мечтаний — почтовым инспектором в Блюкховене. Возможно, не так уж он и неправ. Меня даже в дом не пускает, только на порог ступлю — крик, проклятья, под ноги мне плюет. Ну он-то хоть не нацист, это точно, мой отец хорошо его знал...

— Как, ты тоже... ходила к нему? Разве ты раньше его знала?

— Людвиг Беверло? А как же! И сестру его, Гертруду, мы с ней со школы на «ты», она в магистрате работает: ох, и натерпелась она из-за своей фамилии, она ведь не замужем. Она же в Айкельхофе часто у нас бывала, неужто не помнишь? Хотя тебя ведь никогда не было дома.

— Не любил я этот гроб: помесь необарокко с неоренессансом, плесень, гниль, запустение, сырость... А ломать да переделывать — нет, это не по мне. Одно я знаю точно: твой знаток женских ножек уложил бы меня на месте, если б мог.

— Не может, да и сомневаюсь, хочет ли: Вероника будет против. Может, все-таки войдем в дом, я сварю тебе кофе?

— Нет, лучше останемся: так приятно стоять с тобой под зонтиком, мерзнуть под ноябрьским дождичком, ждать птиц и размышлять о том, что мои сыновья и друзья моих сыновей брезгают взять в руки мою газету и не любят ездить к нам в замок. Ты права, конечно: никогда меня не интересовали газеты, только ты, дети, их друзья, а еще мадонны, архитектура, деревья и птицы. Хотя нет, ты — это совсем другое, ты слишком часть меня, чтобы можно было сказать «интересуешь». У меня всегда замок был на уме, Айкельхоф никогда не любил, а «Листок» все-таки солидная газета, которую, если взять все издания, читают или, во всяком случае, выписывают миллионы читателей, — но для детей это звук пустой и для их приятелей тоже. Информация, если она исходит от системы, сама механика этой информации никого из них не занимает, вероятно, даже Сабину. И Фишера лишь тогда, когда упоминается он сам или его лавочка. Герберт интересуется еще меньше, чем Рольф. Каждый заголовок в «Листке» вызывает у него какой-то изумленный, радостный смешок — не злой и не циничный, а именно радостный: так дети радуются лопающемуся мыльному пузырю. И они будут смеяться — нет, не над смертью Кортшеде, они его любили, не над его изувеченным лицом, не над забрызганной кровью машиной, — они будут смеяться над пышными, помпезными похоронами, на которые, конечно же, непременно пожалуют Дольмер и Стабски: еще бы, чуть ли не государственное событие, почести по высшему разряду, охрана — тут уж меньше чем полком не обойтись и вертолеты прикрытия с воздуха. А мне говорить речь, моя первая официальная миссия. Ты ведь пойдешь?

— Конечно, я пойду, но только если тебе к тому времени дадут ознакомиться с письмом. Кстати, ты не находишь, что это вполне убедительный повод уйти в отставку: сокрытие от тебя письма, которое тебе адресовано? Не волнуйся, я пойду и, что называется, буду соответствовать: пожму руку госпоже Кортшеде и даже выкажу скорбь, к тому же неподдельную. Мне он правда нравился, среди них попадаются действительно милые, Плифгер и Поттзикер, вероятно, даже и Блямп. Кстати, как

с ним быть, идти к нему на чай или, может, к себе позовем? Видно, что-то у него на сердце, если у него вообще есть сердце.

— Конечно, у него есть сердце, иначе он бы не был так щедр ко всем своим женам. По-моему, с четвертой, с этой Эдельгард, у него тоже все кончено, — наверно, он потому такой бабник, что у него нет хорошей жены. Пусть лучше приходит к нам. Может, он сумеет нам помочь, если Фишер и впрямь начнет дурить — один день ребенок провел у Рольфа, а этот псих уже испугался красной заразы. Неужели их, то есть наша, система столь малоубедительна, что им страшно подвергнуть ее даже тени сомнения. Тогда пусть защищают систему, наши убеждения и перспективы от этих проникающих влияний. Ведь посылают же Рольф и его друзья своих детей в наши капиталистические школы, у них нет выбора, и ничего, не боятся, уверены в своих силах. Помнишь сборище, которое устроил Кортшеде еще до того, как его дочь покончила с собой. Всех пригласил: дочь и друзей дочери, Рольфа и друзей Рольфа, Фишера и друзей Фишера, он лелеял мечту о примирении, ему горько было видеть эти два, а то и три враждующих лагеря, вот он и устроил вечер — танцы, иллюминация в саду, пунш, холодные закуски, коммунисты танцевали с дочками миллионеров, миллионеры с анархистками, это было еще до эпохи великой безопасности. Так и вижу их всех: Сабина с одним из приятелей Герберта, Фишер с какой-то подружкой Катарины. Пока танцевали, все шло гладко, но едва дело дошло до разговоров, тут-то и началось: сытая практика против голодной теории, аргументация против преуспеяния, и эти три гордыни, что сшибались, как бильярдные шары, гордыня друзей Герберта, гордыня друзей Рольфа и эта барская гордыня друзей Фишера, которым нечем было козырять, кроме своих прибылей...

— А еще якобы трудолюбия и даже мужества. Да, кошмарный был вечер, какое там примирение, стенка на стенку, чуть до драки не дошло.

— Да, поставщики сырья против потребителей сырья, Куба против Америки. Я тоже считаю, что за кофе и чай мы платим

слишком мало, а за бананы вообще гроши. Что меня тогда поразило: друзей Герберта друзья Фишера желали понимать еще меньше, чем друзей Рольфа, — три совершенно разных мира.

— А еще есть четвертый, которого мы не знаем, мир равнодушных, и пятый — мир алкоголиков и наркоманов.

— И еще один, который потихонечку загнивает сам по себе — таких, как граф Хольгер фон Тольм. И Эва Кленш — тоже совсем особый мир. Ума не приложу, куда ее отнести. Мы не нашли и не найдем с ними общего языка, не готовились и не готовы к контакту, все они прошли мимо и живут помимо нас, а еще есть ведь эти паломники в страну Востока, вроде дочери Кортшеде, которую потом бросил тот студент и она покончила с собой, там, в Индии, в отеле, — Кортшеде лично ездил забрать тело. Ах, это незабываемое кладбище под Хорнаукемом, прямо в лесу, где каждая вторая могила — могила Кортшеде, все они там лежат, любых разрядов и достоинств: поденщики и мелкие лавочники, купцы и крестьяне, и нынешние великие Кортшеде тоже, те самые кузнецы своего счастья, что разбогатели на бумаге, стали и угле, — все они из этого рода-племени застенчивых белокурых мечтателей с грустными глазами. Священник-северянин, напирая на согласные — вместо «т» у него получалось «д», — говорил о Господе: «двой жезл и двой посох»*. А теперь, значит, мне там говорить — в кольце охраны, конная полиция в лесу, танки на аллеях, вертолеты над головой, и наверняка тот же священник снова будет твердить: «двой жезл и двой посох».

— У тебя хватит мужества огласить письмо Кортшеде? Ведь это наверняка в своем роде завешание.

— Нет, Кэте, у меня не хватит мужества. Я это знаю, даже не прочитав письмо. У меня никогда не хватало мужества, даже той крупички мужества, которая требовалась, чтобы не позволить сделать из «Листка» бульварный листок; крупички мужества, чтобы обуздать старика Амплангера или избавиться от присмотра его сыночка. Я только глядел — или проглядел, — как они вырезали всю мою старую гвардию и всегда

* Псалтырь, 23 (22), 4.

мне подсовывали один и тот же аргумент: публика, читатели, которые якобы от нас отвернутся, если мы не будем «на уровне». Конечно, меня манили деньги, ведь успех оправдывал Амплангера и иже с ним, вот я и шел навстречу. Кому? Да самому себе, пока не стал таким, как читатели «Листка». Чего ради? Чем я рисковал? Да ничем. На жизнь, на нормальную жизнь мне бы всегда хватило, и, наверно, было куда лучше сразу отдаться на съедение Цуммерлингу, за соответствующую мзду, разумеется, чем самому заглывать других, которым «Листок» казался чуточку либеральней, а сам я — немножечко симпатичней. А теперь что уж, я сброшу с себя «Листок», останусь только в наблюдательном совете, тогда Цуммерлингу даже не понадобится меня глотать, ведь он и так давно внедрил к нам Амплангера. Нет, правы сыновья: мне не удалось обмануть систему, система обманула меня.

— Сбросишь с себя «Листок»? Это что-то новенькое.

— Смысла нет и дальше прикрывать его своим именем, а значит, и флером либеральности. Надеюсь, что они нас все-таки засекли — тогда, быть может, я все-таки получу письмо, несмотря на то, что оно адресовано мне. Пойдем в дом, выпьем кофейку, отогреемся и поедем в Кёльн: я слышал, там опять выставили мадонн, хочется взглянуть. Кстати, не пригласить ли нам с собой эту Кленш? Может, мне удастся ликвидировать кое-какие пробелы в ее образовании, как тогда со второй женой Блямпа. Заодно могли бы и пообедать с Гербертом, только не в этом омерзительном доме, который нам принадлежит. Вдруг у Герберта тоже есть кое-что интересное, о чем можно сообщить под зонтиком. — И он шепнул так тихо, что ей пришлось подставить ему ухо: — Скажи-ка, ты часом не приложила руку, а точнее, деньги к этой антиавтомобильной акции?

Она прильнула губами к его уху, нежно его чмокнула и прошептала:

— Мне удалось их отговорить. Они даже вернули мне сдачу — ну, что осталось. У них был ужасно простой, вернее — ужасный и простой — план: в разных городах, причем довольно далеко друг от друга, они взяли напрокат контей-

неровозы — здоровенные такие махины, метров по пятнадцать в длину, а то и по двадцать, если не все тридцать. Этими фургонами, строго по графику, который, между прочим, по минутам был расписан твоим сыном Гербертом, они хотели перекрыть все мосты, все выезды из города, все главные перекрестки, просто поставить эти штуковины поперек дороги, по-моему так, и на четверть часа превратить город в автомобильный ад. Забрать ключи и смыться. Но я им объяснила, сколько будет обмороков, нервных срывов, инфарктов, даже смертей, ведь «скорая помощь» тоже не сможет проехать, ну, и так далее и тому подобное. Нельзя ратовать за жизнь чужими смертями — словом, отговорила. Фирмам им, конечно, пришлось заплатить, кому только первый взнос, кому еще и неустойку, а остальные деньги я у них забрала от греха подальше, и все равно, когда Цуммерлинг позвонил...

— Ты решила, что они все-таки это провернули и нас ждет новый скандал, теперь уже с Гербертом?

— Ну да, денег им мог дать кто угодно, да они бы и сами раздобыли. Знаешь, одно время я прямо тряслась перед каждым выпуском новостей. Я не скандала боялась, а самой затеи. А придумал все Вильгельм Польш, помнишь, красавчик такой, ну прямо ангел во плоти.

— И Пташечка, любовь Кортшеде, еще один ангел во плоти. Он мне показывал фото.

— Ну вот, найдется о чем подумать, пока ты будешь показывать мне своих мадонн. У них тоже почти у всех ангельский вид. Нет, правда, Тольм, я как могла постаралась им внушить, что может произойти, если они внезапно и надолго заблокируют центр города: человеческие жертвы, психические расстройства, драки... Нет, страшен не скандал, но впутываться в затею, последствия которой совершенно непредсказуемы, — это, право, нехорошо. И все равно тех, кого следует, этим не проймешь: у каждого небось вертолет во дворе или на крыше. В конце концов, Рольф поджигал только те машины, в которых точно никого не было. Да, это неплохая мысль, пообедать с Гербертом и лишний раз удостовериться. Но, знаешь, они

были настолько благородны, что не взяли у меня чек с подписью, только наличные. Значит, я приглашаю Блямпа на чай и заказываю на сегодня столик на пятерых, у Геццозера, в кабинет, он приготовит нам что-нибудь вкусенькое. Блуртмеля тоже, конечно, надо пригласить. Бедные мадонны: надеюсь, их ангельские лики не передернутся при виде стольких автоматов. Неужели тебе в самом деле так приспичило в музей, непременно сегодня, после вчерашних выборов, и опять вся эта кутерьма?

— Не могу же я потребовать доставить все сто двадцать мадонн ко мне на дом. А взглянуть хочется. Так что предупреди Хольцпуке. Кстати, знаешь, было очень приятно с тобой под зонтиком. Прямо как запретное свидание.

— Так оно и есть.

XIII

Мальчика доставил турецкий инженер, прибывший рейсом из Стамбула и сразу после посадки во франкфуртском аэропорту передавший его полиции, которую командир корабля заранее вызвал по рации. Семилетний ребенок, который вполне мог бы сойти за маленького турчонка, черноволосый, смуглый, худой, в джинсах, сандалиях, накидке типа пончо и круглой соломенной шляпе — вид не то чтобы слишком экзотический, но достаточно «восточный»; спокойный мальчик, который даже улыбнулся, когда турецкий инженер, передавая его полиции, заявил:

— По-моему, это очень взрывоопасный ребенок. Меня попросили провезти его по моему паспорту, у меня тоже сын, восьми лет, но он остался в Турции. Попросила женщина — я бы даже сказал, дама, — в Стамбуле, в аэропорту, она вручила мне билет, пятьсот марок и вот это письмо, письмо, по ее словам, чрезвычайно важное и адресовано вам, полиции. Вот письмо, вот пятьсот марок, гонорар за столь ничтожную услугу мне не нужен. Позволю себе добавить, что дама очень плакала.

— Это была моя мама, — сказал мальчик. Больше он ничего не сказал, даже когда в отделении, сразу после ухода турка,

оставившего свой домашний адрес, поднялся сперва легкий, а затем и нешуточный переполох. Затрезвонили телефоны, сдергивались и нервно швырялись трубки, забегали люди — полицейские в форме, полицейские в штатском, а потом и мужчины в штатском, вовсе не похожие на полицейских. В конце концов мальчик согласился принять из рук какой-то доброй тети стакан молока и пирожное, хотя у него и были с собой в полиэтиленовом пакете (непрозрачном) бутерброды и бутылка апельсинового сока.

— Господи, деточка, — шепнула тетя, — ты, наверно, и по-арабски говоришь?

На что он с вежливой улыбкой только покачал головой, не спуская глаз с двери, ведь Вероника ему сказала: «Если вдруг появятся фотографии — прячься, в крайнем случае закройся пакетом», но фотографии не появлялись, хотя полицейских в штатском было уже явно больше, чем полицейских в форме. Потом один из тех, что в форме, подвел его к телефону, и он взял трубку и сказал:

— Да?

— Хольгер, это Рольф. Ты еще меня помнишь? Голос мой узнал? Берлин помнишь? Франкфурт? Хольгер, мальчик мой!

— Да, Рольф. И дедушку — утки в пруду, замок. И бабушку Паулу — варенье. И бабушку Кэте — печенье. Берлин, да... Как ты?

— Хорошо, хорошо, все хорошо. Я рад, что ты вернулся. Вероника — хотя нет, можешь не говорить.

— Я и не скажу. Ты приедешь за мной?

— Конечно, ведь никто не должен знать, что ты здесь. Тебе об этом сказали?

— Да.

— Тебя сейчас на вертолете отвезут к дедушке, сядете в парке, ничего, у него в парке часто садятся вертолеты, никто и внимания не обратит, а уж там я тебя заберу, часа через полтора. Хольгер! Я ужасно рад, мы устроим большой костер, у нас теперь сад огромный, а Катарина... Ты знаешь, кто такая Катарина?

— Нет. То есть... у меня ведь есть брат... братик...

— Ну да, его тоже зовут Хольгер. Придется что-то придумать, чтобы вы не перепутались. Ну ладно, ты только приезжай, иди сейчас с полицейскими дядями, они тебя отвезут. У тебя все в порядке? Ответь мне!

— Да. Я пойду с ними. У меня все в порядке. Мне сразу надо будет в школу?

— Да нет. Это не к спеху. Не бойся, приезжай скорее. Ну пока!

— До свиданья, Рольф.

Полицейские дяди впоследствии утверждали, что мальчик вел себя не просто спокойно, а прямо-таки хладнокровно. Строго придерживаясь инструкции, они «ни о чем таком» с ним не говорили: показывали ему сверху автостраду, Рейн, впадение Мозеля и Лана, и он вроде бы очень живо всем интересовался — внимательный, можно сказать, даже смысленный мальчик, про каждый мост спрашивал, как называется, жевал между делом свои бутерброды — хлеб, кстати, явно восточной выпечки, вроде лаваша, но колбаса вполне обычная, типа салями, — и даже сказал, что так лететь гораздо интереснее, чем «совсем высоко», потому что «почти все видно, даже как курицы крыльями хлопают». Нет, бутылка с соком самая обыкновенная, ничего особенного, никаких особых примет. Мальчик даже угостил пилота, и тот отхлебнул из бутылки пару глотков: сок как сок, нет, не самодельный, самый обычный, какой можно попить в любом супермаркете — ну, а уж супермаркеты, наверно, в Стамбуле есть, как и киоски с соками, нет, в соке тоже ничего особенного. Тем не менее ни пакет, ни бутылку мальчик оставить не пожелал, забрал с собой, да и что там, на той бутылке обнаружишь, — известно ведь, кто собрал его в дорогу, и то коротенькое письмецо они все читали: «Вы горько пожалеете, если сообщите прессе о возвращении Хольгера и если попытаетесь его расспрашивать. Доставьте его к его отцу. Телефон прилагается. И без фокусов! Бев.». Даже не на машинке, а самым наглым образом написа-

но от руки, на стандартной почтовой бумаге, какая стопками валяется во всех отелях, с недавних пор даже в дешевых.

Милый мальчик, нисколько не агрессивный, но и не общительный; любознательный, сообразительный, пытливый — да, но доверчивости — никакой; слушает хорошо, и Нидервальдский монумент*, и крепость Эренбрайтштайн**, мосты, замки и даже малые притоки вроде Ара и Вида — все ему было интересно, но на самые невинные вопросы, вроде: «Что, там-то небось жарко было, а?» — не отвечал. Вернее отвечал, но, так сказать, с многозначительной улыбкой: «Ой, я так потел. Но и снег тоже был, и дождь...»

В одежде — на основании поверхностного осмотра, а всякий иной им же строго-настрога запретили — тоже ничего определенного не выявлено: джинсы — ну, это уж действительно ширпотреб, продается всюду, рубашка — желтая, европейского покроя, но на Востоке тоже научились такие делать, сандалии — самые заурядные, носки — недвусмысленно домашней вязки, если и куплены, то с рук, у какой-нибудь старушечки, так что интерес представляли разве что пончо и шляпа. Пончо — не настоящее, явно не латиноамериканского производства, так, барахло, подделка, впрочем, чистый хлопок — им удалось незаметно выдернуть пару ниточек. Но и такого добра сейчас везде навалом: в галантереях, в сувенирных киосках, даже в солидных универмагах. Оставалась еще шляпа, в которой, впрочем, тоже не было ну совершенно ничего арабского, на вид довольно дешевая, из тех соломенных нахлобучек, какие повсюду норовят всучить иностранным туристам, — с равным успехом она могла быть куплена на Крите и в какой-нибудь дыре вроде Вальцпорхайма. Наконец, сам мальчишка: все-таки скорее хладнокровный, чем просто спокойный, явно какой-то замороженный, вероятно,

* Монумент на берегу Рейна в честь победы немецких войск во франко-прусской войне 1870—1871 гг., возведен в 1883 г. по проекту Й. Шиллинга.

** Крепость II в. на правом берегу Рейна, напротив города Кобленца.

даже специально натасканный, чтобы не проговориться; был неизменно вежлив, приветлив, но, увы, неприступен, выболтал, а вернее, сказал только, что он потел от жары, но потеть от жары можно в любом месте южнее Афин и Сиракуз. В карманах, судя по всему, кроме нескольких смятых бумажных носовых платков, тоже ничего. Некие чувства он обнаружил, только когда увидел сверху Кёльнский собор, сказав: «Сразу видно, какой он большой и какой маленький!» — засмеялся, когда они медленно подлетали к замку, закричал: «А вот и утки, утки!» — и заплакал, когда отец стиснул его в объятиях, но только тогда. Из него ничего нельзя было выжать, но плакал он по-настоящему, и отец тоже: как и было приказано, они приземлились возле самой оранжереи, так что мальчик, никем не замеченный, на крыльце оранжереи был с рук на руки передан отцу, через оранжерею отведен в замок, тут же, во дворе, усажен в отцовскую машину — и был таков. Стариков, слава богу, решили не извещать, оставили их любоваться мадоннами. И правильно, они бы непременно что-нибудь учудили, они ведь «без фокусов» не могут.

XIV

Имелось семь фотографий, на которых можно было разглядеть обувь Вероники Тольм, в общей сложности четыре пары, обладавшие, впрочем, одним несомненным сходством: все туфли были дорогие, в равной мере солидные и элегантные, для бунтарки весьма буржуазная обувь, к тому же фирменная, а снимки сделаны в разное время на протяжении пяти лет, из чего нетрудно было заключить, что она сохранила стойкую привязанность к туфлям одной фирмы, ну, а уж после этого оказалось достаточно одного телефонного звонка, чтобы установить, где именно в Стамбуле можно приобрести обувные изделия данной фирмы: в пяти магазинах и ни на одном из базаров, разве что без ведома фирмы, ибо только богу известно, что и как попадает на базар, — да, 38-й размер, едва ли не самый ходовой, так что в одном из этих пяти магазинов дама наверняка найдет то, что ей нужно.

Самолет с мальчишкой совершил посадку в 10.35, а у турецкого инженера, слава богу, хватило ума не полагаться на бдительность паспортного контроля, незадолго до посадки он проинформировал первого пилота, тот, в свою очередь, уведомил полицию, так что примерно в 10.50 им уже все было известно о «нежном грузе» из Стамбула, о письме и предупреждении; остальное, как говорится, было делом техники, между коим делом он, Хольцпуке, потом целый день насвистывал мелодию песенки, застрявшей в памяти еще с двадцатых годов: «Вечером под зонтиком», но поскольку он только насвистывал мелодию, так сказать, без слов, мысленно, ничуть не погрешив против мелодии, он слегка переиначил текст на свой лад: «Утречком под зонтиком», при этом блаженно улыбаясь, а иногда и посмеиваясь: ну и чудачка же эта Кэте Тольм, ну и наивная душа, неужели она и вправду могла подумать, будто он ничего не знал о подготовке достославной антиавтомобильной акции! Как будто интерес любой группы лиц к такому количеству контейнеровозов мог остаться вне их поля зрения! Да они бы мигом порушили все эти шалости, и сидеть бы тогда парнишке за решеткой! Ну и хорошо, что она это пресекла: он тоже не хочет скандалов, вот только почему-то она не шепнула на ушко своему благоверному, что в свое время финансировала изрядную партию «молотовских коктейлей», которые потом градом сыпались на крыши машин, а иногда залетали и в салоны. Конечно, деньги не бог весть какие, но все-таки — нет, за ней надо присматривать, больно щедрая у нее рука, — впрочем, не только на противозаконные цели, это надо признать. Она многих поддерживает — стариков Цельгеров, к примеру, да и старику Беверло пыталась подбросить деньжат, правда без успеха. Но неужто это ее сыночек Рольф дал ей совет насчет зонтика? Быть не может, уж он-то должен разбираться; наверно, он советовал ей как раз наоборот, мол, никогда не секретничай под зонтиком, а старушка перепутала, ну конечно, так оно и было! Совсем нелишне знать и о том, что старик начал пошалить, поздновато, конечно, но тут не до шуток, с него станется, он

на похоронах такого может нагородить, а если бы он еще видел письмо! Кстати, письмо, наверно, придется ему отдать — как-никак последняя весточка от лучшего друга, но это еще денек-другой потерпит. Да, «утречком под зонтиком» старик со старухой — ну точно влюбленная парочка! — много всего друг другу нашептали. Дольмер после телефонного разговора Цуммерлинга с Тольмом — наверно, все из-за того же письма Кортшеде — объявил «всеобщую мобилизацию»; и то правда — старик взбунтовался, возвращение мальчишки, видимо, означает, что «те» тоже изготовились к походу, ну, а раз так, совсем не исключено, что его разлюбезной мамаше в дорогу потребуются новые туфли. Ведь они — это уж почти наверняка — долго, может годами, обретались в таких краях, где совсем не просто раздобыть фирменную обувь, тем более определенной марки.

Было уже без чего-то двенадцать, когда он наконец разыскал своего человека в Стамбуле — он там как рыба в воде, город вдоль и поперек знает, уж сколько лет мыкается с хипарями да гашишниками, к тому же у него там целая команда отлично сработавшихся людей, включая и женщин, которые иногда, надо полагать, покупают себе дорогие туфли и знают, где таковые — в том числе и определенной марки — имеются в продаже. Уж они-то излазили все ходы-выходы, все углы и закоулки, от самых шикарных и дорогих отелей до трущобных лачуг, необходимый фотоматериал и документация у них тоже есть, так, на всякий случай, хотя Турция по этому делу прежде не слишком-то принималась в расчет. Объяснить человеку в Стамбуле все нюансы проблемы «знает толк в женских ножках» оказалось непросто: тот счел, что все это «малость жидковато», и к идее постоянного наблюдения за пятью магазинами поначалу отнесся как-то кисло, без должного энтузиазма; пожалуй, только перспектива поймать крупную, может быть, самую крупную рыбу отчасти, да и то под конец, его убедила, но все равно пришлось не только пригрозить ему Дольмером, но и непосредственно подключить Дольмера, дабы расшевелить его неповоротливое воображение. Дольмер,

так и быть, снизошел — и тоже лишь после неоднократных и энергичных упоминаний о «большой рыбе» — до телефонного разговора с Турцией, сообщив инициативам стамбульского агента достаточный заряд расторопности, а заодно и распорядившись обеспечить поддержку местной полиции. В конце концов, не бог весть какая трудоемкая задача — прощупать пять обувных магазинов в Стамбуле, ну и, может быть, еще парочку в Анкаре или Искендероне, где, судя по всему, тоже успели оценить достоинства европейской обуви данного фасона. А что до трудоемкости — да это ж курам на смех! С кучей людей они утробили несколько месяцев — а результат? Какой-то жалкий Шублер, любовник этой Бройер, со своим пугачом образца 1912 года. Здесь же, конечно, нужно подкрепление: обувные магазины не связаны обязательством содействия полиции, да и «те» небось уже не в Стамбуле, куда теперь из-за мальчишки потянулся след.

Турок-инженер опознал Веронику Тольм без особой уверенности, утверждение мальчишки («Это моя мама») еще ни о чем не говорит, могли подучить, как и слезам «понарошке», так что, вполне возможно, все это блеф, и они просто-напросто переправили его через ливанскую границу с какой-нибудь сообщницей. Взять бы мальчишку как следует в оборот, но нет, рискованно, он, как видно, и в самом деле крепкий орешек.

Тесновато станет в Хубрайхене, мальчишку там вряд ли удастся спрятать, да и происхождение не скроешь: просто поразительное сходство с отцом, а люди в деревне тоже не слепые, приметят, задумаются, начнут вопросы задавать, ну а уж газетчики не заставят себя долго ждать и налетят со всех сторон как воронье. Вывод: с идиллией в Хубрайхене надо кончать, пора распустить этот сельский рай, тем более что еще и Фишер, убоившись «нездоровых влияний», с минуты на минуту может напакостить. Качает, видите ли, свои «родительские права».

Только пригрозив нашествием людей Цуммерлинга, он сподвиг Дольмера на энергичные шаги в «обувном деле» и да-

же на запрос о сотрудничестве с турецкой полицией. Нет, это не пустая трата времени и сил, да и не бог весть какой труд: обойти в общей сложности четырнадцать магазинов в трех городах, расспросить о покупательницах обуви тридцать восьмого размера, показать фотокарточку и установить наблюдение. В конце концов, турецкая полиция всегда охотно с ними сотрудничает, на отношениях ФРГ с Турцией столь скромная услуга никак не отразится, тем более что и лавры успеха будут поделены честно.

На богоматерном фронте, как он про себя окрестил поход к мадоннам, было спокойно, все шло чинно, гладко, из зала в зал. Эва Кленш, похоже, слегка нежилась в лучах всеобщего внимания, пока ее нареченный читал в кофейне газету, а навивная зонтопклонница, милая старушка Кэте, выслушивала пояснения своего Фрица, который по такому случаю, судя по всему, впал в раж, — впрочем, вероятно, не без влияния все той же Кленш, не спускавшей со старичка зачарованных глаз и даже не выпускавшей его руки, — трогательная картина, которая, в свою очередь, — продолжал распинаться Гробмёлер, чья бригада специализируется у них по музеям, галереям, концертам, вернисажам и т. п. — слегка забавляла его супругу, милейшую госпожу Тольм. Вероятно, многочисленные посетители, окружившие чету Тольмов и почтительно следовавшие за ней по пятам, наподобие свиты, или, по выражению Гробмёлера, «гроздью», принимали смазливую Кленш за их дочку или невестку. Впрочем, Вишенка — конспиративная кличка Кленш — держалась настоящей пай-девочкой. Словом, на богоматерном фронте без перемен, а кабинет в кафе Гецлозера — это уж дело техники, тут хватит, как обычно, четырех человек: двое при кухне, один на входе и еще один во дворике.

И в Хубрайхене не то чтобы совсем спокойно, но ничего тревожного: там молодой отец Тольм, по имени Рольф, поговорив по телефону со своим хладнокровным сыночком, побросал малярные кисти, срочно отпросился с работы и уже успел незаметно забрать сына из Тольмсховена; как ни странно, при встрече оба расплакались, впрочем, плакала и Ката-

рина Шрётер, и Сабина Фишер, которая — без малейшего успеха — пыталась расспросить мальчишку о Веронике.

— Но ты же должен знать, где твоя мама, что с ней, как хоть она выглядит?! И потом — как она обходится без своих туфель? Все время по песку да по камням — там же все мгновенно снашивается!

Ребенок — хотя и более сердечно, чем недавно с полицейскими, — отвечал ей с прежней непроницаемостью:

— У нее все хорошо, а туфли у нее пока есть. Босиком я ее, во всяком случае, не видел. Бев к ней очень добр.

— Кто?

— Бев. — О «Беве» никто ничего не спросил, видимо, все оцепенели от страха. По своей же воле, без понукания, мальчишка, судя по всему, ничего говорить не хотел. Даже за едой — суп, гуляш, салат, хлеб — на расспросы о том, как его кормили и где вкусней, он ответил только, что сыт был всегда, а когда спросили, всегда ли было вкусно, честно сказал, нет, не всегда, но и здесь, мол, ему раньше тоже не все нравилось; на вопросы, с кем и во что играл, отвечал спокойно и уклончиво, как, впрочем, и на все остальные, пока отец — не то чтобы разъярившись, но весьма решительно — не потребовал «оставить его в покое: сразу столько событий — это вам не шутки». За столом обсуждались и планировались также предстоящие встречи с бабушками-дедушками, с Цельгерами и Тольмами. В это он, Хольцпуке, встречать не намерен, в конце концов, это их личное дело. Уложить мальчика сперва было решено на кухне, посчитав, что епископские покои ему не подойдут, однако, осмотрев последние, этот юный принц милостиво согласился там обосноваться на первых порах, «пока все не образуется», как заявил его отец, который около 15.30 как ни в чем не бывало снова отправился на работу к Хальстерам. Оставалось ждать и надеяться: может, теперь, в присутствии женщин и детей, мальчишка разговорится. Вплоть до 17.30 ничего похожего не зарегистрировано, даже «Бев» больше не упоминался; потом последовали телефонные переговоры с Хетцигратом и Тольмсховеном, взрыв ликования у всех четверых стариков,

несколько омраченный, правда, скудостью новостей о Веронике. Да, конечно, утки в замковом пруду, и ежевичное варенье в Хетциграте, и сова, как же, конечно, он помнит и очень рад, — а у них, да-да, разумеется, все хорошо; настоятельные просьбы обеих женщин не приезжать, нет-нет, не сегодня, для мальчика и так слишком много всего сразу, а старику Беверло они, разумеется, позвонить не могли, у того нет, да и отродясь не было телефона. И тишина. По-видимому, вязанье, игры на полу, треск каштанов на огне, потом пение, вернее, тихий напев, слов не разобрать, но на слух что-то религиозное.

Обед у Гецлозера протекал без особых происшествий. Разговор о христианстве в его католической разновидности, Кленш и молодой Герберт Тольм попеременно задавали тон беседе, причем единство было достигнуто лишь в вопросе об уникальности Иисуса, все остальное Вишенка ревностно отстаивала, а Герберт подвергал сомнению: причастие и богослужение, обет безбрачия и священнослужители как таковые, но ничего, что представляло бы хоть малейший интерес для расследования, даже ни намек на бесславно лопнувшую антиавтомобильную акцию; вообще-то прелюбопытная компания: любезная, к тому же новообращенная Вишенка, ее суженый, тихоня, о котором, впрочем, известно, что он обожает народную музыку, танцы, даже сам поет под гитару — народные песни, не какую-нибудь там поп-дрянь, — и этот Герберт, в сущности, милый парень, малость с заумью, конечно, в Христа он, видите ли, верит, а вот в новомодное «пробуждение Христа» — нет, его спор с Кленш даже любопытно было послушать, но для расследования — ничего, абсолютно ничего интересного.

Экспертиза почтовой бумаги ничего нового не дала: разумеется, отпечатки пальцев Беверло — это, конечно, наглость, но не сюрприз, тем более что почерк его они и так знают, что же до самой бумаги, то тут ни малейшей зацепки: ширпотреб, лежит навалом во всех отелях и в писчебумажных магазинах, в Турции, на Ближнем, Среднем и даже Дальнем Востоке...

В Хорнауке, для непосредственной, ближайшей охраны, так сказать, вокруг могилы, он, будь его воля, конечно, послал бы Гробмёлера с его «бригадой по культуре»; люди все интеллигентные, приученные к хорошим манерам, ни на одном из вернисажей не испортили погоды, никому не бросились в глаза, и, в конце концов, похороны тоже можно считать событием культурной жизни. Местность там трудная: вокруг лесопарк, тропинки, ирригационные каналы, велосипедные дорожки, палаточный городок, детские площадки, поляны для пикников — словом, излюбленная зона отдыха их ближайших голландских соседей. Еще два-три дня — а «колеса», быть может, уже катятся. По счастью, есть там небольшая укромная гостиница «Чтобы мама не узнала» — охотничий ресторанчик, уютные комнаты, и если удастся выкроить часа три, а лучше бы полдня, вполне можно все продумать, разметить по карте дислокацию постов и пунктов наблюдения, сверить с местностью и самому за всем проследить. Весь «цвет» там будет, ни один не упустит такого случая, хорошо еще, Кортшеде протестант, обойдется без католических вельмож. Хотя наперед никогда нельзя знать: вдруг кардиналам по протоколу тоже «положено»? А уж эти-то свое урвут — явятся, презрев любой риск, не щадя живота: иной раз кажется, что у них прямо похотливый зуд, так манит их атмосфера публичных торжеств и щекотка опасности. Жаль, конечно, что он отпустил Цурмака, Люлера и Тёргаша. Ни за что не отправил бы их на сборы, если б знать, сколько тут всего навалится. Но отзывать их сейчас обратно — нет, не годится. Они, наверно, уже пакуют чемоданы, и потом, в конце концов, Хорнауке вообще не их территория, это другая федеральная земля.

В Хубрайхене, судя по сводкам, Бройер со своим любовником все еще ходит по домам, ищет жильё и работу; в остальном там тоже все спокойно. Правда, судя по тем же сводкам, вернулся блудный священник, хочет говорить с приходским советом и вообще со всей паствой. Что ж, это даже к лучшему, хотя бы на время отвлечет внимание от хладнокровного бар-

чука, который, судя по сводкам, пока что не нарушает запрет выходить за ограду, — впрочем, ему, наверно, к подобным запретам не привыкать.

Когда он позвонил Дольмеру, чтобы сообщить о своем отъезде в Хорнаукен, в голосе начальника ему послышались вальяжно-покровительственные нотки, которые его сразу бы должны были насторожить. Дольмер был сама любезность, с милым смешком заметил:

— Операция «Турецкий мед» продолжается! — шеф с удовлетворением выслушал его отчет о спокойном развитии событий на богоматерном фронте, еще раз энергично отсоветовал брать мальчишку в оборот, а в ответ на опасения по поводу ожидаемого нашествия в Хубрайхене хмыкнул и пошутил: — В конце концов, придется подыскать для всей этой честной компании какой-нибудь монастырь. Тогда даже Фишер не посмеет заикнуться про «нездоровое окружение». Ну что ж, счастливого пути, и постарайтесь, если получится, хоть немного отдохнуть.

В Блорре тоже без перемен. Там тишина. Мертвая тишина.

XV

В этот день, глядя на мальчика, она с каждой минутой пугалась все больше: какой-то препарированный, неживой, будто заводная игрушка или робот, и так все время — за столом, на прогулке в парке, на балконе и даже когда бегал по коридорам и во дворе. «Замороженный внук» — так она его назвала. Ни о чем не рассказывал, ничего от него не добиться. Где он жил эти два с половиной года, как? Ничего. Еще больше похорошел, но эти глаза, серо-голубые, напоминали ей поверхность застывшей лавы — ледышки. («Глаза у него твои», — утверждал Тольм.) Утки исторгли из его груди странный смешок, почему-то они показались ему «фаршированными». Но когда она спросила, ел ли он там фаршированных уток, он только засмеялся и стал рассказывать про варенье бабушки Паулы, а еще про вертолет; перечислил все притоки Рейна, все памятники, церкви, соборы, мосты — не память, а какая-

то застывшая географическая карта. И забавлялся тем, что с разбегу бодал дедушку головой в живот, снова и снова, беспрерывно. Нет, не в сердце, пока что нет, но все равно как баран, самый настоящий баран. А тут еще проклятый телефон, на котором она провисела, можно сказать, полдня: Дольмер явно от нее прятался. Стабски заявил, что он не в курсе, заместитель Дольмера — что некомпетентен, Хольцпуке якобы уехал организовывать кордон безопасности на похоронах Кортшеде, а эти двое, Кульгреве и Амплангер, в один голос, будто сговорившись, беспрерывно твердили свое «к сожалению» — никому не дозвониться. Тольм сперва нервничал, потом разолился и в конце концов накричал на Амплангера: «Где мое письмо? Отдайте мне письмо!» В такой ярости она его еще не видывала за все тридцать пять лет: разгневанный, прямо-таки яростный Тольм — это что-то новенькое. Он отменил ежедневную ванну, отказался вызвать Гребницера, курил, жестом велел Блуртмелю заняться мальчиком: не иначе как тоже стал побаиваться своего родного внука, по которому так тосковал. А этот совершенно чужой ребенок невозмутимо таскал с кухни эклеры, решительно не хотел пить чай, вытребовал лимонад, как заведенный, носился по коридорам и нервировал охранников, целясь в них из воображаемого автомата, стрекот которого воспроизводил с поразительным правдоподобием. Охранников теперь было уже восемь: трое на дверях, двое на лестнице и еще трое во дворе, только одного из них она знала в лицо, он был с ними утром в музее, спокойный, сосредоточенный мужчина, который при виде хладнокровных проделок Хольгера I с большим трудом сохранял самообладание и выражение застывшей вежливости на лице. Именно он возник как из-под земли, укоризненно покачивая головой, когда Эва Кленш извлекла из багажника лук, стрелы и мишень и предложила мальчику пойти с ней в оранжерею поупражняться в стрельбе. Но она состоит в стрелковом клубе, сказала Кленш, и всегда возит с собой лук, она любит потренироваться в дороге, делает это при малейшей возможности, а мальчик все «обычные игры» отверг, зато стрельбу из

лука приветствовал с крайним воодушевлением. Подчиненный Хольцпуке потрогал тетиву, убедился в невероятной силе натяжения, тщательно изучил стрелы, особенно металлическую окантовку наконечников, выразил холодное удивление по поводу того, как это Кленш вообще удалось «проскользнуть» через контроль с таким багажом, заявил, что разрешать или не разрешать подобные забавы только в компетенции начальства, отошел в сторону, не забыв прихватить с собой весь пучок стрел, и начал длительные переговоры по рации. С кем же он говорит? Значит, Хольцпуке все-таки где-то поблизости и они что-то замышляют? Тогда что? Лица у всех охранников разом посерьезнели, почти застыли, а Кленш, эта очаровательная и энергичная хохотушка, которая так мило помогала ей печь эклеры и взбивать сливки, стояла с таким растерянным, даже оскорбленным видом, что на нее больно было смотреть.

— Господи, — горячилась она, — пусть это и стрельба, но ведь без малейшего шума. — И с упоением стала рассказывать о почти бесшумном, свистящем полете стрелы, о том, как трепетно она дрожит, вонзаясь в мишень, вообще о необычайной «духовности» стрельбы из лука, лишь с трудом сохранила выдержку, когда охранник объявил ей, что, как ни прискорбно, он вынужден «временно эту вещь конфисковать, мало ли что дети могут натворить, как-никак это все-таки оружие». Эва Кленш не то чтобы язвительно, но весьма надменно настаивала на слове «спортивный инвентарь». Охранник с таким определением согласился, но со своей стороны уточнил, что иной спортивный инвентарь может оказаться и оружием либо использоваться в качестве оружия: копье, молот, хоккейные клюшки и даже мячи в зависимости от их твердости.

— А у нас здесь район повышенного риска — так что сожалее, но... Когда будете уезжать — разумеется...

В голосе Кленш уже почти не было иронии, только звонкая дрожь, когда она спросила, не должна ли сообщить свои анкетные данные, место жительства и род занятий. На что охранник уже почти ласково ответил:

— Нет, не нужно, это и так известно, и мне тоже.

На секунду показалось, что Кленш убьет его на месте, но она разревелась, бросившись Кэте на шею и шепча сквозь слезы:

— Ну что за жизнь!.. Ах, вы... Никуда от них не деться...

Блуртмель, не выказавший на протяжении этой сцены никаких личных чувств, и сейчас сохранил полное спокойствие, даже улыбнулся и сказал:

— Тогда, наверно, я лучше отвезу молодого господина обратно в Хубрайхен, тем более что вы — извините за напоминание — ждете гостей.

Да, только сейчас она вспомнила, для кого пекла пирожные: для Блямпа, который в ответ на вопрос, что он любит к чаю, может, эклеры? — сыто пробасил: «Эклеры к чаю? С удовольствием!»

Она удержала Кленш, когда Блуртмель с мальчиком направились к машине:

— Оставайтесь, прошу вас. У нас сегодня тяжелый день, а будет еще тяжелее.

Тольм застыл у окна, наверно, ждет своих птиц, совы-то уж точно, но она так рано не полетит; ее не обманет ни надутое небо, ни пригорюнившийся парк — сова вылетает в сумерки, а до сумерек еще час, если не два. Разве что ворона какая пролетит, для ласточек уже не время. Он не обернулся, у него была какая-то сухая, почти сердитая спина, когда он, едва повернув голову, сказал:

— Я ему дозвонился, Дольмеру. Я не получу письмо. Никто не получит. Это, видите ли, динамит.

— Тогда, значит, никаких похорон, никакой речи?

— Никакой речи, нет, но похороны — не в Хорнауке, нет, другие, в Хетциграте... да, Кэте. — Тут он наконец обернулся, обнял ее, припал к плечу, слабо улыбнулся Кленш и сказал: — Они его подловили. Он покупал туфли в Стамбуле. Убит. Сказали, что застрелился. Вероника — нет, она исчезла, скрылась, ее там не было.

— Туфли, — выдохнула она, — тогда... под зонтиком... Тольм, я отрежу себе язык. У меня даже слез нет. Эва, пожалуйста, заварите чаю, самого крепкого и побольше.

— Придется общаться, как тогда, в московской гостинице: писать записки и спускать их в унитаз. Но они, наверно, изобретут специальные отстойники, чтобы вылавливать бумажки, отмывать их от дерьма и склеивать. Подожди, мне нужно тебе кое-что сообщить. — Он отпрянул от нее, подошел к столу, оторвал клочок бумаги от листа, что-то написал и принес ей. Она прочла: «Я люблю тебя, всегда любил, и детей тоже, и даже его, молчи».

Она поцеловала его, порвала записку, пошла в ванную и спустила клочки в унитаз.

— Его тут похоронят?

— Да, я оплатил перевозку, я настоял, чтобы его похоронили здесь; его отца они вынуждены были упрятать. Дольмер назвал свою цену: ни слова о письме. Молчи, Кэте, молчи, давай-ка снова привыкать к запискам. Кстати, дом священника в Хубрайхене как раз освободился, и, быть может, навсегда. Места всем хватит — и Герберту, и Блуртмелю. И перестраивать почти ничего не надо, а для охраны и слежки он идеально подходит. А старые деревья...

— Совы на колокольне, сычи на сеновале... Как подумаю — аж трясет.

— А здесь не трясет?

— Да. Но меня и в Хубрайхене теперь будет трясти, всюду. Я... — Она выхватила ручку из его жилетного кармана, подошла к столу, оторвала клочок от того же листа и написала с краешка: «Никогда в жизни не смогу больше купить себе туфли, никогда. К счастью, у Сабины тот же размер, да много туфель мне уже и не понадобится. Кому угодно, только не мне».

Блямп явился минута в минуту, с роскошным букетом: белая сирень, алые розы и легкая пена — или брызги, так ей подумалось, — желтых мимоз. Он внес букет собственноруч-

но, сам освободил его от бумаги, и она даже удивилась, какое серьезное, почти задумчивое у него лицо. Будто подменили — как и Тольма, как и мальчика; день великих перемен, день замороженного внука, расшевелившегося Тольма, задумчивого Блямпа, который даже — что было уже не совсем комифо — помог ей поставить цветы в большую вазу. Она впервые обратила внимание на его руки и снова удивилась: сильные, ловкие, они совсем не вязались с его и правда грубым лицом, шишковатой картофелиной носа и абсолютно голой лысиной, обтянувшей отнюдь не красивый череп. Он с нескрываемым интересом оглядел Эву Кленш, которая подала чай и свежие эклеры на фарфоровом, с розами, блюде.

— Я правда буду пить чай, — сказал он и, кивнув им, тихо добавил: — Слышал, все слышал, и о перемене кладбищ тоже. Сам знаешь, это будет стоить тебе головы.

— Да, — ответил Тольм, — знаю и рад от нее избавиться, от такой головы.

— Стабски просил меня еще раз с тобой поговорить. Но я знаю, это бесполезно — или?

— Бесполезно, Блямп, не трудись.

— Странно, почему-то я был уверен, что ты заупрямишься, хотя из всех, кого знаю, ты самый покладистый человек. Но сегодня, сам не пойму отчего, я уверен, что ты не уступишь. Я рад за тебя — не за нас, нет, не за нас, и, конечно, не из-за того, что все так быстро. Хотя, конечно, президент на один день — что уж тут хорошего, но дело даже не в этом: ты нам очень подходил, и у меня никогда, никогда в мыслях не было тебя уничтожать. Я только всегда хотел пробудить в тебе стойкость, ну, воспитать, что ли...

— Как видишь, тебе это удалось... Не слишком-то на эклеры налегай, куда тебе толстеть. Может, все-таки виски?

— Нет, потом, я хочу поговорить с вами на трезвую голову. — Он с неприкрытым вожделием проводил глазами Эву Кленш, которая подала молоко, лимон, сахар и снова вышла. — Кто эта женщина?

— Забудь, она уже занята. Подруга Блуртмеля.

— Я бы с ходу на ней женился.

— Ты... — Кэте покраснела и принялась разливать чай.

— Слишком часто женился с ходу? Ты это хотела сказать?

— Примерно. Не совсем, но... И прошу тебя, Блямп, ее не трогай, пожалуйста.

— Я никогда в жизни не уводил чужих жен и чужих женщин, никогда, ясно вам? У меня уводили — этот левак, эстет несчастный, «Боттичелли! Боттичелли!» — вот он, да.

— Ты все еще тоскуешь по Маргарет?

— Я? Ни капельки. Уже нет. Можете смеяться, но я всегда уважал чужие чувства, так что не бойтесь: пусть ваш массажист держит сей редкостный цветок при себе. — Было странно, почти жутко видеть его слезы, он разревелся, грубая, столь зверская с виду физиономия вдруг расплзлась, под тяжелой верхней губой неожиданно обнаружилась нижняя, тонкая и беззащитная, все лицо дергалось от нахлынувшей обиды и боли. — Кортшеде, — всхлипывал он, — а теперь еще и этот проклятый мальчишка, и если бы вы знали, что у меня в подвале, у меня в подвале такое... — Нет, было не смешно, совсем не смешно видеть, как он, весь в слезах, только кивнул, когда Тольм вопросительно поднес бутылку виски к его стакану. — Вот черт, вы хоть знаете, как этот жуткий мальчишка, этот математический гений себя угрохал, нет? Что, вам такие тайны не рассказывают? Дольмер для этой штуки уже и название придумал: самострельная машина марки «Руки вверх!» Что, не дошло? Он жилетку себе смастерил, которая по команде «Руки вверх!» сразу стреляет. Одна пола вовнутрь, другая, левая — от себя: что-то вроде портативной «катюши», под пиджаком совсем незаметно, как спасательный жилет, но потоньше. Они до сих пор изучают, что там к чему. Турка-полицейского наповал, другого, немца, тяжело ранил, ну, и сам — можете представить, во что он себя превратил. Чистое безумие — хотя на Дольмера он страху нагнал. Попробуй, покричи теперь «Руки вверх!» А тут еще письмо Кортшеде, видно, и вправду скверное.

— Ты его читал?

— Нет. Его никто не читал, только Дольмер, Стабски, Хольцпукке и те двое полицейских, которые Кортшеде нашли. Засекречено под самым грозным грифом. Кстати, Цуммерлинг тоже не читал.

— И адресовано мне?

— Ну да, начинается как будто: «Мой дорогой Фриц!» А дальше, конечно, мрачные пророчества — насчет окружающей среды, атомной энергии, прирост, экспансия, банки, промышленность — словом, мрачней некуда. Адресовано тебе, и ты вправе его получить. Сам смотри, как тебе дорваться до своих прав, и имейте в виду: никто, слышите, никто не должен узнать про похороны в Хетциграте. В Хорнаукуене, наверно, придется выступить мне. Ты не возражаешь, если мы объявим, что ты болен — тяжело болен? Других родственников у него, по-моему, нет? На отца-то пришлось буквально надеть смирительную рубашку.

— Есть еще тетя... Надо бы...

— Не надо... — Он говорил совсем тихо, и снова со слезами на глазах. — Забудьте про тетю, не надо никого звать! Даже детям не говорите, пожалуйста, прошу вас, умоляю, не надо шума, не надо столпотворения. Сабина, если только она... — Он сам налил себе чаю и взял еще один эклер.

— Да, — сказал Тольм, — Сабина может и пойти.

— Фишер возвращается, он из-за Кортшеде прервал поездку. Так что в Хорнаукуен она вряд ли поедет. А вам он еще устроит, после похорон тем более, и ему есть чем козырять: такой дядя, да еще с такой подружкой, плюс теперь и бабушка с дедушкой туда же! Дать Сабине уйти — какой позор! Господи, вот идиот-то, такую женщину — и оставлять одну! Да я бы с такой женщины глаз не спускал, я и Хильду-то никогда не оставлял одну, если бы не этот подвал, куда я не мог брать ее с собой — я был один в этом подвале, один как перст, и никто ничего не заметил, столько страха, и никто ничего... И вот что странно: сегодня, когда я поговорил с Дольмером, а потом Стабски мне позвонил, когда я узнал, как этот жуткий тип среди картонок с обувью пустил в ход свою мини-кату-

шу марки «Руки вверх!» — там было полно дамских туфель тридцать восьмого размера, он велел доставить их в отель, — я вдруг понял, что могу наконец выбраться из подвала, и я ревел, все утро ревел, ревел и радовался, что этой девочки — вашей Вероники — там не было... радовался, можно сказать, наперекор убеждениям, и надеюсь, что она отыщется где-нибудь, живая и невредимая, надеюсь наперекор убеждениям, вопреки всем моим принципам. Вам будет очень одиноко после этих похорон, очень — хоть это-то вы понимаете?

— Да, — ответила она. — Собственно, мы всегда были одни, просто не знали, не хотели замечать.

Она налила ему еще виски, но он как-то дернул головой, даже весь передернулся, не таясь отер платком слезы, потом взял чашку, поднял ее, поставил, даже не пригубив, оглянулся на дверь, за которой исчезла Эва Кленш. Господи, сколько же в нем горя, и что это за подвал, где он так долго сидел, а теперь будто бы выбрался? И кто его просил с налету жениться на всех подряд, детей ни от одной, только от Хильды, от первой, которая все-таки самая милая из всех, даже милее третьей, чей крестьянский гонор даже она, Кэте, переносила с трудом; под конец эта сельская красавица презирала все и вся, кроме себя, конечно, да и продалась совсем недешево.

Тольм по-прежнему держался недоверчиво, почти холодно, слезы Блямпа были ему явно противны; вид у него был, как никогда, решительный.

— Ладно, — сказал он спокойно, — можете объявить меня больным, формулировку придумаете сами. И мы забудем про тетю. Только мы двое — и могильщики.

— Без священника?

— Без. Он был бы против, и я считаю, это надо уважить. А кроме того, тамошний священник на могиле Беверло, — он рассмеялся, — да он, чего доброго, помрет со страху. Нет уж, не надо. Кэте справит молитву, тут, думаю, он не стал бы возражать. Может, Вероника объявится или позвонит. Я уверен: Кортшеде понял бы меня.

Тридцать три года, думала она, и не сказали друг другу ни единого путного слова, ни единого, все только банальности, анекдоты, шутливое соперничество из-за нее да еще — как там это у них называется? — «баланс взаимных интересов». Доллар, видите ли, упал в цене, а золото поднялось, потому что где-то путч, кто-то кого-то сбросил, даже неясно, кто и кого, она это лишь мельком в экономическом разделе «Листка» иногда замечала, да и какая разница, если потом доллар поднимется, а золото упадет, потому что будет новый путч и опять кто-то кого-то сбросит, не важно кто, не важно кого.

— Можешь поужинать с нами, — сказала она, — можешь, разумеется, и заночевать, если хочешь: комната твоя свободна, Кульгреве уже навел порядок.

— Нет-нет, — ответил Блямп, — спасибо, но нет. Вы даже представить не можете, что вы натворили с этими похоронами, какой переполох подняли, по меньшей мере сотню полицейских вы лишаете отпуска или выходных, Дольмера и Стабски лишаете сна, а Хольцпуке вас просто проклянет, у него и в Хорнауkene дел по горло. Это безрассудство, Тольм, то, что ты затеял, чистейшее безрассудство, — может, я тебя еще отговорю, а? Или тебя, Кэте, а ты его?

— Нет. Ты для этого приехал, или потому.. потому, что выбрался из своего подвала?

— Я приехал повидать вас, поговорить с вами, мы условились еще до того, ты же знаешь, но потом Стабски и Дольмер настоятельно меня просили воспользоваться случаем... Ты даже вообразить себе не можешь... это безрассудство, Тольм. Даже если администрация кладбища не проболтается и могильщики тоже — из ста полицейских хотя бы один проболтается наверняка.

— Ты, видимо, не вполне меня понял. В данном случае меня совершенно не волнует ни сохранение тайны, ни ее огласка. Я просто иду на похороны. Я всего лишь хочу предать мальчика земле, из которой он вышел и из которой я вышел тоже, вот и все. Никаких демонстративных намерений — ни таких, ни сяких; кроме того, я знаю, что Кортшеде написал

мне письмо в расчете, что я его получу, прочту и, возможно, сделаю выводы из прочитанного. Так что теперь я могу почтить его память и посмертную волю, только не поехав в Хорнаукен. А Генриха мы как-никак знали еще мальчиком, ребенком, нет, меня ты не переубедишь — может, тебя, Кэте?

— Нет, я бы, если позволите, даже сказала: меня и подавно. Я все равно бы пошла на эти похороны, даже без тебя. Лучше, конечно, с тобой.

— Учтите, это будет превратно истолковано, в корне превратно, вольно или невольно, все равно. Через три дня после выборов! А если, допустим, ты получишь письмо, тогда пере-думаешь?

— Может, оно у тебя в кармане?

— Да не злись ты так! Нет, у меня его нет, и я его не читал. Просто я прикидываю варианты. Ты в Хорнаукен. Кэте в Хетциграт — что же, ради бога, по мне, так пусть. Думаете, я, что ли, люблю эти пышные похороны?

— Поздно, Блямп, слишком поздно. Письмо так и так мое, но даже если бы мне его отдали, нет, я решился...

— Все-таки в Хорнауkene тебе надо быть по долгу службы...

— Которым я пренебрегу, что, как ты сказал, будет стоить мне головы. Брось, Блямп, хватит, пошли, поужинай, выпей с нами, отметим подвал, из которого мы оба выбрались, ты и я. Я знаю, меня объявят маразматиком. Да перестань, я не собираюсь чинить вам никаких затруднений с моей отставкой, дайте наконец Амплангеру дорваться. Я рад, что ты пришел, останься еще немного, может, картишки организуем? Я бы совсем не прочь.

— Нет, спасибо, мне пора. Надо еще с Хильдой поговорить, — кстати, у меня просьба. Ты не могла бы замолвить за меня словечко, Кэте?

— Могла бы, но не стану. Тебе это не поможет, а Хильду только обидит. Пора тебе понять: никто, кроме нее самой, это не решит. И кроме тебя. Потом, если придете к согласию, пожалуйста, а сейчас нет. Не забудешь к нам дорожку? Я имею в виду: после похорон.

— И ты еще спрашиваешь? Нет, ты правда сомневаешься?

— Уже нет. Теперь нет. Только не пытайся снова нас отговаривать.

— А я как раз хотел.

Она поцеловала его на прощанье, и они оба проводили его по лестнице до двора, где он сел в машину. Напоследок еще раз махнул рукой. Она подивилась, как бодро, почти не касаясь перил, Тольм одолевает лестницу.

— А теперь звони своему епископу, — сказала она и в ответ на его озадаченный взгляд добавила: — Насчет дома в Хубрайхене. Здесь нам оставаться нельзя.

XVI

Через час после сообщения о гибели Беверло, которое они выслушали по радио, разразилось нашествие: были усилены караулы, нагрянули журналисты. Часовые оцепили стену со всех сторон, с каждой стороны по трое, и он тотчас же позвал детей из сада, где они собирали орехи и яблоки, обратно в дом. Ясное дело, они охотятся за мальчиком, а может, думают, что Вероника объявится, и ждут, ждут — чего? Незадолго до этого пришла Эрна Бройер со своим любовником. Он сразу узнал ее по внешнему сходству с матерью и братом — несчастная, растерянная женщина, которая жаловалась на этот проклятый шум, шум, шум в городе и закрылась вместе со своим другом и Сабиной в спальне, откуда теперь доносились шепот и причитания. Он посоветовал ей пока что не выходить, переждать — на крайний случай в доме священника: ее вместе с другом мигом «отщелкают», вспомнят о ее деле, и она, хоть и совершенно ни при чем, угодит в такой переплет, из которого в жизни не выберется. После долгих и безуспешных попыток удалось наконец дозвониться до Ройклера, который разрешил в случае чего разместить нескольких гостей у себя в доме.

— Лучше я сам приеду и приму ваших гостей. Ну конечно, я знаю Эрну Гермес, разумеется, она может жить у меня,

и друг ее тоже. Я скоро приеду, не волнуйтесь. Вам всем лучше из дома не выходить. Нет, Анну я не беру.

Катарина предложила позвонить Гермесам и попросить, чтобы прислали молоко с кем-нибудь из внуков. Он на это не согласился. Нет, он пойдет сам, даже если его зафотографируют до смерти. Пойдет хотя бы ради того, чтобы разведать настроения в деревне, а может, и ради того, чтобы высунуть им язык или, вскинув кулак, крикнуть: «Социализм победит!» С четырехлитровой молочной посуды в руке.

Мальчик сообщение о гибели Беверло сперва не понял, потом задал очень странный вопрос:

— Сам? — И когда он кивнул, разрыдался, спросил про маму и, вцепившись в него, сквозь слезы прокричал: — Рольф! Рольф! Ты же мой папа!

— Да, я твой папа, и я останусь с тобой, и никуда не уйду. Вероника жива. Ты с ней скоро сможешь поговорить... Бев, он хотел, чтобы все так вышло. Поверь мне, он сам так хотел. А сейчас можешь пойти с господином Шублером наколоть дров, печку всю ночь придется топить.

Звонки, звонки. Отец, мать, Герберт, он всех успокаивал и умолял не приезжать.

— Нет, прошу тебя, Герберт, пожалуйста. Ты только угодишь под обстрел фотовспышек.

«Не волнуйтесь». Легко сказать, когда в довершение всего позвонил еще и Фишер, на которого напоролась Катарина. Он слышал, как она тихо сказала:

— Да, Эрвин, она у нас, сейчас я тебе ее дам, — и по ее лицу сразу понял, что Фишер сморозил какую-то глупость. — Ну, конечно, *господин* Фишер, если вы сами не тыкаете коммунистам и тем более не позволите, чтобы коммунисты тыкали вам, в таком случае, *господин* Фишер, я вам сейчас ее дам. — Но Сабина протестующе подняла руку, затрясла головой, и Катарина сказала: — Но ваша госпожа супруга не желает говорить с вами. Да, я ей передам: вы озабочены, родительские права.

В конце концов он распорядился печь пончики, ставить кофе, строго-настрого приказал никому не выходить из дома,

схватил бидон, не показал язык, не вскинул кулак, только выбросил навстречу орудийным разрывам фотовспышек красную эмалированную посудину и двинулся в путь, к Гермесам. Было темно, холодно и сыро, сеялся мелкий дождь, он забыл куртку и торопился. Но все равно опоздал, пришлось идти к Гермесам на кухню, чтобы кого-нибудь вызвать, он остановился в дверях, смущенно усмехнулся, покачал бидоном. Ему было неловко нарушать их трапезу — так дружно-весело расположились они за столом перед тарелками и кастрюлями, и он не понял толком, что — недоверие, любопытство или изумление — отразилось на их лицах. И испытал облегчение, когда молодой Гермес поднялся, кивнул и направился вместе с ним в молочную кухню.

— Надо бы вам сперва обогреться, — сказал он, когда они шли по двору.

— Да нет, я спешу. Они там все напуганы. Ждут.

— Скажите моей сестре, если хочет к нам — всегда пожалуйста, будем рады. У вас-то, наверно, тесновато.

— Я не хочу, чтобы ее сфотографировали и впутали в эту историю. От таких снимков потом век не отмоешься. Пусть переждет, пока вся свора не уберется — завтра, послезавтра. Священник обещал нам помочь.

— Он что, вернется?

— Да, хочет с вами со всеми поговорить — ради вас и приезжает.

— А тот — ну, этот, он был ваш друг?

— Да. Семь лет назад. В одном классе учились, потом в армии вместе, в артиллерии, потом в университете. Да, я его хорошо знал.

— А его жена?

— Была моей женой, раньше. Мы разошлись.

Он был рад, что Гермес вот так, в лоб, его расспрашивает, и не стал спорить, когда тот отмахнулся от денег за молоко и сказал:

— Сегодня нет. Скажите сестре, это для нее... и для ее дружка. Все обойдется, день-другой — и они отстанут. Вы-то знаете, что это за народ.

— Да, пришлось познакомиться, даже два раза. Я только за вашу сестру боюсь, за господина Шублера и за сына. Они там все время на изготовку, того и гляди калитку разломают или стену снесут — и все из-за мальчика. Спасибо вам, и от вашей сестры тоже. Ее, бедную, совсем допек шум, только и твердит: шум, шум, шум.

— Если совсем припрет, я скажу мальчикам, чтоб носили вам молоко.

На сей раз, ныряя под фотообстрел, он даже не стал закрываться бидоном. На секунду остановился, так его ослепило — перед глазами только силуэты, вспышки, — потом, почти наугад, рывком, распахнул калитку.

Шублер и Хольгер I в углу у печки укладывали дрова, Эр-на Бройер пекла пончики, неужто и правда у нее такое блаженное лицо или это просто от жары? Сабина и Катарина вязали, Кит и Хольгер II ползали по полу со своими зверями и кубиками, кофе уже стоял на столе, а он, усаживаясь между двумя женщинами, подумал о деньгах. Никого, судя по всему, финансовая сторона не волнует, но ведь прокормить столько ртов будет непросто: сперва пятеро вместо троих, потом шестеро, теперь вот уже все восемь, а ведь он никогда не брал денег у Кэте и отца, сколько ни предлагали. У Сабинины, ясное дело, ничего нет, она из тех, кто вообще живет без наличных, а от Фишера, это уж как пить дать, она и гроша не получит, разве что ежемесячное пособие на ребенка, если этот болван не выколотит свои родительские права. Пожалуй, Сабина все-таки слишком наивна, слишком не от мира сего. Есть тысяча способов и трюков, чтобы с ней разделаться — и с помощью «общественного мнения», и через суд, а Хольгер I, как ни крути, действительно «выкормыш террористов». Никак он не пробьется к мальчику, они на славу его обработали, да и застрашали, наверно, а уж Веронике-то точно пришлось выдержать настоящий бой за его освобождение. Ни звука, ни слова из него не вытянешь, мальчик держится с безупречной, но холодной вежливостью, говорит «спасибо» и «пожалуйста»,

с гордостью продемонстрировал, что уже умеет писать по-немецки, и только однажды, в ответ на какой-то случайный вопрос о Беве, сказал: «Он всегда был такой добрый, и...» — и тут же прикусил язык. Может, теперь, когда все накрылось из-за этих проклятых туфель, перестанет отмалчиваться. Странно, что Хольцпуке не появляется и не звонит. В конце концов, сейчас ведь под угрозой безопасность ребенка, а он один просто не в состоянии ее гарантировать. В окружении Бева и Вероники наверняка найдется группа психов, которые с самого начала не соглашались возвращать мальчика. И «колеса» наверняка уже крутятся, а Хольцпуке, вероятно, тешит себя иллюзией, что операция «колеса» не состоится. Хотя хорнаукенское кладбище расположено в самом центре зоны отдыха, где велосипедисты кишмя кишат, и голландская граница рядом. Они прикатят и в холод, и в ноябрьский дождь, там и финские домики, и крытые палаточные городки, и спортплощадки, и костровые поляны, а велосипедные прогулки под дождем сейчас стали чем-то вроде модного спорта — он же сам видел целые орды велосипедистов на похоронах Верены Кортшеде; он с ней в Берлине познакомился, вместе с Вероникой они иногда забегали к ней на чашку чаю. Хорошая девчонка, но втрескалась в модного левака и наложила на себя руки, когда выяснилось, что тот нацелился только на ее деньги. Мерзкий тип, прихлебатель вонючий, бросил эту тихую, грустную белокурую девчонку в Индии, оставил на бобах, когда понял, что совсем не так уж много у нее монет; а она губной помадой на гостиничном зеркале написала: «Социализм все равно победит!» — и приняла яд.

Сабина сдержалась, не заплакала, когда услышала о смерти Бева, только притянула к себе Хольгера I и прошептала:

— Вероника жива. Жива и вернется.

Шублер с Хольгером, как видно, отлично поладили, принесли еще дров, женщины совершенно спокойно сидели с ним рядом, дети возились на полу. Эрна крикнула от плиты:

— Дюжина готова, можем начинать! Каждому по полтора. С сиропом!

Снова стало уютно. Он помог Эрне разрезать пончики и разложить по тарелкам, передал ей привет от брата, рассказал о подаренном молоке и о «всегда пожалуйста».

— И Петер? — спросила она.

— Молоко предназначалось и ему.

— А «всегда пожалуйста»? Нет, правда?! Кстати, он вас знает, по Берлину, он тогда тоже швырялся камнями и помидорами.

— Да, я читал в газете. Именно поэтому ни ему, ни вам нельзя подходить даже к двери, пока эти щелкунчики не убралась. Там ведь не одни журналисты.

— Что же нам делать?

— Лучше провести ночь здесь на стуле, чем завтра утром красоваться в газете. Пойдемте на кровать сядем. Тарелок хватает, а вот со стульями проблема.

Сабина уступила Шублеру свое место на кухне, а сама села к Эрне Бройер и тихо спросила:

— Так это правда? Вы уверены?

— Да, я специально так долго ждала, чтобы уж наверняка, и только вчера пошла к врачу. Все совершенно точно — четвертый месяц. Получается, Бройер и тут меня надул: это не я, это из-за него. Интересно знать, откуда брались дети у его первой жены. Наверно, он ей тоже много чего позволял, «терпел», видите ли. Выходит, наш брак вроде как недействительный, может, теперь и отец с матерью подобрают. Я так хочу здесь остаться, не могу больше в эту квартиру, я там просто не выдержу.

— Найдется, найдется для вас и угол и работа. А я — я, наверно, и в самом деле уеду в Париж. Мне так жаль, так горько, что с вами все так получилось.

— Я сейчас по-другому об этом думаю, наверно, все это к лучшему. Неприятно, конечно, было, особенно Петеру. Но зато и для него кое-что прояснилось, и мы оба рады. Чудно, даже вслух сказать боязно, но ведь в конечном счете мы за все должны благодарить этих психов, преступников этих сумасшедших. Как подумаю — просто голова кругом, — а я все равно думаю: да, их, а еще полицию, это ж смех. Скорей бы только кончилась эта осада.

Но тут грянули колокола, выхватилась из темноты ярко освещенная церковь, в доме священника одно за другим позажигались все окна, даже в саду разом стало светло; все, как по команде, отодвинули тарелки, поставили чашки, кинулись в прихожую, Шублер распахнул дверь, дождь стало не только слышно, но и видно — и постового между домом священника и часовней.

— Не выходить и не высовываться! — резко крикнул Рольф, оттаскивая Шублера от двери. — Они же на стену залезли, только и ждут, чтобы кого-нибудь увековечить. Если кому и можно выходить, так это мне — мой портрет у них уже имеется. Это Ройклер вернулся, завтра будет произносить свою — уж не знаю — речь или проповедь. А вы, — он повернулся к Эрне, — выпитесь сегодня на широченной постели. В тишине и полном покое.

Когда Эрна спросила, нет ли какой игры — такой, чтобы всем сыграть, — он предложил «монополию». Она глянула на него с изумлением, смутилась, спросила:

— Как? «Монополия»? У вас?

Катарина, которая уже достала игру с полки и раскладывала на столе, засмеялась:

— Нам-то в первую очередь надо знать «монополию» и играть, играть без пощады, для детей это лучший вводный курс в ужасы капитализма. А то в школе они только ужасы социализма проходят.

Обычно серьезный Шублер улыбнулся, сказал, что пойдет взглянуть, как там дрова, не надо ли еще наколоть, на что Хольгер I огорченно заметил:

— Тогда придется тебе идти без меня, я буду играть, мы часто играли там, в... — Осекся, покраснел и, увидев, что все вопросительно на него смотрят, пояснил: — Ну, там, где я был, мы в это играли...

Сабине во что бы то ни стало приспичило «выйти на воздух», и она, невзирая на его неодобрительный взгляд и покачивание головой, все равно пошла; он отодвинул занавеску,

приоткрыл изнутри ставень, и все увидели, как зарево фотовспышек полыхнуло поверх садовой ограды. Сабина приостановилась, потом двинулась дальше, к часовне, но, немного не доходя, свернула к стене и показала фоторепортерам язык. Хорошо еще, подумал он, не вскинула кулак, это повлекло бы за собой ряд недоразумений, — впрочем, не столь уж крупных. Так или иначе, она все равно попадет на первые полосы, густой сад, ярко освещенная церковь, охранник на посту, — красивый будет кадр. Катарина, уже с игральными костями в руках, сказала:

— Ну, давайте бросим, кому начинать.

XVII

Нет, он не ограничился обычным инструктажем по карте, он сам, лично провел разводящих по маршрутам, с каждым подробно обсудил выбор постов, проверил поле обзора, шагами промерил перекрестки велосипедных дорожек, палаточные городки, костровые площадки. Дождь, конечно, многих велосипедистов удержит дома, многих, но не всех — некоторые, по сведениям, уже в пути. Он приказал проверять всех без исключения. Его предложение перекрыть вплоть до окончания похорон всю зону отдыха, к сожалению, не прошло. Дольмер посмеялся над его «турасами на колесах» и после разговора со Стабски отказал окончательно: будут, мол, неприятности с Голландией, плохая пресса, «чокнутые немцы» и все такое. Он же определил дислокацию двух бронетранспортеров: один в лесу за кладбищенской часовней, другой — там, где сразу несколько велосипедных дорожек выходят на проселок. Гробмёлер прибудет только завтра, в день похорон, ему с его людьми поручается охрана часовни изнутри, путь к могиле и сама могила. Кроме того, кто-то, по выражению Дольмера, «опять затянул экуменическую волюнку*», так что без католиков не обойтись, вероятно, и епископ пожалует,

* Экуменическое движение ратует за объединение христианских церквей.

а уж он-то своего не упустит и наверняка скажет несколько слов — ведь телевидение будет обязательно; и конечно же — он уже несколько раз имел удовольствие такое слушать, — будет говорить «об участии в страданиях», как всегда без понятия. Он-то уж точно знать не знает о Пташечке, видеть не видел изувеченного лица, слыхом не слыхивал про кошмарное письмо, которое уже стало чем-то вроде высшей государственной тайны. Все, кто знает о Пташечке, об изуродованном лице, о существовании письма, но не о его содержании — хотя он уверен, что те двое полицейских проболтались, своим-то сослуживцам уж точно, — все, кто хоть что-то об этом слышал, в очередной раз испытают чувство неловкости. Жертвенная жизнь, жертвенная смерть... Нет, такие вещи никак не укрепляют моральный дух его подчиненных, от этого только ненужные сомнения, стыд и цинизм.

Он чертыхнулся, он чуть не лопнул от злости, когда, и не от кого-нибудь, а — это надо же — от хозяйки гостиницы узнал, что они и вправду взяли Беверло в Стамбуле и что ему велено срочно звонить Дольмеру, который, разумеется, уже успел провести без него пресс-конференцию; хозяйка слушала пресс-конференцию по радио и запомнила что-то вроде «благодаря сведениям о некоторых традиционных покупках, которыми мы располагаем из собственных информированных источников».

Черт возьми, ведь есть же рация, есть вертолеты, но Дольмер, ясное дело, не пожелал ни с кем делиться таким жирным куском, а ведь смеялся, когда выслушал его гипотезу относительно этих самых «традиционных покупок». И уж вовсе он не выдержал, чертыхался громко и от души, когда Дольмер рассказал ему о безумной затее старого Тольма: не меньше полусотни полицейских придется согнать в эту вонючую угольную дыру! Ведь там, чего доброго, соберется вся орава, будет столпотворение, а если еще и двое старикашек заявятся, это будет — да, скандал, а милых старичков это просто доконает.

— Этого нельзя допустить, господин Дольмер, — сказал он. — В крайнем случае силой: перекрыть проезд, подстроить легкую аварию, как угодно, но этого нельзя допустить. Если уж вы не в состоянии убедить его разумными доводами...

— Может, прикажете мне его арестовать?! — взвился Дольмер.

— Да нет, я же говорю: перекройте проезд, инсценируйте парочку аварий, несколько обгорелых колымаг поперек проезжей части — и все в ажуре.

— Он пойдет пешком.

— Не успеет — похороны кончатся. Мне и так придется отменить все сборы, отозвать людей из отпусков, но дело даже не в наших служебных затруднениях, нам не впервой, тут надо думать о политических последствиях.

— Ну, все-таки они знали этого Беверло чуть ли не с пеленок, он был им почти как сын, во всяком случае долгие годы. Вы кое о чем забываете, милейший Хольцпуке... вы меня слышите? Вы забываете о письме! Какое из политических зол для нас хуже: если он получит и опубликует письмо или если он, скажем так, в меланхолическом помутнении рассудка отправится не на те похороны? Письмо, если он его напечатает — а он его напечатает, — это крышка всем нам, всем, кто ни на есть, а не те похороны — это крышка только ему. Стабски совершенно со мной согласен, мы уж тут думали-гадали, и так и эдак крутили, а письмо, стоит хоть кому-то разнюхать, что оно вообще существует, тут же будет предано огласке. Ну, что скажете?

— И все равно я бы притащил со свалки несколько ржавых колымаг и побросал на всех подъездах к кладбищу. Разумеется, привинтив свежие номера. На всякий случай я все равно прикрываю сборы. А как вам понравились туфельки тридцать восьмого размера?

— Великолепно, почти гениально! Этот факт не пройдет бесследно для вашей карьеры. Но от одной заботы, полагаю, мы теперь избавлены: операция «колеса» не состоится.

— Вот в этом я не совсем уверен. Она-то ведь улизнала, и не забудем: есть еще сообщники, окружение.

Он много раз порывался позвонить в замок, то и дело вздыхал, снимал и снова клал трубку, пока наконец, собравшись с духом, буквально не заставил себя набрать номер и обмер от ужаса, услышав ее голос, сказавший:

— Да? — Он все еще медлил, и она повторила: — Да? Я слушаю! Кто это?

Он робко назвал себя и торопливо добавил:

— Не пугайтесь. Хотя вы, наверно, догадываетесь, зачем я звоню.

— Да, я догадываюсь. Но на сей раз даже вам со всем вашим шармом не удастся нас отговорить. Нет, дорогой Хольцпуке, нет, мой славный боевой товарищ, меня другое интересует: когда я получу вознаграждение? Вы же знаете, за туфли, благодаря которым в конечном счете... да, странно, я оплакиваю его смерть, но не скорблю о том, что он умер, понимаете? Ну, а уж туфли, вознаграждение — так я могу рассчитывать?

Черт подери, думал он, только не плакать. Он еле сдержал слезы, ведь он все слышал, все, о чем тогда, точно влюбленная парочка, шептались старики: прелюбодеяние и таинство, мадонны и дети, все. Хотя все, буквально все резоны, даже те, которые принято называть человеческими, были на его стороне. Он тоже до конца дней не забудет эти туфли, тридцать восьмой размер, да и потом — он просто полюбил этих стариков, его, пожалуй, даже больше, чем ее, и если отбросить политические и служебные соображения, получается, что это правильно, просто замечательно, что они идут на эти похороны. Он уже раскаивался, что подбросил Дольмеру идею насчет аварии. С того станется, он, чего доброго, и вправду воспользуется этим трюком, а потом не постыдится — перед Стабски или еще кем — приписать себе авторство. Хотя ведь и дураку ясно, что все это пустой номер: старик тогда вытребует письмо, а там такое понаписано — атомные станции, круговая порука, взятки, прибыли, прирост, «прогнозы», экспансия, — это если не полный крах, то уж наверняка начало краха. А старик, как ни крути, все еще владелец «Листка». Ну, а «Листок» — это полторы дюжины влиятельных газет, кото-

рые — чего не бывает? — вдруг да и тиснут разок что-то крамольное, как знать.

— Вы меня слушаете? Или вам слишком стыдно?

— Мне очень стыдно, дорогая госпожа Тольм, и я не стану, хотя и мог бы, докучать вам дежурными оправданиями: мол, так было надо, — нет, не стану. Мне очень стыдно, а насчет вознаграждения — вознаграждение полагается за добровольное содействие, а не за невольное, увы...

— Так вы завтра у нас будете?

— Нет, я не могу отсюда отлучиться. Но послезавтра мы обязательно увидимся. Я не стану от вас прятаться, и... простите меня.

— Могу я просить вас об одном одолжении?

— Да, разумеется.

— Позвоните в Хубрайхен. Пусть никто не выходит из дома, никто, слышите, и гости тоже. Цуммерлинг готов открыть огонь в любую минуту.

XVIII

В кафе, когда он помогал ей снять пальто, Хельга взяла его за руку и сказала:

— Это хорошо, что мы пока на три недели расстанемся. Эти сборы в Штрюдербекене тебе только на пользу, да и мне тоже. Я уже все уложила.

— Придется, родная моя, все распаковать обратно. Плакали сборы. Ты же слышала новости?

Он заказал кофе и чай, попросил меню, взял у нее из рук зажигалку, дал ей прикурить, выудил сигарету из ее пачки.

— Раз уж ты опять начинаешь курить, плохо твое дело, а новости я, конечно, слышала. Они взяли этого Беверло, он убит, а она сбежала. Вот только что с мальчиком?

— Мальчика они вернули. А она вскоре объявится. Так что не миновать очередной акции, Хельга, ведь это не просто два человека, это целая разветвленная сеть, огромный лабиринт со своими потайными ходами, лазейками и ловушками.

Надеюсь, они отменят сборы сразу, уже сегодня, чтобы не поднимать нас, как тогда, среди ночи. — Он умолк, переживал, пока официантка поставит кофе и чай. — Да, немножко кросса, футбол, стрельба, теория — отдохнуть бы мне, наверно, сейчас не помешало. Но в эту пору в Штрюдербекене не больно-то весело: в лесу холодно, мокро, голо. И вообще, по мне, лучше бы настоящий отпуск: никуда не уезжать, посидеть дома. Отоспаться, поговорить по душам с Бернхардом, в кино прошвырнуться, с Карлом подискутировать... с тобой поговорить. Что ты имела в виду, когда сказала, что мои сборы и тебе на пользу?

— Просто расстаться с тобой по-настоящему, а не как сейчас, когда ты и здесь и не здесь, а где-то далеко-далеко, чуть ли не в Африке. Не говорить — просто так, без конца, ни о чем. Не знаю, зачем тебе это: ведь она в тебе, а ты в ней, я это не о ребенке, которого она ждет, и потом, если бы не мальчик, если бы не Бернхард, ты бы давно к ней ушел, разве нет? Меня одну быстро сбросили бы со счетов, очень быстро. Нет, лучше я пока обожду распаковывать твои вещи, может, они тебе пригодятся... когда ты надумаешь к ней уйти.

Она улыбнулась, он придавил в пепельнице недокуренную сигарету. Потом передал ей меню.

— Будешь что-нибудь есть?

— Нет, спасибо, а ты?

— Нет. — Он взял у нее меню и положил возле своего стула. — Расстаться, говоришь?

— Да. Может, тебе надо какое-то время пожить с ней, чтобы понять, что с ней ты жить не сможешь. Ты ведь мечтаешь только об одном: быть с ней.

— Да, — ответил он, — да, — вспомнил Сабину, ее мокрые волосы, когда она ночью принесла ему поесть и поцеловала его, а потом еще раз и еще, уже после, когда он, перед тем как сменяться, поставил пустую мисочку на ее подоконник. — Да, но — ты можешь смеяться — у меня сердце разрывается, когда я думаю о тебе, когда я думаю о Бернхарде... и еще о том, что придется оставить службу.

— А я и не думаю смеяться, уж немножечко-то я тебя знаю, но в одном я уверена: ты уйдешь с ней, уйдешь за ней.

— Может, ты уверена и в том, что я вернусь?

— Нет, не уверена, хотя, конечно, надеюсь, да. Да, я надеюсь. А тебе, наверно, страшно — вот так, решиться?

— Да, страшно, но я решусь. Меня только заботят... ну, практические вещи: наши долги и еще — как мне быть, если придется бросить службу, уйти из полиции?

— Что ж, в одном можешь быть уверен и не сердись, что я так говорю: тогда тебе, наверно, не придется платить алименты. Странно, у меня на нее совсем нет зла, у нее такой приятный голос, и она так счастлива со своей дочуркой. Пойду работать, поживу сперва у Монки, у нее и работа для меня найдется, и Бернхарду будет хорошо. А ты — нет, из полиции ты не уйдешь. Я к Хольцпуке пойду, к Дольмеру, если надо — к Стабски прорвусь, в конце концов, торчать целыми днями у бассейнов, на приемах, по обувным магазинам таскаться, нет, тут не только твоя вина, если это вообще твоя вина. Нет уж. В конце концов, я вышла замуж за полицейского, и когда он ко мне вернется, если он ко мне вернется, — пусть полицейским и останется. Пусть засунут тебя в какое-нибудь акулье отделение, я имею в виду — где ловят и тех финансовых акул, которые и нас облапошили. Только прошу тебя, Хуберт, уходи поскорей.

— Да, — ответил он. — Сегодня же. Отправляюсь прямо туда и увезу ее, ведь пока что я ее телохранитель. Машину оставляю в Хубрайхене, ты потом заберешь.

Он оставил машину у ворот, помог Хельге отнести покупки. Навстречу выбежал Бернхард с запиской в руке:

— Папа, тебе нужно позвонить по этому номеру.

Он потащил сына с собой к телефону и, набирая номер, обнял его за плечи.

Это был домашний телефон Люлера, он вспомнил, хотя почти не общался с ним вне службы, да и не хотел общаться.

— Ты, конечно, уже в курсе? — спросил Люлер.

— Догадываюсь, — ответил он. — Сборов не будет.

— Точно. Кладбище, и не в Хорнауке, а в Хетциграте. Нам поручено закупорить эту дыру. Совершенно секретные похороны с участием абсолютно засекреченных лиц, включая покойника. Ради такого случая даже в форме. Сбор в 7.30 возле выезда на Тольмсховен. Хольцпуке шлет привет. Командовать парадом будет Дольмер собственной персоной, незримо, разумеется, наверно с ратуши, а то и с вертолета. Весьма важный покойник, и отважный, я тебе скажу, — не в гробу, разумеется, а при жизни. Так что до завтра. А сборы не отменены — откладываются.

— Меня не будет... я буду уже далеко... я...

— То есть как? Заболел, что ли?

— Нет. Я уезжаю.

— С Хельгой и парнем?

— Нет.

— Один?

— Нет. Скажи Хольцпуке, пусть ищет мне замену.

Хельга уже вынесла к машине чемодан и сумки, открыла багажник.

— Форма тоже там, — сказала она. — Я не стала вытаскивать, — она улыбнулась, — вдруг понадобится, мало ли что, наперед не угадаешь. Ну, а теперь тебе больше всего на свете хотелось бы остаться, верно?

— Да, но я поеду.

— Только с Бернхардом не слишком торжественно прощайся, не так серьезно, ладно? Я ему скажу, что у тебя особое задание, что-нибудь секретное.

— Ну да, пока газеты не пронюхают и не развонят, какое это «особое задание». Нет уж, что-нибудь другое придумай, без этих слов, ладно?

Он посмотрел ей прямо в глаза, не узнавая этого голоса, в котором перемешались горечь, грусть и бодрое напускное безразличие.

— Не забывай, — сказала Хельга, — ей тоже нелегко, ей совсем не так просто.

Он только махнул мальчику, который как раз вышел на крыльцо, вскочил в машину, завел мотор и рванул с места.

XIX

Не отрываясь она смотрела на газетную фотографию, а слез все не было. Сперва ей бросились в глаза обувные картонки, много, целая куча коробок, некоторые прострелены, а на одной она отчетливо разглядела проштампованную цифру 38; сотрудник безопасности, явно немец, стоял за этой грудой картонок, склонившись над чем-то, и этим чем-то был Бев. С самого начала она твердо решила неукоснительно выполнить все, все пункты инструкции, кроме самого последнего, и вот теперь спрашивала себя, имеет ли право, порядочно ли это — сейчас, почти у цели, пойти на попятный; не в том ли теперь ее долг, чтобы отдать Беву последние почести, последнюю дань верности, доказав ему, доказав на краю его могилы, что его план осуществим во всех пунктах, от начала и до конца, что никакая мышиная возня с безопасностью им не поможет, не помогла бы, если бы она заранее не решила самый последний пункт инструкции не выполнять: сунуть им бомбу — заряженный велосипед — прямо под дверь, а уж после объявить отбой.

Дождь нудно барабанил по пластиковой крышке киоска-закусочной на восточной окраине Энсхеде; она заказала еще порцию биточков, попросила хлеба, взяла себе горчицу, заказала еще кока-колы. Всего десять километров до Хорнаукуена, а ей не дает покоя одна мысль: кого из полицейских — голландца или немца — осчастливить славой ее ареста или ее добровольной сдачи? Бывают случаи, она сама читала, когда такая слава отнюдь не приносит счастья: человек совсем теряет голову — кутежи, скандалы, порно, развод. К тому же она не вполне уверена, сумеет ли объяснить голландскому полицейскому всю опасность велосипеда. Еще примут ее за

сумасшедшую, а с этой штуковиной шутки плохи; немцы же, наверно, все-таки получили ее сигнал насчет «колес» и быстрее сообразят, что к чему.

Пока все шло по плану: велосипед, как и было условлено, с нежно-голубым бантом у седла, в самом деле стоял в Энсхеде перед зданием главпочтамта; чем-то жутким, даже потусторонним дохнуло на нее при мысли, что у него столько тайных помощников и он со всеми поддерживал связь. Бев настойчиво вбивал ей в голову, что велосипед «начинили не голландцы, а именно немцы». «Это на тот случай, если тебя сцапают и ты расколешься. Так что запомни: немцы! Чтобы они не вздумали затеять экспорт своей вонючей безопасности». Ее паспорт не вызвал ни малейших подозрений, а в голубой ушанке искусственного меха, в круглых очках и желтой нейлоновой куртке она и впрямь запросто сойдет за голландскую учительницу или студентку. Ее завораживала игра, но и верность его безупречному плану, хоть сам он и не позаботился вовремя отослать обувные коробки обратно в магазин. В Хорнауkene ей надо как ни в чем не бывало ехать напрямик к кладбищу и требовать, чтобы ее пропустили. В конце концов, у нее паспорт на имя Кордулы Кортшеде, она родственница по голландской линии и приехала навестить могилу бабушки. Уж там видно будет, хватит ли у них жестокосердия запретить скорбящей внучке доступ к могиле любимой бабушки, но если жестокосердия у них все-таки хватит, она должна закатить сцену и спокойно дать себя увести. Главное было не это, главное — приткнуть велосипед под буками между воротами и часовней, а самое главное — не забыть сперва освободить фиксаторы на ручках руля и до отказа закрутить обе ручки вовнутрь, левую направо, правую налево. Он дал ей слово, что ничего, абсолютно ничего не случится, пока фиксаторы не сдвинуты и ручки не закручены вовнутрь до отказа, да и тогда лишь через сорок пять минут.

Главное было — независимо от того, пропустят ее или нет, — что в предполагаемом столпотворении на велосипед

никто не обратит внимания. Она удостоверилась, что фиксаторы на месте, но, конечно, она и не подумает их сдвигать, ни за что. Просто уж больно заманчиво и в самом деле доехать до кладбища и только там потребовать к себе главного полицейского босса: заманчиво и в самом деле навестить могилу Верены Кортшеде, но это наверняка не пройдет, она ведь лежит в семейной могиле, куда сегодня положат и ее отца. Она вспомнила о тех похоронах, на которые они все тогда поехали, все, и Бев тоже, и Рольф, и Катарина, — солнечный день, роща, — наверно, это с того раза он так четко запомнил кладбище, что даже описал ей местонахождение могилы ее мнимой бабушки: «В правом углу, в сторону леса, предпоследний ряд, так что прямо туда и иди, а потом ныряй в лес».

Еще заманчивей телефонная будка возле закуской: надо срочно позвонить Рольфу или Катарине, объяснить, что мальчик, ее сын, Хольгер I — это живая бомба; он стал ей совсем чужой, наверно, даже своим родителям и родителям мужа она не кажется настолько чужой, слово «отчуждение» воплотилось в нем и вошло в ее жизнь каким-то совсем новым смыслом. Будто они — только кто? кто? кто? наверно, и Бев тоже — нашпиговали его чем-то, что гораздо опасней вещества, из которого мастерят бомбы. Хольгера надо срочно — да, лечить, приручать. Как, кому — это уж пусть Рольф думает, может, Катарина ему посоветует. Ведь обронил же кто-то «бомба в мозгу», тут не нужны ни динамит, ни взрыватели, и, должно быть, у мальчика в мозгу бомба, которую обязательно надо — но как? как? как? — обезвредить. Приручать — не слова, только руки, наверно, способны его исцелить.

Но на этом расстоянии ее, видимо, сразу запеленгуют, нет, она не даст себя схватить, она явится сама, она им докажет, как просто было докатить колеса досюда и как просто было бы докатить их до самого кладбища. Наверно, все-таки лучше последнюю партию этой игры даже не начинать, да,

отказаться от последней подачи — ведь это может затянуться не на один час, а то и не на один день. Лучше всего, наверно, сдать на границе, на немецкой стороне. А так хотелось зайти напоследок на могилу к Верене Кортшеде. Жалко, жалко ее до слез — и все из-за этого поганого псевдолевака, который подобрал ее и снова бросил, как только выяснилось, что совсем не так много у нее денег. Ах, этот неизменный жиденский чай у Верены Кортшеде, тогда в Берлине, — и это при том, что ее отец, по слухам, один из крупнейших чайных магнатов; ее с детства держали в черном теле, у них в доме скупались не из скупости, а из принципа, это так похоже на ее желчно-бледного папашу, которого сегодня хоронят. А Тольм, наверно, произнесет замечательную речь. Нет, последнюю партию играть не стоит, она выходит из игры.

Она пристроилась к группе из четверых велосипедистов, которые дружно катили по направлению к границе. Дождь, как видно, был им только в удовольствие, они даже пели, крутя педалями. На голландской границе их пропустили небрежным взмахом руки, на немецкой остановили и подвергли строжайшей проверке: удостоверения личности, багаж, даже велосипеды. Нет, это были не только пограничники, но и полиция, с мотоциклами. Рация, переговорные устройства. Она отделилась от группы и подошла к полицейскому, который стоял в сторонке с мотоциклетным шлемом в руках и наблюдал за проверкой. Сбросила капюшон, сняла очки, ушанку и сказала:

— Я та, кого вы ищете. Дело серьезное и очень срочное, свяжитесь с вашим шефом и скажите ему: колеса прибыли, Вероника Тольм доставила их до самой границы.

— Бросьте эти шутки, — ответил полицейский.

— Это не шутка, — сказала она. — И пожалуйста, осторожней с моим велосипедом, он заряжен. Пожалуйста, свяжитесь... — Он все еще колебался, и она тихо добавила: — Ну, смелей, вы не опозоритесь. Честное слово. Это правда я.

Тогда он наконец взял переговорное устройство и произнес в микрофон:

— Я Вернер-восемь, Орхидею-один срочно. — Голландцы тем временем проехали, ее обступили остальные полицейские. Она услышала, как он докладывает: — Тут одна женщина, молодая, уверяет, будто она Вероника Тольм, и просит вам передать: колеса прибыли, она доставила их до самой границы. — Он протянул ей прибор и сказал: — Говорите.

— Алло, — услышала она голос, — с вами говорит Хольцпукке, вам теперь часто придется иметь со мной дело. Что с велосипедом?

— Он заряжен, не знаю как, я умею только снимать предохранитель. Прикажите его забрать, и пусть никто ничего не крутит.

— Я буду через несколько минут. Полагаю, вам нужно позвонить. Я узнал вас по голосу.

— Да, я хочу позвонить, если вы позволите.

— Разумеется. Дайте-ка мне еще разок нашего сотрудника.

Она вернула прибор полицейскому, услышала, как ему что-то приказали, потом полицейский тронул ее за плечо и произнес:

— Пойдемте, я провожу вас к телефону.. Остальное потом...

XX

Она повернула ключ, вынула его из замка, опустила в карман и только тут услышала тишину. Охранников нет, фотографии и журналисты тоже куда-то подевались, и Хольгера-старшего не видеть — не слышать, как, впрочем, и Сабины, и Кит, и Бройер с ее другом, — вообще ни души. Рольф с Хольгером-младшим отправился к врачу, потом за покупками, раньше часа они не вернуться. По-прежнему шел дождь, правда, уже не такой сильный, и она на миг замерла, прислушиваясь: ни звука, даже яблоко не упадет с ветки, орех не стукнет по цементу дорожки; откуда-то издали, казалось, бог весть откуда, слабо доносились голоса двойняшек Польктов, мать уводила их домой, и они что-то радостно щебетали. Она зачем-то еще раз проверила, заперта ли дверь зала в доме священника, и почувствовала, что ей страшно — страшно пройти эти сто

двадцать шагов через сад. С опаской, как по тонкому льду, она двинулась по садовой дорожке, а в голове сами собой уже прокручивались нехитрые логические комбинации: раз нет охранников — значит, нет и Сабины, а раз нет фотографов — значит, нет и Хольгера-старшего, а раз... Она вздрогнула, когда из лачуги навстречу ей вышел Ройклер, и ей почему-то сразу подумалось: «горевестник». Он и вправду как-то вымученно улыбнулся, подойдя к ней и беря ее за руку; вид у него был изможденный, и от него пахло сигарой.

— Да, — сказал он, — не волнуйтесь. Тут много всего произошло. — И стал рассказывать: сперва о том, как отправился с Бройер к ее родителям, и о том, что «блудным дочерям приходится куда тяжелее, чем блудным сынам»; поведал — еле слышно, почти шепотом — о том, что Вероника сдалась полиции и уже звонила, умоляла глаз не спускать с Хольгера-старшего, но слишком поздно, мальчонка к тому времени, сразу после ухода Рольфа, успел улизнуть и, словом — ну да, сумасшедший дом, — упротил какого-то фотокорреспондента отвезти его в Тольмсховен, а там, ну, словом, устроил поджог, пока господин Тольм с женой хоронят в Хетциграте Беверло.

— Много всего произошло, — сказал Ройклер, — но ни с кем ничего не случилось. — А в довершение всего ее невестку с дочкой увез какой-то полицейский в форме, охранники приветливо с ним поздоровались, явно признав в нем сослуживца и даже не спросив, какое у него задание, а сейчас как раз выяснилось, что это если не похищение, то, во всяком случае, несколько сомнительная акция, не то чтобы уголовно наказуемая, но сомнительная, и «степень ее наказуемости в дисциплинарно-правовом отношении сейчас уточняется». Ройклер улыбнулся и повторил: — Да, произошло много всего, но ни с кем ничего не случилось. Правда, дома вас поджидает гость, который не имеет ни малейшего отношения ко всему, что произошло, но с ним-то как раз кое-что случилось: это ваш приятель Генрих Шмерген. А самое главное: ваша невестка Сабина очень хотела вас за все

поблагодарить и попроситься, но обстоятельства не позволили — все было очень спешно. Она, — он снова улыбнулся, — просила меня непременно вас дождаться, все вам объяснить и передать, что она очень надеется на скорую встречу. Кстати, если вы еще не догадались: этот полицейский — ее любовник, отец ее будущего ребенка. Ну что, немножко много всего, да?

— Да, — согласилась она, — пожалуй, многовато.

Придерживая под руку, он повел ее к дому, поведав по пути о долгом телефонном разговоре с большим полицейским начальником, который охарактеризовал «этого господина Тёргаша» как особенно надежного сотрудника, известного своей набожностью, снискавшей ему как насмешки, так и уважение. Потом Ройклер как бы ненароком поразмышлял вслух о том примечательном обстоятельстве, что все четверо действующих лиц, замешанных в этой истории, или, скажем так, причастных к ней «в таком странном сочетании — ваши родители, ваша невестка и этот молодой полицейский, — теперь, надо полагать, вне опасности».

— Ну, а сейчас мне пора домой, к жене. А вы позаботьтесь о молодом человеке, он давно вас ждет.

Сидя перед полной пепельницей и пустой кофейной чашкой, Генрих Шмерген, заикаясь, рассказывал, как он ехал в автобусе из Кёльна в Хубрайхен и читал книгу под названием «Путь Кастро»; сидел, никому не мешал и совершенно не обратил внимания, что все вокруг читают сегодняшние газеты с сообщением о гибели Беверло; и вдруг, на подъезде к Хурбельхайму, его поразила мертвая тишина в автобусе, он поднял глаза и увидел, что все безмолвно и враждебно уставились на него и на его книгу — молча, угрюмо, тяжело, «будто готовы удавить меня на месте», и он испугался, по-настоящему испугался, нет, честно, он со страху чуть в штаны не наложил, в Хурбельхайме сразу же вылез и остаток пути прошел пешком, а теперь хочет только одного: уехать, просто уехать, все равно куда.

— Куда-нибудь, где можно читать книги, даже в автобусе, не пугаясь вот так, до смерти. Я все понимаю: можно спорить, можно ругаться, можно — ну я не знаю что, — но хоть как-то аргументировать! Но эти молчаливые взгляды... о, господи! Катарина, по-моему, вы обманываетесь, мы все обманываемся, нет, уеду, хотел только вот попрощаться, поблагодарить и, если можно, попросить немножко денег. Буду искать страну, где каждый может читать в автобусе что ему заблагорассудится.

— Куба? — вырвалось у нее, и она чуть не прикусила язык от досады: вопрос получился подлый.

— Нет, — ответил он. — Может, Испания. Не знаю — лишь бы прочь, прочь отсюда. Немедленно. Сегодня же, сию же минуту, я даже домой не зайду проститься. Передай привет Долорес и Рольфу и одолжи мне немного денег, на первые дни, я сперва в Голландию поеду, а уж там я готов до конца дней делать самую черную работу, по мне, так и дерьмо возить, но я тебе все вышлю.

Она достала из сумки кошелек, положила рядом с его чашкой, раскрыла и сказала:

— Бери половину. — А когда он сконфуженно потупился, подбодрила: — Ну, живо, нечего стесняться, давай, — потом сама вынула деньги, вытряхнула мелочь на стол, быстро, одним пальцем отсортировала направо и налево одинаковые бумажки и монеты, поделила полсотни, ткнув купюру в одну кучку и переправив оттуда двадцать пять марок в другую, подсчитала — по шестьдесят восемь на брата — и придвинула к нему оставшиеся медяки, тринадцать грошей. — Это тоже тебе, пригодится, глядишь, чашка кофе, а может, и буханка хлеба или десяток сигарет, я не знаю, почем в Голландии сигареты, и спички, много спичек, бери. — И поскольку он все еще смущенно жался, сунула все ему в карман и сказала: — Умеешь просить — умей и брать. Ничего, еще научишься, как и многому другому. Жаль, мы тебя очень полюбили. Может, вернешься еще...

И заплакала, увидев, как он под дождем понуро бредет к калитке в нелепо сплющенной шапчонке, спрятав голову в воротник куртки. Книгу — «Путь Кастро» — он забыл, она лежала на столе подле кофейной чашки.

Сабина все-таки успела напоследок порезать овощи для супа и почистить картошку, ей осталось только поставить кастрюли на огонь и вынуть сардельки из холодильника. Когда Рольф с малышом показался у калитки, она все еще плакала.

XXI

Со стороны казалось, что население Хетциграта срочно эвакуировано и обезлюдившая деревня взята под строжайший контроль: на всех углах полицейские, в форме и без, на подступах к кладбищу — конная полиция, и даже школьный двор, что на полпути от церкви к кладбищу, будто вымер. Вероятно, по такому случаю в школе отменили занятия. За оконными стеклами черно, ни шевеления, ни звука; на рыночной площади только несколько полицейских с рациями. И тишина. Очевидно, здесь готовились встретить нашествие, которое не состоялось: орды длинноволосых юнцов, девиц в длинных плащах, так называемое «окружение» — но страхи явно не подтвердились. Он был совершенно спокоен. Кэте — с венком на коленях — нервничала. И Блуртмель был сам не свой: на всех перекрестках озирался по сторонам, направо, налево, будто все ждал чего-то, удивляясь, почему ничего не происходит. За витринным стеклом мясной лавки Брайлига промелькнул сам Брайлиг, один из его школьных друзей; рядом с Брайлигом — покупательница.

— Надо было тебе пальто надеть, — беспокоилась Кэте. — Вон холод какой, да и сырость.

— На пальто ордена не нацепишь, а я подумал: сегодня как раз подходящий случай покрасоваться в орденах.

Блуртмель, большой дока в вопросах протокола, сказал ему, что, разумеется, вообще-то на похороны можно надевать ордена, но на такие похороны — это уж не по его части. Вот

орденские ленты, сказал Блуртмель, ни в коем случае, ленты и Кэте отсоветовала, зато решение надеть ордена одобрила.

— Я просто диву даюсь, Тольм, сколько прекрасных идей родилось у тебя за эти два дня, — сказала она. — А идти там, слава богу, недалеко, от покойницкой до могилы Беверло всего метров тридцать, от силы пятьдесят. Там рядом и мои родители лежат, и родители родителей, и родители тех родителей, а предков Беверло там лежит не меньше, чем Шмицев, это ведь один из старейших родов в деревне, они тоже из крестьян.

Вертолет сперва кружил, потом завис над ними, когда Блуртмель помог им выйти из машины. Все-таки ордена — довольно громоздкие штуковины, золото с красным, а один, какой-то иностранный, вообще пестрый, почти с блюдце величиной. Вопреки правилам он снял их с лент и попросил Блуртмеля приколоть английскими булавками.

Она не захотела отдать ему венок — сирень и желтые розы, без ленты, — но когда один из могильщиков пристроил венок на голую, без единого цветка, повозку с гробом, возражать не стала. Дальше все пошло опроретью, они едва попевали за повозкой, и вот уже могильщики, приподняв гроб на заранее приготовленных канатах, опустили его в землю. Вертолет висел точно над ними. Тольм шепнул:

— Твори молитву, Кэте.

И она вполголоса прочла «Отче наш», а вслед за ним еще и «Аве», маленькой лопаткой бросила в могилу первые комья земли, передала лопатку Тольму, посмотрела на надгробный камень. Большинство надписей закрыл холмик свежевырытой земли, и только самую верхнюю строчку можно было разобрать: «Ульрих Беверло, крестьянин из Айкельхофа, 1801—1869».

— Пойдем, — позвала она, но Тольм не двинулся с места. Он заглянул в могилу, посмотрел на небо, потом оглянулся на Блуртмеля, который о чем-то тихо беседовал с полицейским у часовни.

— Кэте, — произнес он, — мне надо кое-что тебе сказать.

— Да?

— Ты знаешь, я всегда тебя любил. Так вот, ты должна знать еще кое-что.

— Что именно?

— Что социализм победит, какой-нибудь социализм победит обязательно...

Вертолет улетел, едва они дошли до часовни. Блуртмель бросил своего полицейского — Тольм теперь признал в нем молодого Люлера, которого в свое время представил ему Хольцпуке. Но он видел его только в штатском, в форме тот выглядел моложе.

— Ты забыл отблагодарить могильщиков, — сказала Кэте.

Он снова пошел к могиле, достал бумажник и протянул одному из парней сотенную.

— Это вам на двоих.

Он успел заметить, как вертолет приземляется на школьном дворе. Но едва он обернулся, как из часовни выскочил нахальный мальчишка-фотограф. Должно быть, он там прятался, не иначе как с санкции Хольцпуке, а то и Дольмера. Тот самый шкет, который совсем недавно, в день выборов, отщелкал его с сигаретой в зубах, ну, а уж сейчас он, Тольм, считай что нарвался на прямое попадание: с цилиндром в руке, вся грудь в орденах, за спиной — надгробья и могила, на которой явственно можно прочесть фамилию Беверло. Мальчишка не улыбался, не гримасничал, он хладнокровно отстрелял свою серию, потом отщелкал его еще раз, теперь уже вместе с Кэте, когда они подходили к машине, — шелкал, шелкал, шелкал...

— Этот сделает карьеру, — сказал он Кэте и Блуртмелю. — Этот далеко пойдет.

По-настоящему он испугался, только увидев возле машины Дольмера рядом с Блуртмелем, который приготовился открыть им дверцу. Вид у Дольмера был потрепанный, изрядно

потрепанный. На секунду он замешкался, не зная, к кому подойти — к нему или к Кэте, выбрал Кэте, подошел и сказал:

— День плохих вестей, дорогая госпожа Тольм. Мало того что ваша дочь, так сказать, в пожарном порядке удрала с одним из наших сотрудников, ваш внук — словом, пожар, замок горит, — как-то он исхитрился прошмыгнуть мимо охраны.

— Кто-нибудь ранен или в опасности?

— Нет.

— В таком случае знавала я вести и похуже, — сказала она, садясь в машину. — А что касается дочери, так эта весть и во все не из плохих.

И все же она не ожидала, что Тольм рассмеется.

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Бёлль Генрих

ПОД КОНВОЕМ ЗАБОТЫ

Роман

Ответственный редактор *Е. Трушечкина*
Художественный редактор *Е. Фрей*
Технический редактор *Н. Духанина*
Компьютерная верстка *Е. Кумшаевой*
Корректор *О. Степанова*

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 1, комната 39
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: neoclassic@ast.ru
ВКонтакте: vk.com/ast_neoclassic

«Баспа Аста» деген ООО
129085, г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 1 кұрылым, 39 бөлме
Бiздiң электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: neoclassic@ast.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндiрген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 27.11.2017. Формат 84x108^{1/32}.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48.
Тираж 2000 экз. Заказ № 1714520.

arvato
BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ООО «Ярославский полиграфический комбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97



Генрих Бёлль (1917–1985) – немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1972). Его книги, переведенные более чем на 50 языков, стали своеобразным символом интеллектуальной прозы второй половины XX века. Его литературный талант многогранен. Повести, пьесы, рассказы, критические эссе, путевые дневники и сценарии – Бёллю удавалось все. Однако особое место в его творчестве занимают романы...

«Под конвоем заботы» – это попытка Бёлля со своих позиций дать ответы на наболевшие вопросы, вставшие перед западным обществом в 70-е годы прошлого века, когда многие до поры скрытые недуги, конфликты и противоречия позднекапиталистического мира вдруг прорвались наружу: сперва, еще в конце 60-х годов, стихийным и, как казалось, необъяснимым «молодежным бунтом», а затем и вспышками терроризма. Проблематика романа позволяет взглянуть на политические потрясения уже почти полувековой давности в свете общечеловеческих ценностей, близких каждому, и именно потому многое в этих потрясениях объясняет.

www.ast.ru

ISBN 978-5-17-106126-5



9 785171 061265

✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦